

М. М. ШЕВЧЕНКО

# Конец одного величия

---

Власть, образование и печатное слово  
в Императорской России  
*на пороге Освободительных*  
*реформ*

« Н О В Й Й М У З Е Й »

[ II ]

М. М. ШЕВЧЕНКО

# КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

*Власть, образование и печатное слово  
в Императорской России на пороге  
Освободительных реформ*



«ТРИ КВАДРАТА» МОСКВА  
2003

*Печатается по рекомендации Диссертационного совета Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова*

*Рецензенты:*

доктор исторических наук В. А. Федоров,  
кандидат исторических наук М. А. Чепелкин

*М.М. Шевченко. Конец одного величия: власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ – М.: «Три квадрата», 2003. – 256 с.*

Историческое исследование процессов, явлений, породивших так называемое «мрачное семилетие» (1848–1855) с его ближайшими результатами и отдаленными последствиями, – одной из ключевых проблем в судьбах отечественной политической культуры – представляет собой эта книга. Политические портреты императора Николая I, выдающегося государственного деятеля дореволюционной России графа Сергея Уварова – автора знаменитой формулы «Православие, Самодержавие, Народность», иных видных представителей правящей элиты того времени предстают перед читателем на ее страницах...

Для всех интересующихся российской историей.

*Моему отцу*

*Михаилу Петровичу Шевченко*



## *Введение*

«ПОЛНЫЙ ГОРДОГО ДОВЕРИЯ ПОКОЙ» – эта хрестоматийная строка великого поэта передает, пожалуй, едва ли не самое характерное чувство, владевшее русскими современниками императора Николая I при его жизни. Когда пришлось преодолевать смятение, тревоги и разочарования эпохи Великих реформ, иные из них зачастую, испытывали сильнуюnostальгию по ушедшим николаевским временам. В их воспоминаниях о том тридцатилетии рисовались порой картины, точно видимые в сладком сне.

В начале 1840-х годов в Петербурге «о политике никто почти не говорил, кое-где в канцеляриях валялись на столах иностранные журналы с большими вырезками, или черными пятнами цензуры, почти бесполезными, потому что журналы читались большей частью не Русскими, а иностранцами... Гоголь написал уже «Ревизора», которым восхищался Николай Павлович; но «Мертвые души» еще не появились; Белинский начал писать критику в «Отечественных записках», разбирал Пушкина и возглашал, что в деятельности великого поэта многое объясняется тем, что он был консерватор; это замечание Белинского казалось всем чрезвычайно верным, остроумным и глубоким... Финансы наши, устроенные мудростью Канкрина, были в отличном состоянии в сравнении с теперешними. Все шло спокойно и нормально. Общество было в органическом периоде существования, и никаких критических явлений и переворотов нельзя было ожидать. Владыка Севера держал

крепко вожжи государственные; в Европе политика его торжествовала; в делах Восточного вопроса Франция Луи Филиппа, которую Николай Павлович терпеть не мог, была обидно исключена из общего аккорда; в Германии и Италии господствовал абсолютизм; внутри России, в столицах и провинциях ропота не было, да и не могло быть; при дворе веселились... Весь порядок казался надолго утвержденным, никакие диссонансы не нарушали общей гармонии; никаких общественных вопросов и не думали поднимать, даже эти выражения еще не входили в «Русский словарь», — так, например, писал в 1860-е годы видный офицер Генерального штаба<sup>1</sup>. Но среди тех, кто с тоской оглядывался на николаевские времена, много ли было таких, которые глубоко сознавали исторические предпосылки, условия, давшие возможность их поколению, вкушая благодушную безмятежность, прожить столь долгое время с чувством спокойной уверенности в завтрашнем дне своего Отечества?

Тогда, во второй четверти XIX столетия, уходящая корнями в древность сословная дисциплина, питаемая духом христианской аскезы, еще не было расшатана. Неустанно «подтягиваемый» сверху военно-бюрократический аппарат Империи с его чрезвычайно медленным чинопроизводством, растущей регламентацией и централизацией еще не исчерпал основного запаса своих нравственных сил — традиционной дворянской этики служения Государству. Дух монархического благоговения и верности еще господствовал. Вокруг императорского трона, на высших правительственные постах все николаевское царствование преобладали овеянные славой побед над Наполеоном люди из поколения ветеранов 1812 года, чей моральный авторитет в глазах ближайших потомков продолжительное время оставался исключительно высок. Обновлявшееся русское образованное общество в целом сохраняло веру в свои творческие силы и, отмечая превосходство Запада над Россией в области материальной цивилизации и светской культуры, не заболевало комплексом неполноценности. «... Утешимся: у нас есть благо, залог всех других: у нас есть Надежда и Мысль о великом назначении нашего отечества!... — писал выдающийся современник. — Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других — судьба России зависит от одной России»<sup>2</sup>. И, наконец, сам волевой и энергичный император

Николай I до последнего вздоха сохранял неноколебимую веру в правоту своего самодержавия, в свою богооставленность и сопряженную с ней ответственность.

Все это вместе взятое составляло могучие политические ресурсы, огромные запасы социально-политической стабильности, внутренней прочности национально-государственного организма в распоряжении русского самодержавного правительства, используя которые, оно могло, постепенно наращивая вооруженные силы, сохранять завоеванное в наполеоновских войнах первенствующее положение России среди Великих держав, неторопливо и со спокойной твердостью вести к победоносному завершению Кавказскую войну, наращивать по мере необходимости структуры государственного аппарата, постепенно повышать уровень общей культуры и профессионализма чиновничества и офицерства, нащупывать возможные подходы к безопасному упразднению крепостного права.

Как будто бы ничто в России не мешало высшей власти, начав переходить где-то на рубеже 1830–1840-х годов некоторые естественные пределы эффективного применения такой политики, все неизменно длить и длить эту необычайно устойчивую внутриполитическую систему, вошедшую в историю с именем Николая I, часто именуемую, не совсем, на мой взгляд, правильно, «застоем».

Но не забудем, что и в той, казалось бы, такой статичной системе сохранялся один, так сказать, динамический элемент. Осуществляемое высшей властью, медленно, но систематически, поступательное развитие в России, при неизбежном мощном влиянии интеллектуальной жизни Запада, светского образования и культуры имело стойкую тенденцию к превращению образовательного ценза в фактор, начинавший воздействовать в целом на формирование правящего отбора Империи. Это был своего рода вызов времени, обязывавший русское самодержавие дать внятный ответ, который должен был с неизбежностью повлечь за собой либо эволюцию николаевской системы в направлении чего-то качественно иного, либо возникновение и развитие серьезного общественно-политического конфликта. Представление правительственной среды о путях своего собственного воспроизведения, ее видение стоящих перед страной задач, ее историческое чутье в целом были во

многом связаны с тем, как она понимала характер и предназначение народного образования в государстве. С этим также внутренне соединено было определенное восприятие печати, через которое, в частности, просматривается отношение самодержавного правительства к общественному мнению, к разным формам и направлениям общественного движения.

Период так называемого «мрачного семилетия» (1848–1855) представляет в связи с данной проблемой особенный интерес. Незадолго до кардинального изменения внутриполитического курса в целом — поворота к Реформам — наблюдалось исключительное по силе правительственное давление в области печати и просвещения, в этой самой чувствительной для «бесссловной интеллигенции» сфере. «... Цензурные стеснения уравняли все партии и направления, — отмечал С. А. Венгеров, — все должны были проходить самые удивительные цензурные мытарства и подвергаться самым непостижимым придиракам»<sup>3</sup>. В официальной записке, опубликованной в связи с предстоящей цензурной реформой, последние семь лет царствования Николая I со ссылкой на общественное мнение были названы «эпохой цензурного террора»<sup>4</sup>. Российская пишущая и читающая общественность, зрелая до той степени, чтобы обнаружить различные более или менее устойчивые идеинные направления, на целых семь лет практически полностью потеряла печать как средство самовыражения — единственный случай в XIX веке!

Образованной публике особенно запомнился действовавший тогда негласный Комитет высшей цензуры, называемый иногда по имени своего первого председателя «бутурлинским», как наиболее яркое воплощение правительственной реакции. Но почти незамеченным остался другой секретный орган того времени — Комитет для пересмотра «постановлений и распоряжений по части Министерства народного просвещения» под председательством Д. Н. Блудова. Впоследствии это сказалось на историографии вплоть до настоящего времени, о чем свидетельствует изложение правительственной политики данного периода в обобщающих трудах. В работе, вышедшей в 1917 году, историком С. В. Рождественским из-за недостатка материала был сделан вывод о том, что Комитет Блудова не имел никаких законодательных последствий, пребыл лишь,

так сказать, «теоретическим совещанием». И деятельность этого последнего секретного комитета эпохи Николая I осталась в действительности нераскрытой. А между тем в совещаниях именно этого органа зародился проект закона, принятого указом 9 декабря\* 1856 года, того самого, который принципиально решил вопрос о значении образовательного ценза для государственной службы почти на полвека. Здесь началась горячая внутриправительственная полемика, которая потом еще полгода длилась в Государственном совете и была остановлена лишь по воле императора. Таким образом, окончание политического курса «мрачного семилетия», выпав из поля зрения современников, ускользает от внимания историков.

Знаменательно и то, что центр тяжести правительственной политики в области народного просвещения и печати перешел на этот период из ведомства народного просвещения, куда входила и цензура, в секретные комитеты. Министр находился в приниженном положении. На заседания Комитета высшей цензуры он был допущен лишь за год до его закрытия. В Комитет «по пересмотру учебных уставов», который был сформирован без самомалейшего участия ведомства, министр был приглашен по инициативе председателя для упрощения делопроизводственных формальностей и присутствовал там в незавидном положении ответчика перед следственной комиссией. Народное образование, по выражению современника, «сделалось какою-то сомнительной отраслью государственного управления»<sup>5</sup>. В истории ведомства народного просвещения Российской империи ни до, ни после этого времени, пожалуй, таких явлений больше не было.

По этим соображениям политика в области народного просвещения и печати в заключительный период царствования Николая I заслуживает специального исследования. Ближайшая цель работы — раскрыть причины изменения правительственного курса в 1848 году, его содержание и направленность, влияние его результатов на умонастроение правящих верхов, их последующее поведение и общественно-политическое развитие страны в целом.

\* Здесь и далее все даты даются по старому стилю.

Проведенное исследование имеет следующую логику.

Как показывает вся имеющаяся отношение к данной теме литература, деятельность секретных комитетов 1848–1849 годов по народному образованию и печати задумывалась как устранение «недосмотров» и «нестроений» по ведомству народного просвещения. Следовательно, необходимо выяснить, насколько политика С. С. Уварова совпадала с умонастроением всей правительственной среды в целом. С другой стороны, существовала ли связь между политикой Уварова и развитием литературы и журналистики в 1840-е годы, и если – да, то какая? Поиски в этом направлении показывают, что в области народного просвещения политическая линия Уварова находила понимание далеко не у всех и что по вопросу о контроле над печатью, подведомственной цензуре его министерства, у него была своя, особая позиция, которую он старался защищать, вступив в конце концов в прямое противоречие с императором. Чтобы определить точно, что вносили действия Уварова на посту министра в политику самодержавия, надо, хотя бы в самых общих чертах, выяснить наиболее распространенное, характерное отношение высшей бюрократии к народному просвещению и печати ко времени появления Уварова в правительстве.

Отсюда вытекает и структура работы.

В начале рассматривается политика самодержавия по этим двум направлениям от появления системы народного просвещения как особой отрасли управления приблизительно до назначения С. С. Уварова на ministerский пост с целью выявления наиболее характерного, типичного восприятия этих двух отраслей управления бюрократическими сферами Империи. Далее идет речь о поведении Уварова, о границах его самостоятельности в этих вопросах, о последствиях его действий. Специально очерчивается образ восприятия ведомства народного просвещения самим Николаем I. Раскрывается ход внутриправительственных столкновений 1848–1849 годов, сопровождавших поворот в политике. Затем рассматривается деятельность Бутурлинского комитета и ее направленность. Потом исследуется работа Комитета Д. Н. Блудова, обстоятельства прохождения возбужденного им дела через Государственный совет вплоть до подписания указа Сенату 9 декабря 1856 года. В за-

вершение сделана попытка проследить, как взаимодействовали правительственные акции и общественное мнение, начало изменения правительственной политики в ином направлении.

Принятый здесь угол зрения или подход требовал обращать главное внимание не на внутриведомственные вопросы политики, как, например, изменения учебных программ или организацию управления учебными заведениями, но, так сказать, на более общегосударственные вопросы, в решении которых значительный вес имели лица, для ведомства народного просвещения и цензуры посторонние, вопросы, в разработке которых ведомственная специализация выступавшего лица могла не иметь решающего значения. Поэтому здесь, в данной работе имело место стремление не описать непременно все обнаруженные по источникам акты действий Комитета 2 апреля или Министерства народного просвещения в рассматриваемый период, но проследить, как выглядело народное образование и печать в зеркале правительственного сознания самодержавной России эпохи Николая I.

\* \* \*

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ по настоящее время из тех историков, кто особо интересовался правительственной политикой в области народного образования или печати первой половины XIX столетия, кроме автора официальной истории Министерства<sup>6</sup>, никто не пытался рассматривать эти два направления как одно целое, то есть так, как их осознавало само правительство.

С дореволюционных времен так сложилось, что политика в области народного образования в основном попадала в поле зрения историков педагогики. Она интересовала их как одно из условий развития отечественной школы, излагалась между прочим и более или менее бегло. «... История наших школ, — писал П. Ф. Каптерев, обобщая вековые правительственные усилия, — есть история давления политики на школу в видах словности, крайнего консерватизма и задержки собственно народного образования»<sup>7</sup>. При такой установке правительство с его внутренними коллизиями отодвигалось далеко на перифе-

рию научно-исследовательских интересов. Так, например, обстояло дело у историка И. А. Алешинцева, изучавшего средние учебные заведения<sup>8</sup>. Причем он первый, работая в архиве Министерства народного просвещения, обнаружил некоторые следы деятельности Комитета Д. Н. Блудова и рассказал о нем на нескольких страницах. Характеристика правительственные мероприятий под педагогическим углом зрения интересующего меня периода содержится в объемном труде по истории средних учебных заведений Е. Шмидта — эксперта Министерства народного просвещения. Работа предназначалась для подведения исторического обоснования под знаменитую учебную реформу министра графа Д. А. Толстого. Соответственно, автор остро критиковал С. С. Уварова за допущенное умаление классицизма в марте 1849 года при введении так называемой бифуркации — разделения гимназического курса в зависимости от будущего предназначения учащихся<sup>9</sup>.

Среди литературы, имеющей отношение к данной теме, хотелось бы выделить труды С. В. Рождественского, для которых характерно именно несколько большее исследовательское внимание к тому, что происходило внутри правительства. Кроме упомянутого очерка, изданного к юбилею Министерства, Рождественский выпустил несколько статей по истории народного образования в первой половине XIX века, где сформулировал свой концептуальный взгляд на развитие системы просвещения в России<sup>10</sup>. В первые годы царствования Александра I — период конституционных мечтаний — было положено начало все сословной общеобразовательной системе. Дальнейшие успехи ее развития вширь и вглубь, по мнению историка, были связаны с общей эволюцией общественно-политического строя России к «правовому государству» — в том значении, в каком понимало этот термин русское общественное мнение начала XX века. Эпоха императора Николая I обострила до предела противоречия между гуманистическими принципами педагогии, лежавшими в основе образования, и сословно-крепостным строем. Эпоха реформ Александра II положила начало процессу снятия этих противоречий. Активно занимаясь поиском новых архивных материалов, Рождественский обнаружил среди документов воссозданного в 1856 году Главного правления училищ краткое обозрение деятельности Комитета Д. Н. Блудова и на-

писал об этом отдельно. Главная задача Комитета, полагал он, «состояла в новой, уже не раз возникавшей попытке создать внешние, принудительные рамки, в которых должны были заключаться пределы воспитания и просвещения для каждого общественного класса. Это было возрождение принципа сословности просвещения, господствовавшего в XVIII столетии»<sup>11</sup>. Документы, находившиеся в моем распоряжении, это опровергают. По очевидному недостатку материала Рождественский судил о Комитете более, так сказать, из общей своей концепции состязания в образовательной политике гуманизма и сословности. Из-за отсутствия данных он делал вывод, что деятельность Комитета не имела никаких законодательных последствий. Это заключение не подвергается сомнению в «Очерках истории школы и педагогической мысли народов СССР»<sup>12</sup>. А так же и в статье Л. А. Булгаковой «Сословная политика в области образования во второй четверти XIX века»<sup>13</sup>. В более ранней «Истории русской педагогики» Е. Н. Медынского<sup>14</sup> в соответствующей главе Комитет Блудова вообще не упоминается.

Цензурой XIX века в дореволюционную эпоху, главным образом, интересовались историки литературы и общественного движения. Благодаря обширнейшему фактическому материалу их работы сохраняют свое значение, несмотря на некоторые неточности. В первом ряду здесь стоят изыскания М. И. Сухомлинова, А. М. Скабичевского, М. К. Лемке<sup>15</sup>. Представляют интерес работы Н. А. Энгельгардта, А. П. Пятковского, В. Богучарского<sup>16</sup>. Сюда же можно присоединить и записку П. К. Щебальского, которая, по сути, тоже является документальным исследованием<sup>17</sup>.

В советскую эпоху цензурная политика изучалась в основном за пореформенное время<sup>18</sup>. За первую половину XIX века она специально не рассматривалась, если не считать одной статьи, специально посвященной истории замены устава о цензуре 1826 года уставом 1828-го<sup>19</sup>.

За интересующий здесь период политика самодержавия в области народного образования и печати кратко охарактеризована в более общих трудах С. В. Рождественского, А. А. Корнилова, М. А. Полиевктова, С. Б. Окуня<sup>20</sup>. Н. К. Шильдер в отдельной статье рассказал о некоторых дополнительных обстоятельствах образования и действий секретных комитетов

по цензуре 1848 года<sup>21</sup>. М. К. Лемке в своем очерке-публикации «Эпоха цензурного террора» использовал кроме мемуарных и эпистолярных свидетельств материалы цензурного ведомства, переданные в Императорскую публичную библиотеку в 1892 году. Значение этой работы для науки также сохраняется<sup>22</sup>.

В советское время историк А. С. Нифонтов, разбирая материалы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, обнаружил подлинную делопроизводственную документацию Меншиковского и Бутурлинского комитетов и использовал часть ее для характеристики цензурной политики в 1848–1849 годах<sup>23</sup>.

В зарубежной литературе в связи с данной темой следует упомянуть работу Ч. Рууда «Борющееся слово. Императорская цензура и русская печать, 1804–1906» и С. Уиттакер «Истоки современного русского образования. Интеллектуальная биография графа Сергея Уварова». Цензурная политика у Рууда предстает как некое внешнее условие, в котором действует печать, которое она преодолевает, присваивая себе все большее общественно-политическое значение. Естественно, при такой установке исследовательское углубление в «менталитет» бюрократии в авторскую задачу не входит. Период 1848–1855 годов он характеризует достаточно кратко, не вдаваясь в подробности возникновения и исчезновения Комитета 2 апреля, дополнительно используя при этом некоторые материалы Главного управления цензуры<sup>24</sup>. В довольно обстоятельном труде Уиттакер подробно описывается и разбирается ученно-литературная и административная деятельность Уварова, но осмысливается она, как представляется, в соотнесении с интеллектуальной жизнью, развитием образования, науки Европы, а не на фоне правительской политики России. Наверное, поэтому автор, например, в упоминании о Комитете Блудова полностью оперлась на заключение С. В. Рождественского, не заподозрив ошибки<sup>25</sup>.

Все названные здесь авторы, за исключением, пожалуй, П. К. Щебальского, констатировали поворот в 1848–1849 годах во внутренней политике самодержавия в сторону реакции, что наиболее резко проявилось по отношению к печати и просвещению. Все так или иначе фиксировали конфликт в высших правительенных сферах, разрешившийся отставкой С. С. Уварова. Все отмечали ограничение числа студентов в универ-

ситетах с целью затруднить разночинцам получение высшего образования. С большей или меньшей полнотою говорилось об изменениях в учебных программах.

\* \* \*

ИСТОЧНИКИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ можно разделить на две большие группы. Первую составляют официально-документальные материалы. Сюда входят тексты законодательства и все другие нормативные акты, принятые различными правительственными органами по народному образованию и печати. К ним примыкают и материалы законодательной работы — всеподданнейшие доклады, мнения, записки, отношения, служебная переписка официальных лиц.

Сформулированная выше исследовательская задача поддается решению только при максимально широком привлечении мало использованных или неиспользованных архивных материалов.

Прежде всего это те архивные документы, которые хранятся в фондах государственных учреждений. Фонд Высшего цензурного комитета 2 апреля 1848 года (РГИА. Ф. 1611.) содержит 188 журналов заседаний этого органа из бывших 295. Остальные были в 1900 году перемещены к материалам I экспедиции III Отделения императорской канцелярии и, по-видимому, не сохранились. Здесь же хранятся все материалы предшествовавшего Меншиковского комитета, среди которых особенно интересны тексты всеподданнейших докладов 1848 года начальника III Отделения графа А. Ф. Орлова «О журналах «Современник» и «Отечественные записки»<sup>26</sup> и министра народного просвещения С. С. Уварова «О цензуре». Они отражают характер и диапазон внутриправительственных разногласий по вопросу о контроле над печатью и дают точное представление о том, какие конкретно явления литературы и журналистики 1840-х годов вызывали беспокойство в правительенной среде. (РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б.) Заключительный всеподданнейший доклад последнего председателя Комитета 2 апреля М. А. Корфа находится среди рукописей библиотеки Зимнего дворца (ГА РФ. Ф. 728. Д. 2479.).

История разработки закона 9 декабря 1856 года от возбуждения дела Блудовским комитетом до принятия решения императором запечатлена в журналах заседаний Департамента законов Государственного совета. (РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год.) Здесь же сохранились 11 отзывов членов, пожелавших высказаться письменно, — материалы, демонстрирующие довольно полно спектр бытовавших в правительстве мнений по разбиравшемуся вопросу.

Материалы, касающиеся поднятого в 1848 году вопроса о разработке нового цензурного устава, содержит фонд Главного управления цензуры (РГИА. Ф. 772.).

Отдельные сведения о деятельности Комитета по пересмотру учебных уставов 1849–1856 гг. под председательством Д. Н. Блудова отложились среди документов фонда Департамента народного просвещения (РГИА. Ф. 733.).

Факты, относящиеся к предыстории комитета Д. Н. Блудова, содержит хранящийся в личном фонде Николая I (ГА РФ. Ф. 672.) специальный обзор деятельности Комитета 1846 года по пересмотру Устава о службе гражданской.

Большое значение имеют документы служебной деятельности министра народного просвещения А. С. Норова, хранящиеся в его личном фонде (ОР РНБ. Ф. 531.). Они отражают его участие в полемике с Комитетом Д. Н. Блудова и его сторонниками. Это наброски докладов, устных выступлений, важные статистические материалы, мнения ведомственных экспертов.

Ценные сведения содержит служебная переписка шефа жандармов А. Ф. Орлова по поводу организации секретного надзора за цензурой и печатью, хранящаяся в фонде III Отделения с. е. и. в. канцелярии (ГА РФ. Ф. 109.).

Представляет значительный интерес выполненный чиновником Императорской публичной библиотеки В. В. Стасовым по заданию директора библиотеки М. А. Корфа «Обзор деятельности цензуры при императоре Николае I» — подборка официальных документов в хронологической последовательности (ОР РНБ. Ф. 736. Ед. Хр. 12.). Рукопись объемом около пятисот страниц имеет обширные редакторские исправления, пометки, дополнения М. А. Корфа. Скорее всего этот документ и послужил основой для публикации в «Русской старине» материалов под заглавием «Цензура в царствование императора Николая I»<sup>27</sup>.

Фонд семейства Уваровых (ОПИ ГИМ. Ф. 17.) хранит исключительно важные для данной темы памятники министерской деятельности С. С. Уварова — тексты его всеподданнейших докладов, например: «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения» от 19 ноября 1833 года, о преимуществах при поступлении на государственную службу выпускников учебных заведений Министерства народного просвещения от 27 декабря 1836 года, «Обозрение управления Министерством народного просвещения» 1849 года. Эти и другие памятники служебной деятельности знаменитого министра дают обильную пищу для суждений о взглядах Уварова на просвещение в России, о его понимании стратегических задач Министерства.

Самые крупные вехи в законодательстве о народном просвещении и печати отражены в Полном собрании законов Российской империи. Эти и более мелкие нормативные акты содержат официальные ведомственные публикации<sup>28</sup>. Из них наиболее интересное издание — «Сборник постановлений по Министерству народного просвещения». В нем также помещены тексты многих всеподданнейших докладов министров народного просвещения с рассуждениями о разных больших и малых вопросах общеправительственной и ведомственной политики. Ежегодные отчеты Министерства народного просвещения изучаемого времени ценные, пожалуй, лишь благодаря отдельным статистическим сведениям.

Другую большую группу источников составляют документы личного происхождения, то есть мемуарные памятники и частная переписка. Здесь первостепенное значение имеют дневники и воспоминания высокопоставленных правительственные лиц. Отдельного упоминания заслуживают неопубликованные дневник М. А. Корфа (ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. I–XIV.) и автобиографическое эссе С. С. Уварова.

М. А. Корф был одним из инициаторов усиления надзора за печатью в 1848 году, членом обоих секретных комитетов по цензуре и Комитета Д. Н. Блудова по народному просвещению. Его дневник дает богатый и ничем не заменимый материал для воссоздания картины внутриправительственных столкновений того времени.

Барон М. А. Корф начал его вести в 1838 году. Статс-секретаря и камергера двора с двадцатью годами «бесспорочной службы» за плечами побудила к этому любовь к историческим свидетельствам и затаенное желание оставить потомкам нечто подобное от себя лично. И это занятие он не оставлял четырнадцать лет. «Цель моя... сохранить для себя память всего того, что в жизни моей или в свете меня окружающем... выступает из ряда обыкновенного», — писал он. Стремясь с пользой проводить «праздные часы, случающиеся в самой деятельной жизни и которые для человека привыкшего к постоянным трудам так ужасно тягостны»<sup>29</sup>, добровольный хронист старательно и с увлечением описывал то, что делал по службе, в свете, в семье, что видел, слышал... Старался записывать чаще, в первые годы почти каждый день. За один день порой исписывал до десятка страниц. Одна запись обычно состояла из нескольких отдельных рассказов. Особенно интересные, с его точки зрения, реплики современников, Корф стремился передать дословно. Писал по-русски, исключение делал лишь для французской и немецкой речи современников, передавая ее в оригинале, и для цитат из иноязычной литературы. Листы дневника барон складывал в тетради, каждая из которых соответствовала определенному году. Пронумеровав страницы, он составлял годичный предметно-именной указатель с краткими аннотациями. В наиболее плодотворные времена Модест Андреевич исписывал более семисот страниц ежегодно. Кроме того, в тетрадь он включал специально составленное приложение из копий официальных документов, своих служебных записок, писем, газет и других материалов.

В 1844 году, просмотрев весь свой дневник за истекшее время, Корф сделал тематический перечень, обозначив темы в следующем порядке: «царственный дом», «законодательство и администрация», «духовная часть», «военная часть», «почта и внутренние сообщения», «народное просвещение», «науки, литература, художества и промышленность», «Государственный совет, Комитет министров, министерства и высшее управление», «внешние сношения и дипломатический корпус», «посещение России иностранцами», «явления природы и необыкновенные происшествия», «публичные и частные увеселения», «С[анкт]П[етер]бургская столица», «современная характеристи-

тика» (то есть штрихи к портретам современников), «смесь», «некрологи», «любопытные анекдоты»<sup>30</sup>. Одного этого списка достаточно, чтобы оценить значение дневника.

Корф считал это занятие своим глубоко личным, интимным делом, почти никому о нем не рассказывал, сообщая кое-что лишь тем, кто сам мог многое рассказать, например, министру государственных имуществ П. Д. Киселеву. «Пусть все это, — рассуждал Корф, — перейдя в область истории, присоединится некогда к суду потомства над мертвыми, но избави Бог, чтобы оно могло когда-нибудь повредить между современниками, живыми»<sup>31</sup>. И много лет спустя в воспоминаниях, написанных по материалам дневника, весьма скромных по объему и сильно от дневника отличающихся, он писал: «Для многоного не наступило еще время гласности, и может быть, что даже в том, что внесено теперь в мою выборку, я иногда слишком говорлив или слишком отважен»<sup>32</sup>. Воспоминания Корф передал своему протеже — историку и журналисту М. И. Семевскому, а увидели они свет уже после смерти обоих. А дневник был передан сыном Модеста Андреевича в библиотеку Зимнего дворца.

С великим напряжением разрывавшийся между многочисленными служебными обязанностями Корф довел его до конца 1850 года. В 1851 году дневник, по сути, превратился в записки. Последняя запись сделана 1 января 1852-го...

Высказывания Корфа о современниках оценочного характера зачастую не очень интересны. Модест Андреевич как правительственные лицо обладал средними способностями. Он довольно слабо отличал ум от светского остроумия, канцелярское усердие, делопроизводственный формализм, бюрократические интриги от государственной деятельности. В суждениях о людях, превосходивших его по своим государственным способностям, ему явно не хватало некоторой доли великодушия. О людях лично ему неприятных он, пожалуй, чересчур был склонен собирать порочащие их сплетни. Но в том, что касается подробностей работы правительственные органов, особенно Государственного совета и секретных комитетов, конкретных действий, выступлений отдельных участников событий, мелких и мельчайших деталей закулисных столкновений между ними — здесь осведомленность Корфа была исключительной. Скажем без преувеличения: для изучения пра-

вительственной политики в николаевскую эпоху дневник М. А. Корфа значит столько же, сколько дневник П. А. Валуева или дневник Д. А. Милютина для изучения политики в царствование Александра II.

Воспоминания С. С. Уварова (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ф. 17. Ед. хр. 122.) до сих пор были использованы пока только в фундаментальном труде Ф. А. Петрова и двух диссертациях, защищенных на Историческом факультете МГУ в 1994 и 1996 годах<sup>33</sup>. Это написанный рукой Уварова текст на французском языке объемом до восьмидесяти восьми страниц в четверть типографского листа под заглавием «Опыт автобиографии». Язык воспоминаний по стилю несколько, быть может, старомоден для того времени. Рукопись датирована июнем 1852 года и предназначена для сына. «Я никогда не верил в искренность автобиографических воспоминаний... – писал Уваров. – Я ограничусь тем, что сделаю лишь несколько замечаний, касающихся моей продолжительной и многотрудной карьеры... Моя цель... сделать для моего сына достоверное обозрение времени, сквозь которое я прошел, и которое во всех отношениях является самым живой контраст с тем, в которое призван жить он...»<sup>34</sup> Уваров пересказал наиболее памятные ему страницы своего жизненного пути, сосредоточившись исключительно на своих личных чувствах, намерениях, настроениях, отношениях. Политические и, тем более, административные подробности в своем рассказе он полностью опустил, ограничившись только самыми общими характеристиками и оценками. Эти последние и придают ценность воспоминаниям, несмотря на то, что Уваров, по-видимому, не без умысла преувеличил неизменность благоволения к нему императора Николая I.

Архив семейства Уваровых содержит также многие интересные письма министра народного просвещения.

Письма М. А. Корфа, ценные для исследуемой темы, хранятся среди рукописей библиотеки Зимнего дворца (ГА РФ. Ф. 728.).

Среди опубликованных источников особенно выделяется по своему значению дневник А. В. Никитенко – академика, профессора Петербургского университета, цензора, авторитетного советника по делам печати при многих министрах народного просвещения, начиная с С. С. Уварова и кончая А. В. Головиным. В нем отражены настроения ученого-литера-

турной общественности, чиновников центрального аппарата ведомства народного просвещения и цензуры в изучаемое время, содержатся незаменимые сведения о политике Министерства народного просвещения, о его общей линии и отдельных действиях во внутриправительственных столкновениях.

Опубликованные воспоминания, записки, письма видных ученых, литераторов, общественных деятелей, связанные с исследуемой эпохой в подавляющем большинстве специалистам хорошо известны<sup>35</sup>.

Отдельной подгруппой можно выделить дневники и воспоминания современников, так сказать, «второго ряда», лиц, не запечатлевшихся в памяти последующих поколений русской общественности в качестве выдающихся имен, малоизвестных придворных, офицеров, чиновников<sup>36</sup>. Среди них стоит упомянуть отдельно неопубликованные воспоминания генерала А. Э. Циммермана, написанные в 1866–1867 годах<sup>37</sup>. Апполлон Эрнестович Циммерман (1825–1884) в исследуемое время учился в Военной академии Генерального штаба, был принят в члены Русского географического общества, затем служил на Кавказе, там же воевал в начале Крымской войны, затем участвовал в обороне Севастополя. Способный офицер Генерального штаба, свидетель пристрастный, но вместе с тем и наблюдательный, он оставил ценные зарисовки об общественных настроениях того времени, ряд существенных штрихов к портретам выдающихся современников.

\* \* \*

Приношу глубокую благодарность моему учителю доктору исторических наук профессору Ларисе Георгиевне Захаровой, доктору исторических наук академику РАН профессору Владимиру Александровичу Федорову, кандидатам исторических наук доцентам Олегу Рудольдовичу Айрапетову и Максиму Аркадьевичу Чепелкину (Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова).

Выражаю также мою искреннюю благодарность старшему научному сотруднику Института механики МГУ им. М. В. Ломоносова кандидату физ.-мат. наук Николаю Тимофеевичу Резниченко за помощь в издании этой книги.

## Примечания

- <sup>1</sup> Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. (Далее – ОР РГБ.) Ф. 325. Картон.1. л. 142, 143–143 об.
- <sup>2</sup> Киреевский И. В. Избранные сочинения. М., 1984. С. 60, 61.
- <sup>3</sup> Венгеров С. А. Очерки по истории русской литературы. спб., 1907. С. 26.
- <sup>4</sup> Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1907. С. 76.
- <sup>5</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 369.
- <sup>6</sup> Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
- <sup>7</sup> Каптерев П. Ф. История русской педагогики. Пг., 1915. Гл. XI. С. 310.
- <sup>8</sup> См.: Алешинцев И. А. Сословный вопрос и политика в истории наших гимназий в XIX веке. (Исторический очерк.) Спб., 1908. Он же. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век.). СПб., 1912.
- <sup>9</sup> Шмид Е. История средних учебных заведений в России. Пер. с нем. СПб., 1878. С. 374.
- <sup>10</sup> Рождественский С. В. Сословный вопрос в русских университетах первой четверти XIX века. СПб., 1907. Он же. М. М. Сперанский и комитет 1837 года о степени обучения крепостных людей // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья, почитатели. СПб., 1911. Он же. Последняя страница из истории политики народного просвещения императора Николая I // Русский исторический журнал. 1917. № 3–4. Он же. Из истории идеи народного просвещения в Александровскую эпоху // Сборник статей по русской истории, посвященных академику С. Ф. Платонову. Петербург, 1922. Он же. Вопрос о народном образовании и социальная проблема в эпоху Александра I // Русское прошлое. Пг.–М., 1923.
- <sup>11</sup> Русский исторический журнал. 1917. № 3–4. С. 43.
- <sup>12</sup> См.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР., XVIII – первая половина XIX в. М., 1973. Гл. XII.
- <sup>13</sup> Вопросы политической истории СССР. М.–Л., 1977.
- <sup>14</sup> Медынский Е. Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической революции. Изд. 2-е. М., 1938. Гл. 6.
- <sup>15</sup> Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 1–2. СПб., 1889. Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. Он же. Эпоха цензурных реформ 1859 – 1865 гг. Сп., 1904. Он же. Николаевские жандармы и литература. 1825–1855. СПб., 1909.
- <sup>16</sup> Энгельгардт Н. А. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904. Пятковский А. П. Из истории нашего литературного и общественного развития. Т. 1–2. СПб., 1876. Богучарский В. Из прошлого русского общества. СПб., 1904.
- <sup>17</sup> Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862.
- <sup>18</sup> См., напр.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1964. Оржеховский И. В. Администрация и печать между двумя революционными ситуациями. М., 1988.

## ВВЕДЕНИЕ

- циями (1866–1878 гг.): Лекции по спецкурсу. Горький, 1973. Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х гг. М., 1974. Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX века. Л., 1989.
- <sup>19</sup> Гилльсон М. И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 года // Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978.
- <sup>20</sup> Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. Т. 2. М., 1918. Палиевтов М. А. Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918. Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX века. Л., 1952.
- <sup>21</sup> См.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Т. 2. СПб., 1903. Приложение.
- <sup>22</sup> Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904.
- <sup>23</sup> См.: Нибонтов А. С. 1848 год в России. М.–Л., 1931. Он же. Россия в 1848 году. М., 1949.
- <sup>24</sup> Ruud Ch. A. Fighting Words: Imperial Censorship and Russian Press, 1804–1906. Toronto, 1982. Ch. 6. P. 83–96, 97–98.
- <sup>25</sup> Whittaker C. H. Origins of modern Russian education: an intellectual biography of count Sergei Uvarov, 1786–1855. De Kalb, 1984. P. 137. (См. русский перевод: Виттакер Ц. Х. Граф С. С. Уваров и его время. Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. СПб., 1999.)
- <sup>26</sup> Отрывок из него опубликовал М. К. Лемке: Николаевские жандармы и литература. С. 175–177.
- <sup>27</sup> Русская старина. 1901. № 7–9; 1903. № 4–8, 10, 12; 1904. № 1–2.
- <sup>28</sup> Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Изд. 2-е. Т. 1–3. СПб., 1875–1876. Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1–3. СПб., 1865–1867.
- <sup>29</sup> Государственный архив Российской Федерации. (Далее – ГА РФ.) Ф. 728. Д. 1817. Ч. I. Л. 39.
- <sup>30</sup> Там же. Ч. VI. Л. 10–11.
- <sup>31</sup> Там же. Ч. VII. Л. 419 об.
- <sup>32</sup> Русская старина. 1899. Т. 98. № 5. С. 372.
- <sup>33</sup> Петров Ф. А. Российские университеты первой половины XIX века. Формирование системы университетского образования. В 4-х кн. Книга первая. Зарождение системы университетского образования в России. М., 1998. Книга вторая. Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX века. Ч. 1–3. М., 1998–1999. Книга третья. Университетская профессура и подготовка устава 1835 года. М., 2000. Книга 4-я. Российские университеты и люди 1840-х годов. (Профессура и студенчество.) Ч. 1. Профессура. М., 2001; Шевченко М. М. Политика самодержавия в области народного просвещения и печати в 1848–1856 годах. Дисс. на соискание уч. ст. к. и. н. М., 1994; Дурдыева Л. М. С. С. Уваров и теория официальной народности. Дисс. на соискание уч. ст. к. и. н. М., 1996.
- <sup>34</sup> Отдел письменных источников Государственного Исторического музея. (Далее ОПИ ГИМ.) Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 7.
- <sup>35</sup> См., например: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22-х кн. Кн. 4–14. СПб., 1891–1900; Брэ О. де Император Николай I и его сподвижники (Воспоминания графа Оттона де Брэ. 1849–1852.) // Русская

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 115–139; *Блудова А. Д.* Воспоминания. М., 1988; Русский архив. 1874. Кн. 1. № 9. С. 713–761; *Веселовский К. С.* Отголоски старой памяти // Русская старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 115–139; *Вяземский П. А.* Письмо к В. А. Жуковскому от 2 мая 1848 года // Памятники. Культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 59–60; Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 1–2. М., 1897; *Грудев Г. В.* Из рассказов // Русский архив. 1898. Кн. 3. № 11. С. 426–439; *Пржецлавский О. А.* Воспоминания // Русская старина. 1875. № 9. С. 131–180; Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. 1. Записки А. И. Кошелева. Ч. 2. Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991; *Соловьев С. М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соч. в 18- книгах. Кн. XVIII. М., 1995; *Тютчева А. Ф.* При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855. М., 1928; 1990; *Феоктистов Е. М.* Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы. Л., 1929; *Хомяков А. С.* Политические письма 1848 года // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 109–132. Он же. Полн. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 8. М., 1900. И другое.
- <sup>36</sup> См., например: *Белов И. Д.* Университеты и корпорации. (Отрывок из воспоминаний.) // Исторический вестник. 1880. Т. 1. № 4. С. 779–804; 1885. Т. 20. № 5. С. 485–486. *Грудев Г. В.* Из рассказов // Русский архив. 1898. Кн. 3. № 11. С. 426–439. *Головачев Г. Ф.* Отрывки из воспоминания // Русский вестник. 1880. Т. 149. № 10. С. 698–725. *Давыдов Н. К.* расска- зам из жизни императора Николая I. 1844–1845 гг. // Русская старина. Т. 53. № 11. С. 491–494. *Дельвиг А. И.* Мои воспоминания. Т. 2. М., 1913. *Ден В. И.* Записки. СПб., 1890. *Жерве К. К.* Воспоминания // Исторический вестник. 1898. Т. 72. № 5. С. 419–449.; № 6. С. 732–776; Т. 73. № 7. С. 30–73; № 8. С. 430–457; № 9. С. 789–824; Т. 74. № 10. С. 40–79; № 11. С. 450–501; № 12. С. 891–908; *Ильченко Д.* Император Николай I в первой Харьковской гимназии // Русская старина. Т. 35. № 9. С. 627–634. *Мартынов П. К.* Деяла и люди века. Отрывки из старой записной книжки. Т. 1. СПб., 1893. *Муханов В. А.* Из дневных записок // Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 75–94. *Никифоров Д. И.* Воспоминания времен императора Николая I. М., 1903. *Оже-де-Ранкуф Н. Ф.* В двух университетах. Воспоминания 1837–1843 гг. // Русская старина. 1896. Т. 96. № 6. С. 571–582. *Сокальский П. П.* Из воспоминаний о Харьковском университете конца 40-х гг. // Киевская старина. 1906. № 5/6. С. 63–71. *Турпицер Н. Н.* Рассказы из прошлого // Исторический вестник. 1890. Т. 41. № 8. С. 334–342. *Фишер К. И.* Записки сенатора К. И. Фишера // Исторический вестник. 1908. Т. 111. № 2. С. 438–460. *Фредрикс М. П.* Из воспоминаний // Исторический вестник. 1898. Т. 71. № 1. С. 52–87. *Эвальд А. В.* Рассказы об императоре Николае I // Исторический вестник. 1896. Т. 65. № 7. С. 51–71; № 8. С. 322–353. И другое.
- <sup>37</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 1. Ед. хр. 1–2. Картон 2. Ед. хр. 1.



Николай I

Литография 1840/50-х гг.

(Рождественский С.В. "Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902". СПб, 1902)



С. С. Уваров  
*С гравюры Н.И.Уткина*



М.А.Корф

(Середонин С.М. “Исторический обзор деятельности Комитета министров” СПб., 1902)



П.А.Ширинский-Шихматов

(Рождественский С.В. "Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902". СПб, 1902)



А.С. Норов

(Рождественский С.В. “Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902”. СПб, 1902)



Д. Н. Блудов

(Середонин С.М. "Исторический обзор деятельности Комитета министров" СПб., 1902)

## ГЛАВА I

# Правительство, народное образование, цензура и печать в первой трети столетия

На рубеже XVIII и XIX столетий русское образованное общество, внимавшее политическим бурям времени, продолжало мыслить философскими и политико-правовыми категориями европейского Просвещения. Чем больше образованный человек того времени доверял идеям законности на основе естественного права, общественного договора, народного суверенитета, идеям «представительного правления» или «истинной монархии», тем более он был склонен смотреть на тогдашнюю светскую образованность и печатное слово как на само собой разумеющееся средство борьбы с единственной, как казалось, причиной социального зла — невежеством.

В атмосфере этих веяний общее образование и цензура были превращены императором Александром I в особую отрасль государственного управления, то есть было учреждено соответствующее министерство. И сразу же правительство выказало желание поскорее увидеть, благодаря распространению просвещения среди гражданских чиновников, более совершенный государственный аппарат. «Ни в какой губернии, спустя пять лет по устроении в округе, к которому она принадлежит... училищной части, — гласили «Предварительные правила народного просвещения» 1803 года, — никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или частном училище.»<sup>1</sup> Однако европейский философско-рационалистический оптимизм, воодушевлявший тогда юного императора и

столь известный кружок его молодых друзей, сразу же преткнулся о камень реалий, сложившихся в России. Насколько в дворянстве пользовались почетом чиновность, кавалерство и другие символы заслуг перед Престолом и Отечеством, настолько же мало обращалось внимания на образованность в ее европейских масштабах. Высокое образование не было в России обязательным атрибутом благородства. Предпочтение отдавалось опыту, приобретаемому продолжительной государственной службой, и сопрягавшемуся с ним кругу специальных знаний и навыков. Один из современников — саратовский директор училищ А. Шестаков тогда же предлагал обязать проручиться определенный срок в гимназии, университете в качестве повинности всякого дворянина, пожелавшего поступить на гражданскую службу, «ибо знание изящных наук, для выгод государственных (выделено мною — М. Ш.), нужно сему классу паче, нежели прочим состояниям; и кажется, чтобы достигнуть всеобщего просвещения в России, надобно начать с всеобщего просвещения Дворянства»<sup>2</sup>. Рекомендация не была принята. По прошествии пятилетнего срока заявленное в «Правилах» намерение осталось неисполненным.

6 августа 1809 года появился знаменитый указ об экзаменах на чин, подготовленный М. М. Сперанским. Было признано, что исторически сложившаяся потребность русского общества в образовании далеко отстает от государственных нужд: «Исключая университеты Дерптский и Виленский, все прочие учебные заведения, в течение сего времени открытые, по малому числу учащихся, не соразмерны способам их учреждения». Разумеется, самодержавное правительство прежде всего желало бы видеть вполне просвещенным воспитанное в традициях служения Государству первенствующее сословие, но то в данном случае оказалось, увы, далеко не на высоте: «К вящему прискорбию нашему, Мы видим, что Дворянство, обыкшее примером своим предшествовать всем другим состояниям, в сем полезном учреждении менее других приемлет участия». Отныне, говорилось в указе, всякий будет произведен в коллежские асессоры (VIII класс) и статские советники (V класс) только по предъявлении аттестата об окончании университета или о сдаче специальных экзаменов<sup>3</sup>. Новый закон оказался тоже неудобоисполнимым. Всех

существовавших на тот момент казенных учебных заведений с их персоналом было еще слишком мало, чтобы осуществить переподготовку чиновников. Зато в чиновничьей среде было возбуждено сильное недовольство. Александру I пришлось принять от своего наиболее глубокого и тонкого оппонента — Н. М. Карамзина нeliцеприятные замечания между прочим и по данному поводу. Правда, Карамзин осуждал не намерение или цель правительства — усилить «ревность дворян в снискании ученых сведений», — а за опрометчивый радикализм и за отсутствие продуманной системы в экзаменах. Сам указ же, по его мнению, был плох тем, что имел обратную силу: «... надлежало бы только исполнить сказанное в Уставе университетском, что впредь молодые люди, вступая в службу, обязаны предъявить свидетельство о своих знаниях. От начинаящих можно всего требовать, но кто уже давно служит, с тем нельзя, по справедливости, делать новых условий службы». Прочих чиновников если и следует экзаменовать, то в строгом соответствии с родом их службы<sup>4</sup>. Одно за другим для разных категорий чиновников последовали исключения из правила, установленного указом, и в начале следующего царствования сам указ сделался чуть ли не исключением.

Наряду с тем был и другой путь обновления чиновничества образованными людьми, медленный, зато надежный. Система гражданских чинов вызывала обоснованные нарекания. Между тем с ее помощью открывалась единственная реальная возможность поднять в России общественный престиж ученого звания. Должности профессоров и преподавателей были введены в систему классных чинов. Выпускникам разных учебных заведений стали предоставлять право поступать на гражданскую службу прямо с классным чином, минуя низшие канцелярские должности. По «Предварительным правилам» 1803 года студентам присваивался чин 14 класса. Такой же — для выпускников Демидовского училища высших наук. Чин от 14 до 9 класса, смотря по успехам, давался выпускникам Царскосельского лицея, основанного в 1810 году с целью воспитания «юношества особенно предназначенного к важным частям службы государственной»<sup>5</sup>. В 1816 году из Царскосельского благородного пансиона стали брать на службу в зависимости от успехов с чином от 14 до 10 класса. Такое же право получи-

ли выпускники благородных пансионов при Московском университете и Главном педагогическом институте. Окончание Петербургской гимназии с 1817 года давало 14 класс, полного курса в Ришельевском лицее — 12 класс, неполного — 14 класс. В 1822 году, заметив «неуравнение преимуществ», разрешили выпускникам университетов в степени кандидатов начинать службу в 10 классе, а в степени действительных студентов — в 12. Аналогичное право получили в 1825 году выпускники Гимназии высших наук имени князя А. А. Безбородко в Нежине.

В начале девятнадцатого столетия та часть придворной аристократии и широких кругов дворянства, которая придавала значение современной образованности, в основном прибегала к услугам содержавшихся иностранцами частных пансионов и иностранных учителей, имевшихся в России уже в немалом числе. «Предварительные правила» 1803 года подчили частные учебные заведения начальствам казенных училищ. Законом 5 ноября 1804 года частные училища позволялось открывать с разрешения университетов. Учредитель и директор заведения должны были предварительно получить удостоверение о своей образованности от училищного начальства. Впоследствии, развитие частного обучения становилось все более нежелательным. «Дворянство, подпора Государства, возрастает нередко под надзором людей одною собственною корыстью занятых, презирающих все не иностранное, не имеющих ни чистых правил нравственности, ни познаний, — говорилось в докладе министра народного просвещения А. К. Разумовского 25 мая 1811 года. — Следуя дворянству и другие состояния готовят медленную пагубу обществу воспитанием детей своих в руках иностранцев». Воспитание в частных заведениях в их нынешнем состоянии отчуждает молодых людей от отечественной культуры. «Все почти Пансионы в Империи содержатся иностранцами, которые весьма редко бывают с качествами, для звания сего потребными. Не зная ни нашего языка, не имея привязанности к стране, для них чуждой, они юным Россиянам внушают презрение к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему, и в недрах России из Россиянина образуют иностранца». Указ, принятый императором, разрешал преподавать в частных пансионах только по-русски и предписывал начальствам более строгий отбор

преподавателей. 19 января 1812 года были введены испытания для домашних учителей. Родителям вменялось в обязанность требовать у воспитателей подтверждения их пригодности в виде аттестата, выданного русскими училищными начальствами<sup>6</sup>. Бедствия наполеоновского нашествия способствовали отрезвлению от легкомысленного вольтерьянства и поверхностной галломании. После Отечественной войны 1812 года образованное общество внимательнее прислушивалось к предостережениям «от суеверного уничижения перед идолом иноземного просвещения и образованности». «...Отечеству предоставлена сугубая слава иметь Смоленского и никому за него не быть обязанным: — говорил в 1813 году на торжественном погребении М. И. Кутузова ректор Петербургской духовной академии архимандрит Филарет (Дроздов), один из образованнейших людей того времени, — а родителям и воспитателям остался от сего воспитания тот важный для наших дней урок, что не иноплеменное наставление производит достойных сынов отечества»<sup>7</sup>.

На цензуру Александр I обратил внимание буквально с первых же дней царствования. Он отменил 31 марта 1801 года указ своего отца о запрещении ввоза из-за границы книг и музыкальных произведений. Было снова разрешено открывать частные типографии. Временно цензура передавалась гражданским губернаторам, которым предписывалось взять себе в помощь директоров народных училищ. «Предварительные правила народного просвещения» обещали, что цензуру отдадут университетам, «коль скоро они в округах учреждены будут»<sup>8</sup>.

Энтузиасты «века Просвещения» ожидали, что впредь цензура, если не отменится совсем, то будет действовать в рамках строгой и справедливой законности, и «разумная свобода книгоиздания» будет водворена. «Свобода писать в настоящем философском веке не может казаться путем к развращению и вреду государства, — гласила анонимная записка, присланная во вновь созданное Главное правление училищ, которое разрабатывало первый в России цензурный устав. — Цензура нужна была... фанатизму невежества, покрывавшему Европу густым мраком, когда варварские законы государственные, догматы невежеством искаженной веры и фанатизм самый бесчеловечный утесняли свободу людей, когда мыслить было преступлением»<sup>9</sup>.

Всерьез мечтавший о глубоких общественно-политических реформах в духе модных концепций император склонен был скорее ожидать от осторожного печатного слова помощи в «приуотовлении умов» к преобразованиям, нежели осложнений. Ведь в XVIII веке Россия знала политическую борьбу лишь в виде придворных интриг и гвардейских заговоров. Постоянной читательской аудитории не было. Средняя «продолжительность жизни» частных изданий не превышала двух лет. Цензуры как особой отрасли управления тогда еще не существовало. В событиях, подготовивших 11 марта 1801 года, печать не играла никакой существенной роли. С воцарением Александра I в столичном обществе преобладало убеждение, что «твёрдыми законами» правительство обеспечит необходимую «свободу умов» и отвратит какие бы то ни было «злоупотребления оной».

Член Главного правления училищ Н. Н. Новосильцев предложил коллегам составить проект либо учреждения предварительной цензуры, рассматривающей сочинения до выхода в свет, либо закона о цензуре карательной по образцу датского законодательства 1799 года, предусматривавшего ответственность по выходе материалов в свет. Остановились на первом варианте. Проект академиков Н. Я. Озерецковского и Н. И. Фуса лег в основу Устава о цензуре, утвержденного царем 9 июля 1804 года. Небольшой по объему устав (47 §§) выражал, пожалуй, стремление поощрить развитие литературы. Знаменитые параграфы 20-й и 21-й гласили: «... цензура в запрещении печатания или пропуска книг и сочинений руководствуется благоразумным снисхождением, удаляясь всякого пристрастного толкования сочинений или мест в оных... когда место, подвергающее сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать», «скромное и благоразумное исследование всякой истины, относящейся до веры, человечества, гражданского состояния, законоположения, управления государственного, или какой бы то ни было отрасли правления не только не подлежит и самой умеренной строгости цензуры, но пользуется совершенной свободой тиснения, возвышающей успехи просвещения»<sup>10</sup>. Цензурные комитеты учреждались при очагах образованности – университетах и составлялись из

профессоров и преподавателей под председательством попечителей учебных округов. Авторы и издатели получали право жаловаться в Главное правление училищ.

Общественное возбуждение, смягчение цензуры благоприятно сказалось на развитии печати. Больших успехов достигла журналистика. В 1802 году Н. М. Карамзин предпринял издание первого литературно-политического журнала в России — «Вестника Европы», который при смене редакторов просуществовал двадцать девять лет. Популярностью у читателей также выделялись «Русский вестник», издававшийся более тридцати лет С. Н. Глинкой, и выходивший с 1812 года «Сын Отечества» под редакцией Н. И. Грече. Этим трем журналам удалось собрать устойчивую читательскую аудиторию. Общее число подписчиков на них достигло огромной по тем временам цифры — до 2500<sup>11</sup>. Всего же только за период с 1801 по 1811 год в Петербурге и Москве предпринято было издание более сорока наименований газет, журналов, сборников, альманахов. В печати в это время преобладало обсуждение проблем законности, тирании, идеального правления и т. п.<sup>12</sup>.

Но почти с первых же «дней Александровых» в административной среде почувствовали недоверие к печатному слову. Письменное публичное выступление частных лиц было в России явлением еще достаточно новым, и последствия такой практики ответственный чиновник не мог определить точно. Среди плодов отечественной мысли пользовалась тогда успехом книга И. Н. Пнина «Опыт о просвещении». В 1804 году ее разрешил издать петербургский губернатор. Затем, уже после принятия устава цензурный комитет, получив донос, переиздание книги запретил: автор подверг критике положение крепостных крестьян. «... Сие (крепостное право. — М. Ш.) есть зло, веками укоренившееся, и требует осторожного и повременного исправления, — рассуждали цензоры, — ... Если бы сочинитель нашел или думал найти какое-нибудь новое средство, дабы достигнуть скорее и вместе с тем безопаснее предполагаемой им цели, т. е. истребления рабства в России, то приличнее было бы предложить оное проектом правительству». Простое печатное оглашение подобного мнения вызывало опасения за последствия, казалось неудобным, даже если оно было благонамеренным: «... разгорячать умы, воспламенять страсти в

сердцах такого класса людей, каковы наши крестьяне, это значит в самом деле собирать над Россией губительную тучу»<sup>13</sup>. В 1808 году по всем учебным округам было дано предписание «не пропускать никаких артикулов, содержащих известия и рассуждения политические»<sup>14</sup>, то есть о международных событиях. Повод для этого дал «Русский вестник». Его редактор Глинка считал своим долгом морально приготовить русское общество к предстоящей борьбе с Наполеоном, а не прошло и года, как Александр I подписал Тильзитский мир. Неудовлетворенность действиями цензуры побудила императора в 1811 году наделить функциями надзора за печатью Министерство полиции. Теперь оно должно было организовывать у себя просмотр продукции печатного станка, уже разрешенной цензурными комитетами, и обо всем, подающем повод к «превратным толкованиям», его глава должен был докладывать монарху. Протест министра народного просвещения А. К. Разумовского остался без последствий, и тот вскоре вышел в отставку. Такое сосуществование двух цензур: предварительной в лице комитетов при университетах и карательной, чем являлось Министерство полиции, – создавало почву для межведомственных склок, что, конечно, ухудшало условия литературной и издательской деятельности. Стремление правительства не допускать привлечения внимания читающей публики к крупным общественным проблемам усиливалось. Министр полиции сразу же настоял на удалении из программы периодического издания «Дух журналов» (1815–1820) отдела внутреннего обозрения. Редактор хотел в своем журнале ознакомить читателя с «великими способами» и «выгодами» России, а также печатать критику «некоторых недостатков» и « злоупотреблений»<sup>15</sup>. Подобные вопросы, считал министр, «относятся до попечения самого правительства и отнюдь не могут подлежать суждению частных лиц публично»<sup>16</sup>.

После наполеоновских войн в европейском обществе, мыслившем категориями культурно-политического универсализма, идеи Просвещения оттеснило утверждение ценности христианских корней европейской культуры. Получивший теперь широкое распространение интерконфессиональный мистицизм едва ли не преобладал над обновленным интересом к традиционным вероисповеданиям. Новая европейская мода ув-

лекла русское образованное общество, поддался ей и воспитанник Ф. -С. Лагарпа – Александр I. Теократические мечтания помимо иных причин побудили его в области международной действовать путем Священного союза. Розовые мечты юности о внутренних реформах по трафаретам, унаследованным от эпохи Просвещения, император постепенно оставил. Летом 1821 года он обмолвился М. М. Сперанскому, что следует «не торопиться преобразованиями; но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются»<sup>17</sup>.

Ведомство, куда входила предварительная цензура, в 1817 году было оформлено как Министерство духовных дел и народного просвещения. Во главе его стал обер-прокурор, председатель Библейского общества князь А. Н. Голицын. Вольтерьянec в прошлом, увлеченный теперь новомодным мистицизмом, он склонен был впадать в обскурантские крайности. Выдвинутые им М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич печально прославили себя несправедливыми гонениями против профессоров и студентов Казанского и Петербургского университетов. Своеобразным девизом политики «сугубого министерства» в области печати была известная фраза Магницкого: «Слово человеческое есть проводник адской силы философии XVIII века, книгопечатание – орудие ее...»<sup>18</sup> Голицын сразу же сделал следующий шаг по пути дробления цензуры между различными ведомствами, предписав цензурным комитетам не пропускать «ничего, относящегося до правительства, не спросив прежде на то согласия от того ведомства, о предмете которого рассуждается»<sup>19</sup>. Министр желал изгнать из печати все, что могло хоть как-то задержать внимание общества на прежних правительстенных намерениях. После публикации в «Духе журналов» речи малороссийского генерал-губернатора Н. Г. Репнина в связи с дворянскими выборами в двух губерниях, где тот призывал помещиков упорядочить, регламентировать свои отношения с крестьянами, попечитель Петербургского учебного округа С. С. Уваров получил выговор. Голицын потребовал «обратить внимание цензуры на издаваемые журналы и другие сочинения, дабы в них ни под каким видом не было печатаемо ничего ни в защищение, ни в опровержение вольности или рабства крестьян, не только здешних, но и иностранных, ни вообще материй, касающихся до правительства»<sup>20</sup>.

Министерство приступило к разработке нового цензурного устава. В 1820 году был образован для этого особый комитет. Через три года работы он выдал проект, в основе которого лежали предложения Магницкого. Случилось так, что некоторые его параграфы вторгались в область цензуры духовной, которая относилась к ведению Святейшего синода. Проект был возвращен на доработку, и дело затянулось. Покровительство сектам со стороны увлеченных новомодным мистицизмом деятелей Библейского общества, распространение ими западной мистической литературы встретили оппозицию со стороны ревнителей Православия, которое Голицын склонен был третировать как только-де «внешнюю церковь». Это вынудило осторожного Александра I в 1824 году дать отставку министру и упразднить «сугубое» министерство. Министром народного просвещения был назначен адмирал А. С. Шишков.

Между тем цензура, стараясь быть бдительной, помешала члену Главного правления училищ М. Л. Магницкому подвергнуть в печати критике все те же «идеи XVIII века». В 1824 году он представил в петербургский цензурный комитет статью «Нечто о конституциях», где доказывал преимущества абсолютной монархии перед конституционным строем. Цензоры не сочли «ни нужным, ни полезным, ни даже приличным в государстве с самодержавным образом правления публично рассуждать о Конституциях». Кроме того, полагал Комитет, «некоторые суждения об этом предмете могут показаться неприятными для союзных с Россией иностранных держав, имеющих правление конституционное». Непривычное движение мысли вне стен правительственные канцелярий чиновников настораживало: «... издание в свет подобного сочинения на русском языке, хотя и написанном в духе самодержавного правления, может подать повод в периодических изданиях и других книгах писать о конституциях, а публике делать свои выводы и превратно объяснять появление у нас подобного рода вещей»<sup>21</sup>.

Работа над уставом возобновилась при Николае I. В январе 1826 года министр Шишков получил распоряжение «о скорейшем приведении к окончанию дела об устройстве цензуры»<sup>22</sup>. Проект Магницкого был доработан под руководством директора канцелярии Министерства народного просвещения П. А.

Ширинского-Шихматова. Новый устав был утвержден императором 10 июня 1826 года.

Перед цензурой новое законодательство ставило задачу «произведениям словесности, наук и искусств... дать полезное или, по крайней мере безвредное направление», печься «о направлении общественного мнения согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства». Сочинители 230 параграфов устава хотели предусмотреть любые, доступные фантазии, ухищрения злонамеренных авторов и дать цензорам рецепты на все случаи в их многотрудном деле<sup>23</sup>. Важно заметить, что цензорам теперь запрещались другие занятия, то есть, таким образом, от цензуры отстранялись ученые и литераторы.

Побужденный нуждой проситься на службу С. Н. Глинка — человек далеко не либеральных взглядов, — прочитав новый устав, вернул его Ширинскому-Шихматову со словами: «... В силу такого чугунного устава не могу быть цензором»<sup>24</sup>.

Тайная полиция получала сведения о растущем ропоте среди ученого-литературной общественности. «Особенно стараются растерзать на части цензурный устав, экземпляры которого встречаются даже в гостиннодворских лавках, — писал управляющий III Отделением М. Я. фон Фок своему начальнику — графу А. Х. Бенкendorфу. — Литераторы в отчаянии. Писатели и журналисты носятся с своим негодованием по всем кружкам, которые они посещают, а у них связи и знакомства огромные»<sup>25</sup>. Д. В. Дашкову, ставшему впоследствии министром юстиции, и сенатору С. С. Уварову, бывшему попечителю Петербургского учебного округа, удалось добиться пересмотра устава. Николай I дал согласие на разработку нового свода цензурных правил, который исходил бы из того, что цензура «уподобляется таможне, воспрещающей ввоз запрещенных товаров, а не есть фабрика, где делают товары хорошие»<sup>26</sup>.

Авторы устава, принятого 22 апреля 1828 года, стремились смягчить крайности устава А. С. Шишкова. Цензорам запрещалось «входить в разбор справедливости или несправедливости частных мнений и суждений писателя, если только оные не противны общим цензурным правилам», «входить в суждение о том полезно или бесполезно рассматриваемое сочинение, буде только оно не вредно». Требовалось обращать внимание «на

явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в другую сторону»<sup>27</sup>. Цензурное ведомство получило новую организацию. Учреждались цензурные комитеты в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Вильно, Киеве, Одессе, Тифлисе, отдельные цензоры – в Дерпте, Ревеле, Казани. Для зарубежных изданий, ввозимых в Россию, был создан Комитет цензуры иностранной. Высшей инстанцией, куда могли жаловаться авторы и издатели, стало Главное управление цензуры, куда вошли: товарищ министра народного просвещения, представители ведомства православного исповедания, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, президенты Академий наук и художеств, управляющий III Отделением собственной его императорского величества канцелярии, попечитель Петербургского учебного округа. Запрещения цензорам других занятий устав не предусматривал. Научные учреждения и университеты надеялись правом самостоятельной цензуры. Позднее в организацию цензуры вносились отдельные мелкие изменения.

После радостного одобрения, которым встретила публика новый Устав о цензуре, последовало разочарование. «Со времени существования цензуры, – писал С. Н. Глинка, – не было такого свободного, такого льготного устава для мысли человеческой, каким казался устав 1828 года. С горестью повторяю: казался»<sup>28</sup>. Опять, как и после устава 1804 года, по разным конкретным случаям последовали разъяснения, предписания, циркуляры, стесняющие печать, повергающие писателей в уныние. Прекрасно осведомленный о всех перипетиях надзора за печатью профессор А. В. Никитенко в 1830 году с грустью писал, что «цензурный устав совсем ниспровержен».

Итак, законодательство само по себе не давало авторам и издателям достаточных гарантий от административного произвола. Литераторы старались их обеспечить с помощью личных связей, искали более-менее высокопоставленных покровителей. Очень многое в таких условиях зависело от личных качеств каждого цензора. Н. М. Карамзин нашел себе благосклонного цензора в лице императора Александра I: «История государства Российского» печаталась по высочайшему повелению. Отношения императора Николая I и А. С. Пушкина при всей их сложности, были не бесполезны для литературной де-

ятельности последнего. Цензор С. Т. Аксаков недоброжелательно относился к Н. А. Полевому, и тот пытался в обход московского цензора получать разрешение на материалы для своего «Московского телеграфа» в Петербурге. Впоследствии, Полевой с известным успехом пользовался поддержкой шефа жандармов А. Х. Бенкendorфа<sup>29</sup>.

Яркий пример цензорской доброжелательности в то время – действия С. Н. Глинки. В 1828 году из-за материальных затруднений он все-таки занял в Москве должность цензора. Своим коллегам он предложил составить «цензуру совещательную»: «Если в рукописях тех, которые постарее нас, заметим что сомнительное, то поедем к ним на дом для объяснения. А кто помоложе нас, того пригласим в комитет»<sup>30</sup>. Кс. А. Полевой писал, что Глинка не раз говорил: «Дайте мне стопку белой бумаги, и я подпишу ее всю по листам как цензор; а вы пишите на ней что хотите! Да! Я не верю, чтобы нашелся такой человек, который употребил бы во зло доверенность цензора, когда притом он и сам отвечает за то, что пишет»<sup>31</sup>. Через три года за цензорские упущения Глинка был подвергнут аресту и заключению на гауптвахте, а вскоре после этого и совсем отстранен от должности.

Тем не менее в 20-е годы вес литературы и журналистики в жизни общества неуклонно рос. Множилась читающая публика. Нарастала потребность в печатном слове. В 1824 году альманах А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева «Полярная звезда» (2-я книга) разошелся тиражом в 1500 экземпляров, «Мнемозина» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского – в 1200-х экземплярах. «Московский телеграф» Н. А. Полевого имел в 1827 году до 1500 подписчиков<sup>32</sup>.

Развитие печати при стремлении не ослаблять административную опеку над ней закономерно вело к увеличению дело-производства и цензурных штатов. По мере роста продукции типографского станка росла частная и служебная переписка между издателями, органами цензурного ведомства, авторами, высшими сановниками Империи: цензоры вновь и вновь выясняли из раза в раз один и тот же вопрос, что пропускать и что не пропускать...

После мятежа 14 декабря 1825 года недоверие правительства к неофициальному печатному слову усилилось еще более. Стремление к максимальной централизации государственного

управления, опасение подпускать частных лиц без правительственної опеки к глобальным общественно-государственным вопросам, проблемам уничтожения «зол веками укоренившихся» сопровождалось зачастую тем, что всякое не совсем ясное движение умов в обществе бралось под прямое подозрение в политической нелояльности. В надзор за печатью включалось III Отделение. Император Николай I идейные процессы в русском образованном обществе понимал упрощенно и в борьбе с «духом 14 декабря» на административно-полицейские средства полагался, пожалуй, чрезмерно. «...Этот монарх не придает ни малейшего значения силе идей и убеждений, а верит только во всемогущество физической силы...» — в этих не точных в целом словах баварского посланника О. де Брэ есть все же известная доля справедливости<sup>33</sup>.

Отсюда появлялось нежелание видеть в печати, особенно в периодической, не только рассуждения или намеки на действия правительства, способные вызвать какие-нибудь продолжительные «толки» в публике, но и комментарии частных лиц к политическим событиям или подробные сведения о радикальных политических учениях.

В 1827 году Д. Н. Блудов, приближенный императора, довольно ясно выразил правительственные опасения в письме к бывшему товарищу по литературному обществу «Арзамас» князю П. А. Вяземскому: «В век, духовно больной, как тот, в котором мы живем, порою мысль невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов; необходимо избегать этого как ради самого себя, так и ради правительства». Речь шла о журнальной деятельности Н. А. Полевого — издателя «Московского телеграфа». Блудов, рассуждая об общем направлении журнала, пространно пояснял, что именно может ввести в соблазн обыкновенного читателя: «... дело заключается в некотором духе едкости и суждения, в известном стремлении высказывать и напоминать ложные положения, превозносить людей, широко известных по их неистовой оппозиции, почти враждебной их правительству... преувеличенные похвалы Жан-Жаку Руссо, политическим вопросам и вопросам политической эконо-

мии, определенным как темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей.»<sup>34</sup>

На частную периодическую печать – а в то время это были, главным образом, литературные журналы – падало наибольшее подозрение. По инициативе шефа жандармов А. Х. Бенкendorфа за публикацию перевода четверостишия Ж.-Ф.-К. Делавиня, посвященного жертвам Июльской революции во Франции, А. А. Дельвиг был отстранен от редактирования «Литературной газеты». В 1832 году был запрещен журнал «Европеец», лишь два номера которого успели выйти в свет. В статье «Девятнадцатый век», написанной его издателем И. В. Киреевским, Николай I усмотрел скрытый политический смысл: «... сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное... под словом «просвещение» он понимает «свободу», «деятельность разума» означает у него «революцию», а «искусно отысканная середина» есть не иное как «конституция»<sup>35</sup>. Статья носила историко-философский характер. Ее появление в издании, предназначенному для широкой публики могло восприниматься как новшество, как и само стремление пробуждать общественный вкус к сочинениям такого рода. Киреевский доказывал пользу включения в русскую образованность тех плодов европейской культуры, которые произвело в ней «античное начало». Современнику, не причастному к философским увлечениям «Общества любомудров» или кружка Д. В. Веневитинова, по смыслу статья могла и не быть доступна. В этой связи и может быть понятным раздраженное замечание императора о ее «нелепости». Одновременно с закрытием «Европейца» было издано распоряжение о том, что впредь основывание журналов будет допускаться только с высочайшего разрешения.

Между тем в начале 30-х годов среди литературной общественности было желание сотрудничать с высшей властью. Оно появилось у тех, кто тогда переоценил многое из политических стереотипов, сложившихся под влиянием философии Просвещения. К примеру, политические настроения А. С. Пушкина того времени ощутимо сближали его с позицией Н. М. Карамзина периода знаменитой «Записки о Древней и Новой России». В письменных и устных речах великого поэта появлялись замечания о потребности российского государст-

венного организма в неограниченном монархе, стоящем «выше всех и даже выше самого закона», об «отвратительном цинизме», «жестоких предрассудках», «нестерпимом тиранстве» североамериканской демократии, о положительном влиянии немецкой философии, которая «спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения»<sup>36</sup>. Признавая, что право обращаться письменно к публике налагает на автора огромную ответственность, Пушкин готов был признавать, что право самодержавного правительства контролировать печатное слово имеет под собой моральные основания: «Очевидно, что аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагаю свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно... Законы против злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона, не предупреждают зла, редко его пресекая, одна цензура может исполнить то и другое.»<sup>37</sup> Появлялось стремление «доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами»<sup>38</sup>. Лучшей формой сотрудничества представлялось издание частного литературно-политического журнала «согласно с видами правительства». В. А. Жуковский, А. С. Пушкин обращались с таким предложением, обещая объединить вокруг себя «людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его (правительство. — М. Ш.) неприязненным к просвещению»<sup>39</sup>.

Но успеха эти попытки не имели. Правительство не желало проникновения в печать самостоятельного общественного мнения, пусть даже лояльного. Не желала высшая власть и посвящать, пусть хоть в малой степени, в свои сокрытые от публики «виды» кого бы то ни было из среды ученых и литераторов. Действовать «как можно келейнее» (Л. В. Дубельт),

держать публику максимально в неведении — казалось после 14 декабря единственно разумной нормой. «... Защищение через газеты изданных высочайшей властью законов вовсе не было бы согласно с достоинством монархического правления»<sup>40</sup>, — эта фраза из официальной бумаги, написанной в канцелярии министра финансов Е. Ф. Канкрина, вполне отражала господствующую в верхах точку зрения.

С началом царствования Николая I Министерству народного просвещения стали чаще акцентировать на факт существования в России сословного строя, который ему вменялось в обязанность полнее учитывать, заботясь о строительстве и совершенствовании системы образования. «... Необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, — говорилось в рескрипте императора министру А. С. Шишкову в 1827 году, — чтобы каждый... не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновенному течению дел, ему суждено оставаться»<sup>41</sup>. Это означало, что в учебные заведения от гимназии и выше разрешалось принимать представителей только «свободных состояний». Крепостные, в том числе дворовые, могли быть допущены лишь в приходские и уездные училища, как казенные, так и соответствующей ступени частные.

Для того чтобы поднять престиж государственной системы образования в глазах дворянства, делали шаги, импонирующие его корпоративным настроениям. В 1826 году для детей дворян и чиновников учредили отдельные пансионы при гимназиях. Пансионеры присутствовали на занятиях вместе с разночинцами, но содержались отдельно. Однако полностью одворянить не столь уж многочисленные университеты и гимназии было невозможно. Посетив в 1827 году полупустую псковскую гимназию и не найдя там ни одного дворянина, Николай I распорядился ее закрыть, сделав резкий выговор псковскому дворянству за недостаток гражданской сознательности: «Его Величеству прискорбно видеть из сего, что дворянство и прочие жители Пскова не довольно заботятся о воспитании детей своих, забывая, что сведения, ныне вообще необходимые, нужны в особенности людям высших состояний

в Государстве, и как будто пренебрегая средствами, которые попечительное правительство наше, не щадя усилий и издержек, открывает всем для приобретения полезных знаний»<sup>42</sup>.

Правительство с недоверием и опасением смотрело на привычку пользоваться услугами частных учебных заведений. Устав о средних учебных заведениях 1828 года предоставлял университетам право по своему усмотрению закрывать подведомственные им частные училища. «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное... — писал императору А. С. Пушкин. — Воспитание в частных пансионах не многим лучше... Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное... уничтожив или, по крайней мере, сильно затруднив воспитание частное, правительству легко будет заняться улучшением воспитания общественного»<sup>43</sup>. Наиболее радикальной мерой по ограждению образования аристократической молодежи от иностранного влияния во избежание противогосударственных или противообщественных последствий был указ Николая I Сенату от 18 февраля 1831 года «О воспитании Российского юношества в отечественных учебных заведениях». В нем говорилось, что получившие образование за границей «молодые люди возвращаются иногда в Россию с самыми ложными о ней понятиями. Не зная ее истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка, они являются чуждыми посреди всего отечественного». Для предотвращения этого молодым людям до исполнения 18 лет запрещалось выезжать из России «для усовершения в науках». Нарушители запрета теряли право поступать на государственную службу, как на военную, так и на гражданскую. Исключения допускались по особому высочайшему разрешению<sup>44</sup>. В том же году министр народного просвещения князь К. А. Ливен распорядился, чтобы впредь в С.-Петербургском учебном округе частные пансионы были открываемы лишь с его, министра, разрешения.

Одновременно продолжалось предоставление выпускникам разных учебных заведений привилегий при поступлении на службу. Устав 1828 года закреплял за всеми окончившими гимназии право на сокращенные сроки производства в первый классный чин, а за теми, кто «сверх прочих наук» обучился еще и древнегреческому языку, — право начинать службу сразу в 14

классе. Университетский устав 1835 года помимо прочего постановлял, что ученая степень магистра дает право на 9 класс, а доктора – на 8-й. Выпускники Училища правоведения, основанного в том же году, получили одинаковые права с воспитанниками Царскосельского лицея.

Представление о том, что облик чиновничества можно преобразить лишь путем предоставления служебных преимуществ образованности, постепенно укреплялось. А. С. Пушкин в 1826 году, предлагая Николаю I «извлечь некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием просвещения», выражал достаточно распространенную точку зрения<sup>45</sup>. Ей суждено было возобладать в правительственной среде при подготовке Устава о службе гражданской. Его разработкой фактически руководил автор указа об экзаменах на чин М. М. Сперанский, который, как писал служивший при нем барон М. А. Корф, «в 1834м году (когда был принят устав. – *M. Ш.*) был главным и всемогущим членом Департамента законов» Государственного совета<sup>46</sup>. С высоты четвертьвекового опыта высший законосовещательный орган Империи констатировал: «... не только через пять лет, как в правилах 1803 года предполагалось, но даже и через 25 лет после указа 1809 года ни средние, ни высшие наши училища не могли доставить такого числа образованных науками чиновников, какое нужно для всех родов службы». Следовательно, у правительства остается единственное эффективное средство: «Во всех родах службы дать решительное преимущество в чинопроизводстве лицам, науками образованным.»<sup>47</sup> По уставу все чиновники делились на три разряда. К первому разряду были отнесены лица с высшим образованием, ко второму – чиновники, обучавшиеся в средних учебных заведениях, к третьему – лица, окончившие училища низшей ступени или вообще без образования, то есть без какого бы то ни было аттестата. Первые из XIV класса достигали чина V класса обычным порядком за 24 года или 26 лет (дворяне производились в VIII класс на два года быстрее, чем недворяне), за отличие – через 15 или 17 лет как минимум. Вторые могли сделаться статскими советниками за обыкновенную выслугу через 30 или 36 лет, при заслугах, самое быстрое, – через 22 года или 25 лет. Третьи могли получить генеральский чин через 37 лет или 42 года просто при хорошем выполнении

своих обязанностей, при отличиях — и за 26 лет или 31 год. За чиновниками 2-го и 3-го разряда оставлялось право сдавать экзамены и переходить в более высокий разряд. Образованные чиновники, таким образом, продвигались по лестнице Табели о рангах в полтора-два раза быстрее. Этим закон устанавливал прочную тенденцию к накоплению лиц, интеллектуально развитых, на крупных должностях, то есть тех, что сопрягались со штаб-офицерскими и генеральскими чинами. Развитие народного образования, действительно, могло теперь заметно сказаться на состоянии государственной службы в не слишком отдаленной перспективе — в течение активной жизни одного-двух поколений.

\* \* \*

ТАКИМ ОБРАЗОМ, создавая, расширяя, преобразовывая государственную систему образования, народного образования, то есть в целом предназначенному так или иначе для просвещения всего народа, самодержавное правительство стремилось вытеснить образование частное, максимально снизить его значение или оттеснить на задний план.

Другой своей целью оно полагало добиться возможно более полного привлечения в казенные учебные заведения дворянского сословия. Однако тяга дворянства к получению образования оказывалась слишком невелика, ее рост далеко отставал от увеличения государственных потребностей. По мере этого правительство соглашалось допускать в гимназии и университеты представителей других сословий, за исключением крепостных. Другого выхода у него не оставалось.

Но более всего высшая власть стремилась за счет притока образованных людей радикально обновить чиновничество, поднять качество государственной службы, общую культуру администрации. Неудачи не колебали решительности и настойчивости верхов в этом вопросе. Ряд отдельных привилегий для выпускников казенных учебных заведений увенчался в 1834 году системой разрядов по уровню образования, которая задала тенденцию к постепенному группированию во внутренней иерархии правительственного аппарата на достаточно высоком уровне чиновников новой формации.

Цензуру высшая бюрократия воспринимала как средство не допустить проникновения любых отголосков общественного мнения в печать. При этом внешние ограничения, запретительные меры понимались как единственно верное, надежное средство контроля над печатным словом. После 14 декабря 1825 года такой взгляд в высших сферах господствовал полностью.

Растущая по мере развития печати запутанность и противоречивость цензурных правил фактически лишили «пишущий класс» твердых законодательных гарантий, зачастую затрудняли самих цензоров. Им приходилось пристально следить за переменами настроений в верхах, угадывать начальственную реакцию на тот или иной случай. Поэтому, например, братья Николай и Ксенофонт Полевые – опытные журналисты – просили цензора С. Н. Глинку внимательно читать все присылаемые ему корректуры и рукописи, ибо «писатель не может знать множества отношений, известных только цензуре»<sup>48</sup>. Крайняя малочисленность читающей публики определяла слабость печати перед административным давлением. Жесткая цензура прочно удерживала общественное мнение в тесных рамках столичных кружков и салонов, столичных аристократических клубов, провинциальных дворянских обществ.

На рубеже 1830–1840-х годов среди пишущей и читающей общественности те, кто вдумчиво присматривался к действиям правительства в области народного образования, по-видимому, находили их справедливыми. Что же касается цензуры, в адрес верхов из среды литераторов было высказано мнение, что действия только с помощью административного давления далеко не лучший способ правительственного контроля над печатью, что такой метод может сильно повредить авторитету власти, может благоприятствовать оппозиционным настроениям. «Число русских писателей увеличивается со дня на день, пресса становится более деятельной, необходимость дать работу мысли проявляется во всех классах общества, – сгущая краски, говорил П. А. Вяземский в документе начала 1830-х годов, написанном по поводу очередного всплеска печатной русофобии в Европе. – Правительство должно... овладеть этим умственным движением, дать ему здоровое направление... Цензура, которая препятствует злу,

является лишь негативной, инертной силой; нужна сила активная, творческая сила, сила прессы, творящая благо»<sup>49</sup>. Но для того чтобы сотрудничество власти с лояльно и конструктивно настроенными представителями «пишущего класса» увенчалось-таки созданием из последних дополнительной опоры для правительенной политики, надо было, чтобы стоящие у власти открыли избранным литераторам-журналистам известный доступ к закулисным политическим тайнам современности, до времени скрываемым «видам правительства». То есть, фактически, чтобы власть в какой-то мере дала возможность избранным мастерам *пера* влиять на формирование правительенного курса. В любом ином случае согласились ли бы смотрящие, почти завороженно, на Европу честолюбивые мечтатели, самостоятельно проявляя разумнуюдержанность и осторожность, *разделять ответственность с высшей российской бюрократией?*

Всякие шаги, связанные с подобной перспективой, императором Николаем I и его окружением исключались совершенно. Ни самодержец, ни придворно-правительственная среда в целом не видели ни необходимости, ни пользы в том, чтобы усложнять способы контроля над печатью.

Таковы, приблизительно, были те преемственные черты умонастроения правительства относительно народного просвещения и печати, которые, разделяя или не разделяя в той или иной мере должен был принять в расчет заступивший в 1832 году на пост главы этого ведомства Сергей Семенович Уваров (1786–1855).

## Примечания

- <sup>1</sup> Полное собрание законов Российской империи. (Далее – ПСЗ.) Собр. I. Т. XXVII. № 20597.
- <sup>2</sup> Агшинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век.). СПб., 1912. С. 24.
- <sup>3</sup> ПСЗ. Собр. I. Т. XXX. № 23771.
- <sup>4</sup> Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 69.
- <sup>5</sup> Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1875. Стб. 634.
- <sup>6</sup> Там же. Стб. 706–707.
- <sup>7</sup> Слово перед погребением тела светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова Смоленского // Сочинения Филарета Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. Т. 1. 1803–1821. М., 1873. С. 47.
- <sup>8</sup> Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб., 1902. С. 100.
- <sup>9</sup> Сухомлинов М. И. Ук. соч. Т. 1. С. 415.
- <sup>10</sup> Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1852. С. 88–89.
- <sup>11</sup> Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. Л., 1951. С. 173, 177, 199.
- <sup>12</sup> См.: Бокова В. М. Тема законности в русской печати начала XIX века // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1989. № 6.
- <sup>13</sup> Пятковский А. П. Ук. соч. Т. 2. С. 101.
- <sup>14</sup> Сухомлинов М. И. Ук. соч. Т. 1. С. 433.
- <sup>15</sup> Пятковский А. П. Ук. соч. Т. 2. С. 302, 310.
- <sup>16</sup> Скабичевский А. М. Ук. соч. С. 122.
- <sup>17</sup> Цит. по: Миценко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX века. М., 1989. С. 217.
- <sup>18</sup> Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. С. 160.
- <sup>19</sup> Там же.
- <sup>20</sup> Беседа в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. М., 1871. Вып. 3. С. 21–22.
- <sup>21</sup> Сухомлинов М. И. Ук. соч. Т. 1. С. 428–429.
- <sup>22</sup> Гильельсон М. И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 года // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 8. Л., 1978. С. 197.
- <sup>23</sup> Сборник постановлений и распоряжений по цензуре... С. 127–196.
- <sup>24</sup> Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 76.
- <sup>25</sup> Гильельсон М. И. Ук. соч. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 8. С. 201.
- <sup>26</sup> Там же. С. 213.
- <sup>27</sup> Сборник постановлений и распоряжений по цензуре... С. 315, 317, 318.
- <sup>28</sup> Глинка С. Н. Записки. С. 351.
- <sup>29</sup> См.: Сухомлинов М. И. Ук. соч. Т. 2.
- <sup>30</sup> Глинка С. Н. Записки. С. 351.
- <sup>31</sup> Николай Полевой. Материалы по истории русской журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 255.
- <sup>32</sup> Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. С. 223, 230, 253.
- <sup>33</sup> Брэ де О. Император Николай I и его сподвижники (Воспоминания графа Оттона де Брэ.). 1849–1852. // Русская старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 128–129.
- <sup>34</sup> Вацуро В. Э., Гильельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 143, 145.

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- <sup>35</sup> Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. Т. 133. № 2. С. 314.
- <sup>36</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти тт. Л., 1978. Т. VII. С. 190, 298; Разговоры Пушкина. М., 1929. С. 174–175.
- <sup>37</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти тт. Т. VII. С. 206, 207.
- <sup>38</sup> Русский архив. 1897. № 4. С. 657.
- <sup>39</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-и тт. М.-Л., 1937–1949. Т. 14. С. 283–284.
- <sup>40</sup> Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. № 2. С. 306.
- <sup>41</sup> Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. I. СПб., 1875. Стб. 71.
- <sup>42</sup> Там же. Стб. 106.
- <sup>43</sup> Пушкин А. С. О народном воспитании // Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. VII. С. 32–33.
- <sup>44</sup> Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. I. Стб. 423–424. Есть мнение, что указ сказался в целом благоприятно на развитии отечественного образования: «Запрет на обучение за границей до достижения 18 лет сконцентрировал внимание общественности, благотворителей на положении дел в отечественной системе образования, стимулировал ее совершенствование и расширение образовательной сети. В этот период растет число гимназий, появляются новые высшие учебные заведения, расширяются и перестраиваются старые. При этом следует отметить, что указ появился только после того, как в общих чертах был решен вопрос об обеспечении открывающихся учебных заведений преподавательскими кадрами». (Брылевская Л. И. Реформа математического образования в николаевское время // Философский век. Альманах. № 6. Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. СПб., 1998. С. 121.)
- <sup>45</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. VII. С. 32.
- <sup>46</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. (Дневник М. А. Корфа.) Ч. VII. Л. 131 об.
- <sup>47</sup> Российский государственный исторический архив. (Далее – РГИА.) Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Ед. хр. 32. Л. 172, 173.
- <sup>48</sup> Николай Полевоий. С. 255.
- <sup>49</sup> Русская литература. 1966. № 4. С. 127.

## ГЛАВА II

# С. С. Уваров и его политика

Если справедливо то, что достижения государственного строительства, общественной самодеятельности, науки, литературы, искусства так или иначе зиждутся на фундаменте общественного образования<sup>1</sup>, — мы должны в исторических судьбах русской культуры XIX века, без сомнения, признать за этим человеком выдающуюся роль.

Среди придворной аристократии дореформенного времени Уваров выделялся особенно глубоким образованием. Главным образом с его укреплением в России он связал свою полувековую карьеру и до конца жизни оставался в числе тех, кто ожидал от успехов наук и художеств добрых плодов для «общего блага».

Принадлежность к высшим придворно-правительственным кругам предопределялась происхождением и воспитанием Сергея Семеновича. Он родился в Петербурге, в семье офицера конной гвардии — сына генерала, убитого в Семилетнюю войну. Мальчика крестили в дворцовой церкви, сама императрица Екатерина II, благоволившая отцу — своему адъютанту, пожелала быть крестной матерью. Через два года после рождения сына Сергея тридцатипятилетний блестящий офицер ушел на войну со Швецией и не вернулся. Супруга, Дарья Ивановна, урожденная Головина, оставшись вдовой с тремя детьми, удалилась от двора и всю себя посвятила воспитанию сыновей; маленькая ее дочь также вскоре умерла. Представляясь императору юный Уваров отправился, полу-

чив материнское напутствие: «Вплоть до настоящего дня я сделала для вас все, что было в моих силах, моя роль сегодня, окончена; знайте, что вы не найдете больше другой поддержки, кроме как в вас самих»<sup>2</sup>.

Стараниями матери С. С. Уваров получил образование, наиболее подходившее тогда для молодого человека, желавшего успеха в высшем свете. «В те времена, — вспоминал он на склоне лет, — не было ни одной знатной семьи, которая бы не имела у себя какого-нибудь французского аббата. Это было столь же обязательно как модное платье». Недоумевая впоследствии, с чего бы это спасающимся от ужасов революции «беглым изгнанникам было вдруг доверено воспитание всего высшего слоя России», Уваров тем не менее сохранил искреннюю личную признательность своему воспитателю — аббату Мангену, не покидавшему их семью до самой смерти<sup>3</sup>. Пользуясь для своих ученого-литературных и публицистических выступлений французским языком, Уваров сохранил на всю жизнь слегка архаизированный литературный стиль, напоминающий времена конца Старого порядка, — возможно, не только ради престижа среди французских интеллектуалов, но отчасти и как дань памяти учителя детских лет. Как и полагалось представителю тогдашней столичной великосветской молодежи, Уваров был воспитан с ориентацией на французский аристократический салон предреволюционного времени, с детства абсолютно владел французским языком, знал немецкий, блестяще разбирался в той и другой словесности. Всего этого, наряду с природной душевной тонкостью и отличным светским тактом, пятнадцатилетнему Уварову было достаточно, чтобы произвести благоприятное впечатление на императора Александра I и поступить на дипломатическую службу, самую почетную после военной.

С 1806 по 1810 год Уваров находился при русских посольствах, сначала в Вене, затем в Париже. С головой окунулся в жизнь высших слоев Европы эпохи наполеоновских войн, познакомился с И.-В. Гете, Г. Штейном, Ж. де Сталь, братьями Шлегелями, К.-А. Поццо ди Борго и другими знаменитыми людьми того времени. Общение с лидерами французского и немецкого ученого-литературного мира развило у впечатлительного от природы Уварова широту интеллектуальных интересов,

утонченный эстетический вкус, любовь к античным древностям, которые он стал коллекционировать, вкус к настоящей науке и стремление к постоянному самообразованию. Образованность или просвещенность сделалась для него безусловной и важнейшей добродетелью. «... Склонности к изящной литературе и искусству... крайне редки и малозначительны среди представителей высшего общества... — с неудовольствием обобщал Уваров в 1807 году свои венские впечатления... — Простонародье всех наций имеет своим девизом *panem et circenses* (Хлеба и зрелищ! — публ.). Это общий крик так называемых цивилизованных народов»<sup>4</sup>. Довольно рано Уваров стал проникаться романтическим умонастроением, выходившим тогда в Европе на первый план. У него складывалось ощущение, что современное направление развития европейских народов безжалостно разрушает все наиболее совершенное, благородное в области духовной культуры. «... Народ воинственный, неутомимый, неустрашимый, его называют французами, но своеобразные черты его национального характера, современная аттическая тонкость исчезли...» — читаем в его заграничном дневнике<sup>5</sup>. Любовь к просвещению как к пути самосовершенствования постепенно смыкалась с честолюбивыми замыслами. Сохранился любопытный рассказ современника, видевшего Уварова в Вене в 1808 году. На вопрос о том, как он понимает счастье, Уваров в порыве юношеского восторга будто бы ответил, что это служба в качестве министра народного просвещения<sup>6</sup>.

В 1810 году Уваров написал свою первую значительную работу — «Проект азиатской Академии», где выдвинул идею создания под скипетром русского монарха особого научного учреждения для углубленного изучения Востока, необходимого как для развития европейской науки, так и в политических интересах России<sup>7</sup>. Проект принес Уварову желаемую известность и вес. Сам И.-В. Гете отозвался о нем с восторгом: «Ваши намерения направлены на то самое, к чему я давно и тщетно обращал свои усилия»<sup>8</sup>. На Уварова обратил внимание министр народного просвещения граф Алексей Разумовский, брат его бывшего начальника — посла в Вене Андрея Разумовского. В 1811 году Уваров женился на дочери министра Екатерине Алексеевне и через некоторое время сделался попечителем Петербургского учебного округа.

Уже тогда Уваров был очень невысокого мнения об образовании аристократической молодежи своего поколения. Впоследствии, он называл его «довольно поверхностным», говорил не стесняясь, что оно было «более блестящее по внешности, нежели основательное по глубине»<sup>9</sup>. Двадцатичетырехлетний статский генерал, невзирая на свое столь видное служебное положение, семь или восемь лет посвятил углубленному изучению древних языков под руководством видного филолога-классика академика Ф. Б. Грефе, с которым специально сдружился для этой цели. Позже, занявшиись исследованиями в области греко-римской филологии и истории, Уваров приобрел в европейской научной среде репутацию «одного из самых острых умов, существующих в цивилизованном мире»<sup>10</sup>. В 1816 году за «Опыт об элевсинских таинствах» его избрал своим почетным членом Институт Франции – первая в то время ученая корпорация Европы, где иностранных почетных членов было тогда не более восьми человек. Всего же в семейном архиве Уваровых сохранилось более сотни всевозможных дипломов, свидетельств, патентов, грамот от различных академий, научных обществ и организаций стран всего мира, признавших Сергея Семеновича своим почетным членом. «... Уваров... имя его столь известно в Европе...» – писал баварский посланник в России в николаевское время О. де Брэ<sup>11</sup>. С 1818 года и почти до конца жизни Уваров возглавлял Императорскую Академию наук в Санкт-Петербурге. «... в другом отношении к свету, – вспоминал ректор Петербургского университета академик П.А. Плетнев, – при других обстоятельствах жизни и службы, он действительно мог бы посвятить всего себя занятиям собственно ученого человека...»<sup>12</sup>

Придворные связи вполне обеспечивали Уварову блестящую карьеру, не требуя от него напряжения всех талантов. Но исключительное честолюбие будило в нем не только чрезмерное тщеславие, но также инициативу, решительность и целеустремленность государственного деятеля. Он преобразовал Главный педагогический институт в Санкт-Петербургский университет, учредил в нем преподавание восточных языков и литератур, реформировал учебные планы гимназий и уездных училищ – что было распространено на все учебные округа Империи, – предпринял организацию при университете особого

института по подготовке учителей для учебных заведений низшей ступени. В публичных выступлениях Уварова, сопряженных с пространными историко-философскими рассуждениями, запечатлели себя общемировоззренческие мотивы, ложившиеся в основу его деятельности этого периода.

Важнейшим орудием просвещения народа, необходимым для совершенствования как отдельного гражданина, так и всего общества, Уваров считал историю: «В народном образовании преподавание Истории есть дело государственное... История... образует граждан умеющих чтить обязанности и права свои, судей знающих цену правосудия, воинов умирающих за Отечество, опытных вельмож, добрых и твердых царей». Из современной ему западной религиозной философии Уваров усвоил понимание истории как процесса борьбы человечества за постепенное воплощение идей Христианства. Поэтому он полагал, что «представляя общую картину Истории во всем ее пространстве», правильно ее преподающий должен проливать «на сей огромный хаос благодетельный луч Религии и Философии. С сими двумя светилами может человеческий ум найти везде успокоение, и достигнуть до той степени убеждения, на котором человек почтает сию жизнь переходом к другому, совершеннейшему бытию»<sup>13</sup>. От немецких романтиков Уваров усвоил органическое понимание жизни народов и государств: «Государства имеют свои эпохи возрождения, свое младенчество, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость»<sup>14</sup>. Поскольку эти самые государства не есть механический конгломерат неких элементов, целенаправленное преобразование каждого такого организма должно происходить в строгом соответствии с познанными законами его исторического роста. Тиранический произвол, идущий ли сверху, или снизу приведет к культурной катастрофе. Всякий процветающий народ или государство на всех этапах своего развития сохраняет свое неповторимое культурное лицо — «народный дух» — реальное воплощение органического единства. В новой европейской истории обнаружились некие стремления, представившие для него опасность: «Новое образование системы Европейских государств дало новый вид всем сношениям народов. Сии отношения стали многочисленнее и труднее. Быстрый ход наук и художеств, сильное распространение роскоши

и общежития, направление к торговле сблизили между собой все Государства Европы. Сей порядок вещей, искоренив мало по малу почти в каждом Государстве народный дух, готовил медленную пагубу Европе»<sup>15</sup>. Грязнула Французская революция, принесшая «столько бесполезных преступлений и бедствий». Волею Провидения монархии в конце концов были восстановлены, что свидетельствует о незыблемости «права царей», народы же, отстоявшие свои освященные преданиями истории престолы, должны быть справедливо вознаграждены в своих лучших стремлениях. Поэтому государи и их поданные должны теперь принести «взаимную жертву самовластия и безназначения» – рассуждения Уварова в данном случае шли в полном соответствии с общеевропейской идеологией легитимизма<sup>16</sup>. В отличие от Европы, в России «народный дух» еще достаточно прочен. Наставнику русского юношества, преподающему историю, «должно возбуждать и сохранять сколько можно народный дух и тот изящный характер, на который ныне Европа смотрит как изможденный старец на бодрость и силу цветущего юноши... Он в сем отношении делается прямо орудием Правительства, и исполнителем его высоких намерений»<sup>17</sup>. Под сенью скипетров христианских государей народы постепенно просвещаются, наращивают общественную добродетель, стремятся достичь «истинного просвещения», которое есть не что иное, как «точное познание наших прав и обязанностей, т. е. обязанностей человека и гражданина». Уже теперь в Европе «права человеческие всеми признаны», «права гражданские везде определены». Конечная, по Уварову, цель развития человеческого разума – познание политической свободы. Но в целом из печатных выступлений попечителя столичного округа остается очень и очень неясно: как же именно в России Уваров был намерен соединить достижение чаемой политической свободы с сохранением в целости не менее драгоценного «народного духа»?

Политическую свободу в своей знаменитой речи 22 марта 1818 года в торжественном собрании Главного педагогического института Уваров назвал «последним и прекраснейшим даром Бога». Путь к ней тернист: «Сколько неудачных опытов прежде английской конституции!» Но все же свет разума побеждает хаос. «Все сии великие истины содержатся в исто-

рии. Она верховное судилище народов и царей. Горе тем, кто не наследуют ее наставлениям! — воскликнул Уваров, — Дух времени, подобно грозному сфинксу, пожирает непостигающих смысл его прорицаний.»<sup>18</sup> Уваров определил Россию как «младшего сына в многочисленном европейском семействе», ибо «мы, по примеру Европы, начинаем помышлять о свободных понятиях».

Это был восторженный отклик на благие намерения императора Александра I. На подвластных ему землях бывшего наполеоновского герцогства Варшавского царь возродил Польшу со всеми атрибутами государственности, за исключением лишь права внешних сношений. Участие польской армии в походе Наполеона на Россию, в разорении Москвы, измена дворянства Западного края великодушным жестом были преданы забвению. Российский самодержец добровольно сделал себя конституционным монархом польским. И теперь, открывая 15 марта 1818 года первый новоучрежденный польский сейм, во всеуслышание объявил, что давно помышлял и ныне уж намерен распространить систему «свободных учреждений» на всю Российскую империю, но, правда, лишь тогда, «как только начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости»<sup>19</sup>. Попечитель Петербургского учебного округа подхватывал, развивал тенденцию, исходившую от императора. Размышая над столь заманчивой перспективой, Уваров полагая, что в «жизни народов, как и в жизни частного человека, свобода гражданская и политическая походят на ту драгоценную одежду, в которую римляне облекались, переходя от бурных лет неопытности к летам зрелости и совершенного возраста». Россия же еще слишком молода, ей предстоит длительное созревание, ибо «освобождение души через просвещение должно предшествовать освобождению тела через законодательство»<sup>20</sup>.

Будучи в числе основного круга участников знаменитого литературного общества «Арзамас», С. С. Уваров вместе с Д. Н. Блудовым, Д. В. Дашковым, В. А. Жуковским постарался отклонить пожелания Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова, П. А. Вяземского придать обществу отчетливо-политический характер, ограничясь лишь разговорами на политические темы. В понимании Уварова, добиться политической гармонии поми-

мо или вопреки высшей власти было невозможно. Пока надлежащая степень просвещения еще не была достигнута, он полностью исходил из исторически сложившегося положения вещей, например, из факта существования в России сословного строя. Трехступенчатая система образования, над устроением которой он трудился, по характеру учебных программ должна была соответствовать российской сословной иерархии. Но тем не менее его преобразовательные опыты были прерваны острым конфликтом с новым главой ведомства народного просвещения – князем А. Н. Голицыным. Не питая никаких симпатий к новомодному мистицизму, Уваров при всем своем отрицательном отношении к идеологии Просвещения не мог не воспротивиться обскурантской направленности действий нового Министерства, особенно Д. П. Рунича и М. Л. Магницкого. Уваров еще согласился с запрещением книги профессора А. П. Куницына «Право естественное». «Я всегда думал и ныне думаю, – писал он в своем «Особом мнении», – что всякое учение, всякое действие, явное или скрытое, противное догматам Православной Греко-Российской Церкви, или клонящееся поколебать существующий порядок и ослабить любовь и доверенность к Трону... должны обращать на себя внимание правительства и внушать ему меры предосторожности...»<sup>21</sup> Но вместе с тем Уваров просил для Куницына снисхождения и сохранения профессорского звания. Попечитель открыто выступил в Главном правлении училищ против требования Магницкого закрыть Казанский университет. Когда по обвинению в преподавании «богохульственных и пагубных доктрин» профессора Петербургского университета предстали перед судом, Уваров в крайне резкой форме потребовал суда над ним самим, если виновность подсудимых будет доказана. В июле 1821 года в знак протеста он подал в отставку с поста попечителя Петербургского учебного округа и перешел в Министерство финансов, возглавив Департамент мануфактур и торговли; через некоторое время сделался сенатором. Во время столкновений с «мистической партией» у Уварова завязались личные отношения с будущим императором Николаем Павловичем.

В воспоминаниях, написанных Уваровым за три года до смерти, сохранился заметный отпечаток душевных потрясений, пережитых им в 1825–1830/31 годах. «Священные права

царей» вновь стали ниспровергаться. Носители революционных принципов 1789 года возобновили свою разрушительную работу «от одного конца Европы до другого, не взирая на историю и особенности жизни народов...»<sup>22</sup> За окончательным падением Бурбонов во Франции последовала ожесточенная и кровопролитная война с польскими инсургентами. Выходило так, что прав был Н. М. Карамзин, предупреждавший Александра I, хотевшего еще восстановить Польшу не более, не менее, как в границах 1772 года: «.... сыновья наши обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу!... никогда Поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками... когда же усилите их они захотят независимости, и первым опытом ее будет отпадение от России, конечно, не в Ваше царствование...»<sup>23</sup> Самым страшным теперь представлялось то, что разрушительная, эгалитарная идеология, «повсюду одна и та же, совершила вторжение и в наши дела». Если раньше поколению «дней alexандровых прекрасного начала» казалось, что по одному мановению монарха на Россию изольется море просвещения и явленная вполне естественно гражданская и политическая свобода водворит социальную гармонию, то теперь, после мятежа 14 декабря 1825 года в России и брожений в Европе либерально-конституционные надежды представлялись как опасные «illusии императора Александра». Потеря перспективы и политическая дезориентированность правительственныйных деятелей этого поколения в первые годы царствования Николая I особенно проявились в деятельности Комитета 6 декабря 1826 года. «... обсуждение административных реформ ограничивалось топтанием на месте, и всякая сколько-нибудь серьезная идея тотчас признавалась неосуществимой в условиях русской действительности... — писал историк А. А. Кизеветтер. — Сам император, отнюдь не бывший противником умеренности и осторожности в нововведениях, не раз приходил в полное недоумение перед этой игрой слов, которую комитет считал серьезным обсуждением реформ»<sup>24</sup>. Прежние представления себя скомпрометировали, а новые не сложились. Уваров не входил в Комитет и, очевидно, слабо представлял себе его деятельность, но теперь прежнее политическое мышление вызывало у него характерную реакцию: «... старая школа, тогда руководившая делами, не нашла

ничего лучше, как выдвинуть свои старые апофегмы вплоть до того, что вновь серьезно принялась обсуждать вопрос об освобождении крепостных даже в тот момент, когда польский мятеж угрожал спокойствию, и, может быть, даже существованию Империи»<sup>25</sup>.

Крушение политических надежд повлекло за собою и серьезную самопереоценку. Смысл ее во многом поясняет то, как воспринимало различие между образованной общественностьюalexандровского времени и собой поколение, получившее образование примерно в 1840-е годы, вступившее в период своей полной жизненной зрелости к началу эпохи Великих реформ. Так, профессор Московского университета С. М. Соловьев, оглядываясь на политические настроения и идеалы четвертьвековой с лишним давности, писал: «Крайне небольшое число образованных, и то большей частью поверхностно, с постоянным обращением внимания на Запад, на чужое; все сочувствие – туда, к Западу... у себя в России нет ничего, где бы можно было действовать тою действительностью, которую привыкли видеть на Западе... Отсюда же этим образованным, мыслящим людям Россия представлялась «*tabulam rasam*»\*, на которой можно было начертать все, что угодно... дело... наших декабристов было произведением незрелости русского общества»<sup>26</sup>. Соловьев мог бы и не обнаружить своего законного превосходства в понимании исторических судеб России и Запада, если бы иные представители того самого, незрелого поколения не почувствовали в определенный момент свою незрелость. Одним из них был С. С. Уваров. По его логике, если люди 14 декабря ради торжества «европейских понятий» проявили готовность совершить насилие над органическим ходом русской жизни, то они оказались чужды «народного духа». Не постигая его, они волею или неволею взялись за его разрушение. Но почему – следует тогда спросить – произошло отчуждение? Для многих из высшего русского общества, приобщенного к самым изысканным и соблазнительным плодам европейской культуры, ответ на этот вопрос во второй половине 20-х – начале 30-х годов напрашивался сам собой: «Россия

\* Чистой доской – лат.

еще слишком мало известна Русским» (А. С. Пушкин). Совсем еще недавно «Колумб русской истории» Н. М. Карамзин приоткрыл прошлое России ее образованному слою. «Его историю ни с какой сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, то есть она излилась из материалов и источников, совершенно особенный, национальный характер имеющих... — писал современник. — Мы узнаем, чем мы были, как переходили до настоящего *status quo* и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям...»<sup>27</sup> Это было тем более важно, что пагубные последствия «вестернизации» оказывались уже столь очевидны, что попадали в поле зрения и наблюдательных иностранцев. Один из наиболее вдумчивых современников А. фон Гакстгаузен, имея в виду посленаполеоновские времена, писал: «В России все больше и больше стал распространяться тот внешний лоск, то полуобразование, которое слишком ничтожно, чтобы двигать вперед цивилизацию, однако совершенно достаточно, чтобы исказить все честное и национальное в человеке и породить недовольство народной жизнью и ненависть к ней»<sup>28</sup>. Характерно, что Уваров, удалившись на время от дел народного просвещения, предпринимал тогда же, в 1820-е годы, длительные поездки по России. «Те 5 или 6 лет, которые я таким образом провел, — писал он в воспоминаниях, — мне доставили, осмелиюсь сказать точное и глубокое знание моей страны, которого без этого средства я никогда не смог бы достичь»<sup>29</sup>.

С воцарением Николая I Уваров вновь принял участие в делах, связанных с народным образованием, укрепляя свой авторитет. Он заседал в составе Комитета об устройстве учебных заведений. Как уже говорилось выше, вместе с Д. В. Дашковым добился пересмотра цензурного устава А. С. Шишкова. «... Я, без сомнения, находился в списке тех, на ком предполагалось основать новое управление Империей», — писал Уваров. Его назначению главой ведомства народного просвещения предшествовал доверительный вопрос императора, сделанный через начальника III Отделения графа А. Х. Бенкендорфа: желает ли Уваров принять Министерство? По поводу будущего России последний не питал радужных надежд и не скрыл этого от Николая I. На вопрос Уварова «Не слишком ли поздно?» император ответил: «Я убедился, что вы — единствен-

ное возможное орудие, которому я могу доверить эту попытку, и которая будет последней... Это вопрос совести, — добавил он, — посоветуйтесь со своею и рассчитывайте на меня»<sup>30</sup>. Через два-три месяца Уваров был назначен товарищем министра князя К. А. Ливена, по отставке последнего стал управляющим Министерством, в 1834 году был утвержден официально министром народного просвещения.

Пессимизм, выказанный наедине с императором, отнюдь не был наигранным. В близком кругу доверенных сотрудников министр высказывался с не меньшей тревогой: «Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система... Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно»<sup>31</sup>.

Лозунгом своей министерской деятельности Уваров сделал ставшую знаменитой формулу «Православие, Самодержавие, Народность», перифразировав, по сути, старинный военный девиз «За Веру, Царя и Отечество!» До последнего времени историки, размышляя над этой формулой, судили о замысле Уварова применительно к конкретной политике вверенного ему Министерства и всего правительства, главным образом, на основании двух опубликованных текстов из-под его пера, довольно небольших по объему и скучных по содержанию — отчет о ревизии Московского учебного округа 1832 года и юбилейный доклад «Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843». В моем распоряжении еще один текст, на который ссылался сам министр в юбилейном докладе, текст, где Уваров высказался, как представляется, наиболее отчетливо, — все-подданнейший доклад управляющего Министерством народного просвещения от 19 ноября 1833 года.

Несмотря на сильное увлечение русских образованных слоев европейскими идеями, разрушающими традиционные общества, еще сохраняется возможность удержать Россию от губительного скольжения по наклонной общественных ката-

стrophic и кровавых междоусобиц, благодаря некоторым спасительным началам, искони ей присущим. «Успеем ли мы, — вопрошал Уваров, — включить их в систему общего образования, которая соединяла бы выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего? Как учредить у нас народное воспитание, соответствующее нашему порядку вещей и не чуждое Европейского духа? По какому правилу следует действовать и в отношении к Европейскому просвещению, к Европейским идеям, без коих мы не можем уже обойтись, но которые без искусного обуздания грозят нам неминуемой гибелью?» Православная вера — для России первое и основное. С ее ослаблением творческие силы народа обречены на угасание, вся отечественная культура рано или поздно выдохнется. «Без любви к Вере предков, народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце. — Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предназначении». Самодержавие является оптимальной формой нашего государственного бытия, «представляет главное условие политического существования России». Любое, даже малозаметное, пополнование к его формальному, то есть институциональному ограничению неминуемо повлечет снижение могущества, ослабление внутреннего мира и спокойствия страны. «Русский колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию потрясает весь состав Государственный. Эту истину чувствуют неисчислимое большинство между Русскими; они чувствуют оную в полной мере, хотя поставлены между собой на разных степенях и различают в просвещении и в образе мыслей, и в отношениях к Правительству. Эта истина должна присутствовать и развиваться в народном воспитании». Понятие «народность» осталось достаточно неопределенным. Очевидно, Уваров не стремился точно очертить его границы. Это должны были сделать своей жизнью и трудами конкретные представители отечественной образованности. Здесь «все затруднение заключается в соглашении древних и новых понятий... Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не

должна. Безумно было бы противится сему периодическому ходу вещей...» С другой же стороны, нелепо, забыв самих себя, бросаться в погоню за «мечтательными призраками» — фетишами иноземной культуры, — «следя коим, нетрудно... наконец утратить все остатки Народности не достигнувши мнимой цели Европейского образования».

Итак, основная мысль Уварова ясна — для того чтобы неизбежные с течением времени перемены не вызвали опасных смут, необходимо утвердить в новом поколении европейски образованных русских людей неразрывную связь национального самосознания с Православной верой и чувством верноподданнического долга перед царем-самодержцем. Но какими конкретными способами это осуществить? Какие именно перемены в российском национально-государственном организме и какие именно общественные идеи являются лишь «возрастными изменениями», а какие — признаками разложения и распада? Точного ответа Уваров не дает, отговариваясь тем, что «разбор всех сих отдельных частей повлек бы за собою обширное изложение, и мог бы легко обратить сию краткую записку в пространную книгу»<sup>32</sup>. Возможно, что и находившиеся в распоряжении средства оставляли место сомнению в конечном успехе.

По своему душевному складу Уваров оставался человекомalexандровской эпохи. Того времени, которое одним из наиболее тонких историков русской мысли — Г. В. Флоровским — определялось как «вряд ли не самая высшая точка русского западничества... когда и самая душа точно отходит в принадлежность Европе... становится в это время Эоловой арфой», той эпохи, когда как будто бы состоялось «пробуждение сердца», но еще не «пробуждение мысли»<sup>33</sup>. В душевном складе образованных людей того времени обычно художественная восприимчивость как-то превалировала над дискурсивным мышлением; было, так сказать, больше поэзии и воображения, чем дисциплины интеллекта. У Уварова мы не найдем живой мыслительной связи с православной святоотеческой традицией; с ней он если и был знаком, то более чем поверхностно. По мировоззрению он скорее оставался европейским консерватором-романтиком. Ему были близки Ф.-Р. Шатобриан, братья Шлегели, Ф. фон Баадер, отчасти, возможно, А. фон Гакстгау-

зен. В нем, как в государственном деятеле, воля и характер сочетались с устойчивым пессимизмом: «Дано ли нам, — читаем в докладе, — посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений окружающих нас со всех сторон укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? — Разум, испуганный при виде обломков прошедшего, падающих вокруг нас, и не прозревая будущего сквозь мрачную завесу событий, невольно предается унынию и колеблется в своих заключениях»<sup>34</sup>. Весьма характерно, что в черновом наброске на французском языке доклада 19 ноября он вместо «Православие» написал «Народная вера» (*«Religion nationale»*)<sup>35</sup>. Представляется, что это свойственное романтическому восприятию отсутствие четких разграничений между порядками явлений, четкого построения и соблюдения иерархии ценностей, что и объясняет некоторую туманность его рассуждений о задачах Министерства.

Но, будучи по своей интеллектуальной культуре глубоко западным человеком, Уваров теперь это отлично осознавал и тем сильнее желал, чтобы будущее поколение, оставаясь на европейском уровне образованности, «лучше знало Русское и по-Русски». Во время ревизии Московского учебного округа в 1832 году он обсуждал в университете с профессорами идею издания историко-литературного журнала «чтобы внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей отечественной, обратив больше внимания на узнание нашей народности во всех ее различных видах»<sup>36</sup>. Подобная тяга к культурно-творческой самостоятельности по отношению к Европе обнаруживается и в известной записке А. С. Пушкина «О народном образовании» 1830 года, приготовленной для императора: «Россия еще слишком мало известна Русским, сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет *преимущественно* (курсив мой. — М.Ш.) занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою...»<sup>37</sup> Кроме того, по-видимому, у Уварова было смутное желание придать будущей русской образованности какую-то иную, незападную культурную перспективу. «Стараясь привлечь к изучению гре-

ческого языка и словесности, Министерство руководствовалось... убеждением... и в необходимости основать новейшее русское образование тверже и глубже в древней образованности той нации, от которой Россия получила и святое учение Веры и первые начатки своего просвещения», — говорилось в отчете о десятилетнем управлении Министерством<sup>38</sup>.

Назначение Уварова главой ведомства народного просвещения вызвало самый благоприятный отклик в европейском научном мире. «Вы очевидно угадали, — писал ему в 1833 году А. фон Гумбольдт, — сколько надежд на достижения науки и человеческого разума должны связаться в нашем представлении с известием о назначении Вас министром народного просвещения»<sup>39</sup>. Но серьезное изменение в уваровском понимании целей народного просвещения в России не осталось незамеченным иностранными политическими наблюдателями. «... Уваров сделался горячим поклонником узкого славянофильства. Это тем более удивительно, что этот министр большой поклонник иностранной литературы и с успехом печатал свои статьи в немецких и французских журналах, но по-русски писал очень мало», — отмечал баварский посланник О. де Брэ<sup>40</sup>. Сам Уваров к широкой европейской публике относился не без иронии. По поводу одной своей, по собственному выражению «безделки», опубликованной во Франции, он как-то раз писал М. П. Погодину: «Успех этой статьи в Париже доказывает, что Французы все тот же народ, о котором Юлий Цезарь писал, что он ветрен и легкомыслен»<sup>41</sup>. Едва ли не более, чем научным авторитетом в Европе, Уваров дорожил доверием императора Николая I и своим весом в русской придворно-бюрократической среде.

Сохраняя стремление дать «перевес отечественному воспитанию над иноземным», Уваров старался снизить значение частных училищ. По его инициативе в 1833 году было принято постановление «О мерах против умножения пансионов и частных учебных заведений». Открытие новых таких пансионов в Петербурге и в Москве приостанавливалось, в других городах дозволялось в виде исключения и только с разрешения министра. Содержателем и преподавателем частных заведений отныне мог быть только русский подданный. В следующем году было введено положение о взыскании штрафов с преподавателей,

не имевших специально оформленного разрешения от училищных начальств. В 1835 году для наблюдения за частными училищами была создана особая инспекция. В 1830-е годы известная озабоченность уровнем образования детей получила заметное распространение среди провинциального дворянства. «... В помещичьих семействах средней руки... в каждом из этих семейств, — воспоминал помещик Тверской губернии, воспитанник Московского благородного пансиона Г. Ф. Головачев, — вы могли тогда уже найти учителей, учительниц, гувернеров и гувернанток, разумеется, иностранцев, большей частью знавших только свой родной язык, что не мешало им принимать на себя преподавание всевозможных предметов. Найти хорошего учителя или учительницу было тогда очень трудно, ибо контингент педагогов наших отечественных был крайне ограничен, и если случайно попадался порядочный учитель, то сколько-нибудь дельная русская учительница была явлением слишком редким, а потому ей и предпочитались всегда иностранки, особенно Француженка, которая при одинаковой степени понятий могла по крайней мере научить своему родному языку, а возможность блеснуть французским языком перед соседями значительно входила в соображение помещика при выборе наставников и наставниц для детей»<sup>42</sup>. Знакомая Уварову ситуация с воспитанием отпрысков столичной аристократии начала века повторялась теперь с детьми провинциальных помещиков. Чтобы постепенно поправить дело в 1834 году было принято «Положение о домашних наставниках и учителях», согласно которому последние впредь считались состоящими на действительной службе по ведомству народного просвещения и, следовательно, ему подотчетными и подконтрольными.

Созданные в 1826 году пансионы для детей дворян и чиновников при гимназиях не снискали себе авторитета у высшего сословия. В 1832 году, вернувшись из Москвы, изучивший дворянские настроения Уваров ходатайствовал перед императором о создании особых благородных пансионов как сословных средних учебных заведений, которые бы полностью содержались на средства самого дворянства. Предложение было принято. В том же году открылось 6 таких пансионов. В дальнейшем число их с каждым годом стало расти. В 1835 году было

уже 25 благородных пансионов, в 1838 году – 36, в 1842 году их насчитывалось уже 42. Лишь с конца 40-х годов дворянское рвение к учреждению пансионов ослабло: с 1849-го аж по 1863 год открылось всего только 4 новых<sup>43</sup>. «... Помещение в гимназию... – вспоминал Головачев, – было тогда исключением, и дворяне избегали его как заведения куда допускались дети всех сословий, следовательно как общества неприличного будто бы для молодых дворян. Это самое смешение сословий заставляло их неблагоприятно смотреть и на университет; военная служба путем юнкерства считалась для дворянина более нормальною карьерой чем гимназии или университеты; уважались только заведения исключительно основанные для благородных детей»<sup>44</sup>. Тем не менее среди гимназистов дети дворян и чиновников абсолютно преобладали: в 1833 году их численность составляла 78,9 % от общего числа учащихся, в 1843 – 78,7 %<sup>45</sup>. Старания Уварова привлечь первенствующее сословие в высшие учебные заведения увенчивались меньшим успехом. Среди студентов дети дворян и чиновников составляли в 1836 году 67 % от общей численности, в 1844 году – 61,7 %. Сравнительно большая демократичность состава студентов показывает, что рост государственной потребности в образованных людях по-прежнему опережал рост престижа образованности у высшего сословия.

За шестнадцать или семнадцать лет своей министерской деятельности Уваров завершил формирование учебных программ на основе классического образования, создал централизованную систему управления учебными округами с ограниченной университетской автономией, ввел обязательные заграничные стажировки за казенный счет для выпускников, предназначенных к преподаванию в высших учебных заведениях. Профессорские кафедры заняло общим числом 113 молодых ученых, прошедших зарубежную стажировку. После принятия университетского устава 1835 года в два с половиной раза выросло жалование профессорско-преподавательскому составу. При этом количество профессоров в университетах увеличилось в среднем на треть<sup>46</sup>. Русским профессорам и преподавателям не дано было права заниматься дисциплинарными и финансовыми вопросами своих университетов, но они могли строить свою профессиональную деятельность и готов-

вить собственные научные кадры для России, ориентируясь на самый высокий европейский академический стандарт. Росту уровня преподавания в высших учебных заведениях способствовала и деятельность Академии наук. «Только с назначением президентом Сергея Семеновича Уварова Академия наук окончательно вошла в рамки государственных учреждений России и получила в них то высокое положение «первенствующего ученого сословия», которое являлось для нее идеалом и необходимостью... — писал В. И. Вернадский. — Счастливым случаем было в истории Академии, что Уваров... неизменно оставался в ней до нового царствования — до эпохи Великих реформ... Состояния, в котором он нашел Академию в 1818 г. и в каком она была в 1849 г. были несравнимы, и в этом огромном росте Академии роль Уварова была первостепенной. Отнюдь не преувеличением и не искажением истины в официальных юбилейных речах и некрологах были те указания, какие делались в заседаниях Академии наук в 1843 г., в 25-летие его президентства, и в 1855 г. в поминание его после смерти. Президентство Уварова действительно составило эпоху в истории Академии...»<sup>47</sup> Одним из достижений было осуществление масштабной исследовательской программы в области русской истории и языкоznания.

Заботы Уварова об университетах имели еще одну далеко идущую цель — создать возможность притока на государственную службу кадров с наилучшей из возможного общей подготовкой. Он старался «возвысить университетское учение до рациональной формы», «поставив его на степень, доступную лишь труду долговременному и постоянному», дабы «воздвигнуть благоразумную преграду *преждевременному вступлению в службу молодежи еще незрелой*» (курсив мой. — М. Ш.)<sup>48</sup>. Но успех в качественном обновлении правительенного аппарата зависел уже не от одного Министерства народного просвещения, ибо вопрос этот слишком далеко выходил за рамки его компетенции. Дело заключалось в проблеме величины и характера устанавливаемых законом преимуществ по службе для лиц с образованием, — а до единомыслия в этом вопросе верхам было далеко. В стенах правительенных канцелярий очень многие отрицали, например, целесообразность деления чиновников на разряды по уровню образования, введенного в

1834 году. Преимущества образованных чиновников в скорости производства казались чрезмерными и несправедливыми. Министерство народного просвещения, опасаясь за слишком медленно растущий престиж своих учебных заведений, дожило всеми привилегиями их выпускников, чутко реагируя на всякое пополнение к их умалению. Так, в 1837 году был издан указ, обязывающий дворян и тех, кто по образованию имел право на классный чин, в начале карьеры прослужить три года «в местах губернских или им равных в столицах или вне оных». В числе исключений были лица, имевшие право на 8 и 9 класс<sup>49</sup>. Это могли быть выпускники с отличием Царскосельского лицея, Училища правоведения, магистры и доктора наук. Первоначально в Комитете министров, где обсуждался проект указа, было предположение, что изъятие из него будет для всех выпускников обоих аристократических училищ. Министр С. С. Уваров обратился к императору с возражениями: «... если все ограничения и обязанности нового Узаконения должны исключительно падать из Высших Учебных Заведений на одни Университеты то можно опасаться что *прилив* в оные молодых людей особенно высших сословий, с таким трудом устроенный (курсив мой – М. Ш.), впредь мог бы прекратиться...» Николай I поддержал ministra. Правда, выпускников двух особых заведений с правом на 8-й и 9-й класс было предписано брать в избираемые ими ведомства даже без открытия вакансий<sup>50</sup>.

Уваров не упускал случая осторожно дать почувствовать своим коллегам из высших бюрократических сфер значение новых достижений науки и образования для правительенной политики. Известно, что он с успехом приглашал членов Государственного совета генерал-адъютантов князя И. В. Васильчикова и графа В. В. Левашова в учебные аудитории Петербургского университета к профессору русской истории Н. Г. Устрялову. В году, приблизительно, 1836-м Уваров приглашал к себе Устрялова для прочтения отдельных лекций своего курса в присутствии графа Н. А. Протасова, переходившего тогда с должности товарища министра народного просвещения на пост обер-прокурора Святейшего синода. «Оба они делали замечания, – вспоминал Устрялов, – но вообще были в восторге, особенно граф Протасов; для него очень важно было тогда Литовское княжество по политическим соображениям;

дело представлялось как-то смутно. Теперь же все стало ясно»<sup>51</sup>. Впереди было, осуществленное в 1839 году воссоединение униатов Западного края с Православной Церковью.

Вместе с тем Уваров склонен был ограничивать свободу научного изучения остроактуальных исторических тем. В 1842 году Н. И. Костомаров подготовил к защите и, как тогда требовали правила, опубликовал магистерскую диссертацию «О причинах и характере унии в Западной России». С соискателем пожелал познакомиться епископ Харьковский Иннокентий (Борисов). Ряд суждений диссертанта показался иерарху недостаточно взвешенным или неверным. По рассказу Костомарова, Преосвященный указал ему место, «где о споре Константинопольского патриарха с папою было сказано, что властолюбие иерархов посеяло вражду и раздвоение в миролюбивой Церкви Христовой». Вызвало возражение утверждение историка о «безнравственности духовенства в Западной Руси перед унией, о тяжелых поборах, которые брал с русских Константинопольский патриарх» и заключение о том, что «уния принесла отрицательную пользу Православию». Произошел научный спор. Диссертация, по-видимому, могла дать материал для антиправославной полемики, ведшейся на Западе. «Иннокентий, увидевши меня потом в церкви, — вспоминал Костомаров, — пригласил к себе и начал толковать снова, советуя мне после защиты диссертации ехать в Петербург и посвятить свои труды на более дальную и ученую разработку вопроса об унии»<sup>52</sup>. Епископ предложил руководству учебного округа отложить защиту для предварительного оповещения министра. Уваров же поручил экспертный разбор диссертации Н. Г. Устрялову. Отзыв уважаемого Уваровым эксперта был категоричен и резко отрицателен. Доверившись заключению, министр распорядился отменить защиту, уничтожить весь тираж диссертации, а Костомарову предложить выбрать другую тему для работы. Новую диссертацию историк успешно защитил в 1844 году.

В 1846 году был учрежден из всех товарищей министров Комитет по пересмотру Устава о службе гражданской. Конечной целью император поставил ему «уничтожение гражданских чинов»<sup>53</sup>. Уваров отреагировал на это запиской 7 ноября 1848 года «О системе чинов в России», где утверждал, что по-

следняя если и устарела по форме, то по своему главному принципу никак не является анахронизмом. Министр доказывал, что в руках правительства система чинов есть исключительное по своему значению средство воспитания в народе духа служения Государству, ее уничтожение неминуемо повлечет моральную деградацию чиновничества, а значит, и катастрофическое снижение дееспособности государственного аппарата: «Мысль общая за полвека, что каждый Русский подданный *должен служить Престолу*, мысль, которая благоговейно руководит целыми поколениями, с уничтожением Табели о рангах несомненно ослабеет... образуется новый разряд людей... менее привязанных к Правительству, а более занятых своими выгодами... людей без прошедшего и будущего... совершенно похожих на класс *пролетариев*, единственных в России представителей неизлечимой язвы нынешнего европейского образования»<sup>54</sup>. В итоге работа Комитета фактически приостановилась, но предположение об уничтожении деления чиновников на разряды по уровню образования было сформулировано и получило некоторый ход.

Есть все основания полагать, что Уваров отдавал себе отчет в том, что развивающаяся общественная мысль требует печатного выражения, что можно принудить общественное мнение к печатному безмолвию, но нельзя остановить рост его значения. Еще будучи попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, он полагал, что администрации надо как-то сотрудничать с представителями «пишущего класса», предлагал цензорам следить, чтобы «журналы, писавшие в 1812 году, иначе бы писали в 1815 году, и мало-помалу согласовывались бы с намерениями правительства, следя таким образом общему стремлению к новому и прочному порядку вещей»<sup>55</sup>.

Теперь, став министром при Николае I, Уваров брался охранять существующий «порядок вещей». А для этого следовало немедленно пресечь проникновение в печать каких-либо отголосков общественно-политических вопросов, волновавших умы в «дни Александровы». Посещая в качестве ревизора Москву, он дал в связи с этим четкие указания цензурному комитету. «Политическая религия, — внушал Уваров, — имеет свои догматы неприкосновенные подобно христианской религии; у нас они: самодержавие и крепостное право; зачем же их

касаться, когда они, к счастию России, утверждены сильной и крепкой рукой»<sup>56</sup>. А в официальном отчете, упоминая о «дерзости» некоторых журналов, «особенно московских», категорически утверждал, что необходимо пресекать «покушения» журналистов к «важнейшим предметам государственного управления», проникновение в печать опасных, приносимых из Европы «политических понятий», при этом строго следить за рассуждениями о «предметах литературных», вообще, умножать, где только можно, число «умственных плотин»<sup>57</sup>.

Не найдя общего языка с редактором «Московского телеграфа» Н. А. Полевым, Уваров методично и настойчиво стал добиваться закрытия журнала, не скучясь на самые неблагоприятные для репутации в верхах характеристики редактору, и в 1834 году, несмотря на то, что Полевому покровительствовал шеф жандармов А. Х. Бенкendorf, министр, улучив момент — появление отрицательной рецензии на понравившуюся царю драму Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла» — добился своего: «Московский телеграф» был закрыт. В истории с запрещением издания «Телескоп» Н. И. Надеждина, другого московского журнала, главную роль сыграло III Отделение. Уваров приложил к нему руку, подав докладную записку, где, доносил, что в Москве господствует не искорененный после 14 декабря оппозиционный дух<sup>58</sup>.

Но министр понимал и недостаточность чисто репрессивных, запретительных мер. Например, в то же самое время в Петербурге он требовал от цензоров известной гибкости: «... Действуйте так, чтобы публика не имела повода думать, будто правительство угнетает просвещение»<sup>59</sup>. Цензурный устав не запрещал цензорам другие занятия. Министр привлекал в цензурные комитеты ученых и литераторов, но туда шли неохотно. «... Возиться в навозной куче не для того, чтобы отыскать бриллиант, а для того, чтобы выудить, что больше всего в ней воняет», — так отзывался об обязанностях цензоров шеф жандармов граф А. Ф. Орлов<sup>60</sup>. Цензурный гнет в николаевское время усиливался еще и потому, что функции надзора за печатью продолжали рассредотачиваться за пределы непосредственно цензурного ведомства. Не только III Отделение, но и министерства (военное, финансовые, внутренних дел, иностранных дел, императорского двора), Почтовый департамент,

II Отделение с. е. и. в. канцелярии, некоторые временные учреждения могли вмешиваться в дела цензуры Министерства народного просвещения. Уварову приходилось защищать перед шефом жандармов своих цензоров от нападок. «Свидетельствуя о нас, то есть о Кутурге и мне, как о лучших цензорах и профессорах, — рассказывал А. В. Никитенко об одном таком случае, — министр заявлял, что находится ныне в большом затруднении относительно цензуры. Люди благонадежные не хотят брать на себя этой несчастной должности, и если мы с Кутургой еще остаемся в ней, то только по просьбе его, министра»<sup>61</sup>. Издатели и авторы не без оснований смотрели на цензора как на своего естественного врага. Специальные правила обязывали цензурные комитеты в случае сомнений отдавать материалы, вплоть до художественных произведений на просмотр в соответствующее ведомство. Опасаясь придирок и взысканий, цензоры старались перестраховаться. Имея в виду такое положение, попечитель Московского учебного округа, граф С. Г. Строганов в 1845 году писал Уварову: «... я заметил на опыте, что писатели наши до крайности стесняются цензуры в издании своих сочинений; тем самым нередко благонамеренные и полезные для общей образованности статьи или остаются ненапечатанными, или выходят в свет совершенно несвоевременно». Строганов предлагал поручить ему посыпать по своему усмотрению статьи на просмотр в то или иное ведомство. На отношении попечителя сохранилась помета чиновника канцелярии министерства: «Г[осподин] министр признал неудобным входить с представлением об этом деле»<sup>62</sup>. Правда, и с самим Строгановым авторам приходилось нелегко. Например, тому же Устрялову стоило труда убедить влиятельного при дворе графа, что в его курсе русской истории «нет ничего противного нашим религиозным верованиям»<sup>63</sup>.

«Журнал Министерства Народного Просвещения», начавший выходить с 1834 года под редакцией А. В. Никитенко, успехом у публики не пользовался; большую часть тиража приходилось в обязательном порядке распространять по учреждениям ведомства. Уваров пытался поощрять частноиздательскую деятельность «в духе правительства». К частным периодическим изданиям высшая власть относилась с наибольшим подозрением. С 1832 года для издания нового

журнала требовалось разрешение царя. В 1836-м было даже временно запрещено ходатайствовать об этом. Уваров сумел получить 26 декабря 1837 года разрешение для М. П. Погодина издавать «Москвитянин». Всегда настороженно относившийся к подобного рода инициативам император на докладе министра написал: «Согласен, но со строгим должностным надзором»<sup>64</sup>. «Москвитянин» был последним литературным журналом, разрешенным в Москве в царствование Николая I.

Министр рекламировал журнал в верхах, поднес его первый номер царю, о чём не замедлил сообщить редактору в официальном письме. «При сем случае прибавил я, — писал он Погодину, — желательно, чтобы это новое периодическое издание... могло некоторым образом служить образцом для русской журналистики, к сожалению столь мало соответствующей доселе собственной цели и общей пользе»<sup>65</sup>. В дальнейшем министр по мере сил старался разгонять какие-либо «тучи» над «Москвитянином». А. Х. Бенкendorфу как-то раз показались неуместными помещенные в журнале два анекдота о чиновниках, а может быть, он подумывал отыграться у Уварова за «Телеграф». «Статьи такого рода суть преступления перед правительством, коего чиновники суть органы... — заявлял он. — Этих причин... было бы вполне достаточно, чтобы воспретить г. Погодину издание «Москвитянина»». Уварову удалось замять скандал. «На этот раз я могу шум прекратить, — предупредил он издателя. — Впредь не отвечаю»<sup>66</sup>. Ожидания Уварова, что «Москвитянин» «даст направление» журналистике, так и не сбылись. Издатели М. П. Погодин, особенно, и С. П. Шевырев не сумели завладеть умами читающей публики. У Погодина часто не хватало даже такта в обращении со славянофилами — идейно наиболее, быть может, близкими ему представителями нового поколения. Кроме того, его деловые качества были не на высоте. Аудитория журнала не росла, а уменьшалась. Число подписчиков с пятисот упало в 1846 году до двухсот<sup>67</sup>.

В 1844 году Уваров рекомендовал разрешить профессору Т. Н. Грановскому издавать журнал «Московское обозрение», ссылаясь на одобрительный отзыв попечителя С. Г. Строганова. Грановский принадлежал к поколению профессоров, начавших научную и преподавательскую деятельность уже при Ува-

рове: «духа 14 декабря» министр в нем не подозревал. Николай I отказал с характерной для него резолюцией: «И без нового довольно»<sup>68</sup>.

Уверенность Уварова, что в деле контроля над печатью су-губо ограничительные меры недостаточны, подкреплялась следующим соображением. Он не мог не понимать, что мысль авторов всегда будет впереди любых инструкций цензорам, что сколько ни будут расти предписания и распоряжения по цензуре, еще более усложняя цензурные правила, повседнев-ная цензорская практика, особенно при работе с периодикой, всегда будет преподносить администрации все новые и новые непредусмотренные случаи. Поэтому судьба того или иного автора и его произведения гораздо более зависит от конкретно-го цензора, чем от писанного узаконения. Именно в таком ду-хе он еще в 1834 году напутствовал А. В. Никитенко, назначая его цензором: «Действуйте... по системе, которую вы должны постигнуть не из одного цензурного устава, но из самих обсто-ятельств и хода вещей»<sup>69</sup>. Однако в официальных докладах Ува-ров не акцентировал внимание самодержца на возникавших проблемах. Наоборот, в отчете, приуроченном к десятилетию управления Министерством, он заверил императора, что «по цензурной части не оказалось в это время никаких особенно за-мечательных случаев или затруднительных явлений (курсив мой. – М. Ш.), что «обуздав единожды твердыми мерами врож-денную строптивость периодических изданий», цензура дер-жит журналистику под бдительным надзором; «.... Уклонения периодической литературы от правильного смысла могут быть большей частью приписаны вредному влиянию тогдашних идей, извне к нам перешедших». Теперь же, уверял царя Ува-ров, «в кругу наших писателей возродилась мысль о народнос-ти даже в литературе», и «большая часть иноземных идей ли-шилась своей приманки»<sup>70</sup>.

В арсенале уваровских мер, направленных на то, чтобы придать цензуре больше гибкости, была еще одна. О ней мы уз-наем из его всеподданнейшего доклада от 24 марта 1848 года, когда уже заседал Меншиковский комитет, расследовавший промахи цензуры Министерства народного просвещения, и Уварову приходилось, защищая свои действия, оставлять ухищ-рения и говорить более прямо. В 1843 году Уваров в докладной

записке царю предложил «разделить в периодических изданиях ответственность между цензором и издателем», то есть чтобы цензоры являлись одновременно ответственными издателями того журнала, который они подвергают цензуре. «... Я соображал, — писал министр, — что люди благонамеренные, которым в точности известны требования правительства и дух, в каком должна действовать журнальная литература, будут и благонамеренными издателями повременных сочинений». Такая мера, делая более тесными контакты авторов и цензоров, объективно вела бы во многих случаях к облегчению положения журналистики. Но царю Уваров преподносил ее иначе. Он убеждал его, что желает «усилить власть цензурного начальства некоторыми временными мерами»<sup>71</sup>. Предложение министра Николай I отклонил. Тогда Уваров решился под свою ответственность ввести эту меру для двух периодических изданий. В 1846 году он разрешил А. В. Никитенко быть ответственным издателем и цензором частного литературного журнала «Современник». А через год позволил А. Н. Очкуну редактировать издаваемые при Академии наук «Санкт-Петербургские ведомости» и одновременно нести за них цензурную ответственность. Облеченные особым доверием издатели, сочувствуя литераторам, напрягали силы, стараясь не подвести главу ведомства народного просвещения и цензуры. «Хорошо помню, — свидетельствовал чиновник канцелярии министерства Н. Н. Терпигорев, — что А. В. [Никитенко] всегда выходил от ministra взволнованным от его затейливых распоряжений по цензуре, Никитенко очень тяготился цензорством и часто просил ministra уволить его от этой обязанности, но minister никак не соглашался»<sup>72</sup>.

Итак, с одной стороны, Уваров как глава цензурного ведомства активно участвовал в создании «умственных плотин», подчеркивая свое усердие перед монархом, но, с другой, понимая, что повседневный жесткий надзор за печатью может нанести ущерб авторитету правительства в глазах пусть малозаметно, но несомненно зреющего общественного мнения, старался придать цензуре больше гибкости, пользуясь той ограниченной, но вполне реальной властью, которой располагал как министр. Таким образом, если по отдельным важным позициям, касающимся народного просвещения, Уваров мог иметь и

имел в правительстве открытых противников, но при этом не терял благоволения императора, то уваровское руководство цензурой неизбежно принимало характер прикровенно-двойственный, что не могло не быть замечено рано или поздно и не повредить репутации министра в глазах по-военному прямодушного Николая Павловича. И первое, и второе облегчало интриги придворным недоброжелателям.

На рубеже 30–40-х годов положение Уварова в правительстве было достаточно прочным; на его юбилейном докладе император написал: «Читал с удовольствием». Но к концу 40-х влияние министра, по-видимому, ослабло: известно, что, примерно, к 1848 году регулярного доклада у императора он не имел уже значительное время. В высшем обществе то и дело разносился слухи о предстоящей отставке Уварова. «... Вредное влияние этого придворного льстеца на просвещение России давно восстановило против него всех людей благонамеренных...» — писал член Государственного совета барон М. А. Корф — явный недоброхот Уварова в бюрократической среде<sup>73</sup>.

В «Опыте автобиографии» министр своего государя, что называется, не помянул лихом. Наоборот, особенно подчеркнул его прямоту и твердость — качества характера Николая I, которые и самому Уварову долгое время служили опорой: «... его решительность мне гарантировала с самого начала ясное и определенное положение». Но если в 30-е годы это, по-видимому, и в самом деле обстояло так, то к концу 40-х положение Уварова на министерском посту было, действительно, куда более сложным. Не забудем свидетельство профессора Б. Н. Чичерина: «Государя он боялся как огня: один из его приближенных рассказывал мне, что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом»<sup>74</sup>.

В придворных кругах, среди более широкой публики обеих столиц громче и отчетливее слышались голоса, порицавшие современное народное образование и печать. Приблизительно в 1846–1848 годах в Москве и Петербурге ходила по рукам и читалась со вниманием записка Ф. Ф. Вигеля под названием «Европа и Азия». «Тут в куче ума и желчи, — писал М. А. Корф, — есть строки, которых справедливости никто не оспорит: «Главные источники настоящих и будущих зол для России... находятся в нынешнем университете учении, в

журнализме и в том направлении, которое дают они юношеству. Просвещение взяло себе девизом: Самодержавие, Православие, Народность. Ну, право, кажется, это — дурная шутка! Неужели преподавателям наук и писателям указано явно на сии три предмета с тем, чтобы они воздерживались говорить о первом, не слишком явно нападали на второй, за то соединенными силами старались... истреблять последний? Вот, по крайней мере, что мы не перестаем видеть около пятнадцати лет<sup>75</sup>. Те, чья судьба была профессионально связана с наукой и преподаванием в 1830–1840-е годы остро ощущали внешние трудности своего общего дела, щекотливость положения своего ведомства в его отношениях с другими ведомствами и органами правительства. Многие из университетской профессуры, особенно из столичных университетов, чиновники центрального аппарата Министерства при всех личных недостатках С. С. Уварова в целом дорожили им и не ожидали ничего хорошего от его удаления. «Как бы то ни было, если мы потеряем его, — размышлял А. В. Никитенко, — Бог знает еще, какой солдат будет командовать у нас умами и распоряжаться воспитанием граждан и идей»<sup>76</sup>.

\* \* \*

ТАКИМ ОБРАЗОМ, руководя Министерством народного просвещения, С. С. Уваров стремился низвести до минимума значение в России частного образования и, идя навстречу сословным представлениям дворянства, максимально вовлечь его в государственные учебные заведения. Это делалось в полном соответствии с настроениями императора и правительственною традицией.

Но в отличие от слишком многих представителей высшей бюрократии, Уваров четко осознавал, что рост образованности вширь и вглубь существенно меняет общественную атмосферу, что университеты, гимназии, пансионы формируют *новый кадр* граждан, формируют подданных с новыми потребностями и проблемами, которые правительство должно как-то учитывать и вносить в свою политику соответствующие корректизы. Например, преимущества при поступлении на государственную службу и в скорости производства в про-

должение службы помогут этому новому кадру выдвинуться и полнее проявить себя на благо государства, то есть обеспечивают ему серьезную общественную перспективу. Поэтому Уваров защищал во внутриправительственных столкновениях привилегии выпускников учебных заведений Министерства при принятии на службу и ее прохождении. В качестве другой перспективы образованному человеку открывалось поприще литературы (в бытовавшем тогда широком понимании этого слова). Уваров понимал, что чисто запретительные меры контроля над печатью в конечном счете малоэффективны, ибо способны создать почву для конфликтов между правительством и ученолитературной средой. В меру своей министерской самостоятельности он предпринял шаги в том направлении, чтобы цензура подходила к печати и «пишущему классу» более дифференцированно.

Этого-то социально-психологического сдвига, произшедшего в России примерно в 1840-е годы, император Николай I как раз и не осознавал.

Следовательно, Уварову оставалось одно: в вопросах общеправительственной компетенции, затрагивающих его ведомство, — благоразумный консерватизм, во внутриведомственных вопросах, особенно, в области цензуры, — лавирование между инертностью правительства и желаниями быстро обновляющейся общественности, то есть неизбежная двойственность, которая порождала недоверие у Николая I и его окружения. Цензура и печать как ни что другое были на виду у всех. «... С этой стороны, — вспоминал академик К. С. Веселовский, — министерство всегда было уязвимо...»<sup>77</sup>

Замечал ли министр нараставшее в официальных кругах отчуждение вокруг себя и своего ведомства? Вне сомнения. На всех уровнях он неустанно подчеркивал, что является простым исполнителем монаршей воли. «Истинный министр народного просвещения есть Государь Император — я его орудие...»<sup>78</sup> — подобную фразу в разных редакциях и контекстах по разным поводам слышали многие современники. Как первое, так и последнее слово в политической оценке продолжительной деятельности целого министерства оставалось за императором Николаем I.

## Примечания

- <sup>1</sup> См., напр.: Петров Ф. А. Российские университеты 40-х годов XIX века и деятели Великих реформ // П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): статьи, публикации, воспоминания о нем. М., 1998. С. 205–219.
- <sup>2</sup> [Уваров С. С.] *Essai d'autobiographie* // ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 11 об.
- <sup>3</sup> Там же. Л. 15 об.
- <sup>4</sup> Литературное наследство. Т. 33–34. М.-Л., 1939. С. 218.
- <sup>5</sup> Там же. С. 222.
- <sup>6</sup> Булгаков М. Отрывок из воспоминаний старого дипломата. М., 1858. С. 12.
- <sup>7</sup> Оуваров С. *Projet d'une Académie asiatique*. S.-Pb., 1810; Вестник Европы. 1811. № 1–2.
- <sup>8</sup> Литературное наследство. Т. 4–6. М., 1932. С. 195–196.
- <sup>9</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 15 об.
- <sup>10</sup> Marmier X. *Lettre sur la Russie, la Finlande et la Pologne*. Т. 1. Р., 1843. Р. 296.
- <sup>11</sup> Русская старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 131.
- <sup>12</sup> Плетнёв П. А. Памяти графа Сергея Семёновича Уварова. Спб., 1855. С. 76.
- <sup>13</sup> Уваров С. С. О преподавании истории относительно к народному проповеданию. СПб., 1813. С. 2, 23–24, 25.
- <sup>14</sup> Уваров С. С. Речь президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 г. СПб., 1818. С. 53.
- <sup>15</sup> Уваров С. С. О преподавании истории относительно к народному проповеданию. С. 22.
- <sup>16</sup> Уваров С. С. Император Всероссийский и Бонапарт. СПб., 1814. С. 7, 47–48.
- <sup>17</sup> Уваров С. С. О преподавании истории относительно к народному проповеданию. С. 24.
- <sup>18</sup> Уваров С. С. Речь президента... С. 25, 39, 41–42, 48, 50, 52–53.
- <sup>19</sup> Цит. по: Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 118.
- <sup>20</sup> Уваров С. С. Речь президента... С. 48.
- <sup>21</sup> Шмид Е. История средних учебных заведений в России. СПб., 1878. С. 156.
- <sup>22</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 23–25 об.
- <sup>23</sup> Каравзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Т. 1. СПб., 1862. С. 7.
- <sup>24</sup> Кизеветтер А. А. Исторические отклики. М., 1912. С. 437.
- <sup>25</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 24 об.
- <sup>26</sup> Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соч. в 18-ти кн. Кн. XVIII. М., 1995. С. 615–616.
- <sup>27</sup> Цит. по: Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 291.
- <sup>28</sup> Гакстаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. М., 1870. Т. 1. С. 72.
- <sup>29</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 18.
- <sup>30</sup> Там же. Л. 17, 20 об.–21.
- <sup>31</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 174.
- <sup>32</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 13, 14–16 об., 17; Всеподданнейший доклад 19 ноября 1833 года мною опубликован. См.: Река времен. (Книга истории и культуры.) Кн. 1.

М., 1995. С. 70–72. В том же 1833 году Уваров подготовил записку «О средствах сделать Народное Воспитание специальным, не отступая от общих видов оного». См. ее в разделе «Приложение».

<sup>33</sup> Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 128–129.

<sup>34</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 17 об.

<sup>35</sup> Там же. Ед. хр. 98. Л. 18 об. Эта черновая записка адресованная императору, датированная марта 1832 года, — текст весьма ценный для понимания политических взглядов и намерений Уварова — опубликована А. Л. Зориным. (Зорин А. Идеология «Православия – Самодержавия – Народности»: Опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С. С. Уварова Николаю I.) // Новое литературное обозрение. № 26 (1997). С. 71–104.) Но пока нет достаточных оснований утверждать, что этот документ был действительно отправлен или представлен императору. Ведь при воссоздании политической истории важно знать максимально точно, что именно санкционировал Николай I. Опубликованный мною текст всеподданнейшего доклада содержит помету «Должено Его Величеству 19 ноября 1833. Уваров». См.: примечание «32».

Кроме того, этот доклад Уваров упоминает как уже известный императору в одобренном монархом юбилейном докладе 1843 года. (См.: Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. Спб., 1864. С. 2, 4.) Никаких упоминаний о записке марта 1832 года оба доклада не содержат.

<sup>36</sup> Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. I. СПб., 1875. Стб. 517.

<sup>37</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. VII. С. 34.

<sup>38</sup> Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. С. 20.

<sup>39</sup> Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М., 1962. С. 118.

<sup>40</sup> Русская старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 131–132.

<sup>41</sup> Русский архив. 1871. № 12. Стб. 2103.

<sup>42</sup> Головачев Г./Ф./Отрывки из воспоминаний // Русский вестник. 1880. Т. 149. № 10. С. 719.

<sup>43</sup> Алешинцев И. А. История гимназического образования в России. С. 195; Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. С. 9.

<sup>44</sup> Русский вестник. 1880. Т. 149. № 10. С. 722.

<sup>45</sup> Камоско Л. В. Изменение сословного состава учащихся средней и высшей школы в России (30–80-е годы XIX в.) // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 206.

<sup>46</sup> Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России в первой половине XIX века. Автореферат диссертации на соискание уч. ст. д. и. н. М., 1999. С. 48, 54.

<sup>47</sup> Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 239–240, 242.

<sup>48</sup> Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. С. 18.

<sup>49</sup> ПСЗ. Собр. II. Т. 12. № 9894.

<sup>50</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 59 об., 66. См. полный текст документа в разделе «Приложение».

<sup>51</sup> Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XVII. № 8. С. 623, 626.

<sup>52</sup> Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989. С. 456.

<sup>53</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. Х. Л. 7 об.

<sup>54</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 39.

С. С. УВАРОВ И ЕГО ПОЛИТИКА

- Л. 260–261об. См. полный текст документа в разделе «Приложение».
- <sup>55</sup> Скабичевский А. М. Ук. соч. С. 107.
- <sup>56</sup> Ивановский А. Д. Иван Михайлович Снегирев. Биографический очерк. СПб., 1871. С. 113–115.
- <sup>57</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 4. Спб., 1881. С. 84–85.
- <sup>58</sup> Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Ук. соч. С. 180.
- <sup>59</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 130.
- <sup>60</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 178.
- <sup>61</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 130.
- <sup>62</sup> Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. Т. 114. С. 382–383.
- <sup>63</sup> Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XVII. № 8. С. 627.
- <sup>64</sup> Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. № 3. С. 590.
- <sup>65</sup> Барсуков Н. П. Ук. соч. Кн. 6. Спб., 1892. С. 22–23.
- <sup>66</sup> Там же. С. 44–45.
- <sup>67</sup> Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. С. 498.
- <sup>68</sup> Русская старина. 1903. Т. 113. № 3. С. 598.
- <sup>69</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 130.
- <sup>70</sup> Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. С. 96.
- <sup>71</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б. (Дело о рассмотрении в особом комитете действий цензуры периодических изданий.) Л. 178, 179 об.–180.
- <sup>72</sup> Исторический вестник. 1890. № 8. С. 342.
- <sup>73</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. IX. Л. 117 об.
- <sup>74</sup> Русское общество 40–50-х гг. XIX в. Часть II. Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 25.
- <sup>75</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 187 об.–188.
- <sup>76</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 265.
- <sup>77</sup> Русская старина. 1899. Т. 100. № 10. С. 10.
- <sup>78</sup> Исторический вестник. 1890. № 8. С. 341–342; Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 264.

### ГЛАВА III

## Император Николай I и ведомство народного просвещения

Уже сама укорененность выражения «николаевская эпоха» как в общественном сознании дореволюционной России, так и в целом в исторической литературе не позволяет забыть, что любое политическое начинание данного ведомства должно было в то время более, чем в позднейшие времена, укладываться в диапазон личных представлений властного самодержца о характере, значении и перспективах системы общего образования, а также и цензуры в государстве. Впрочем, как и в иных областях правительственной деятельности. Отдельно остановиться на том, как воспринимал Николай I ведомство народного просвещения, побуждают и наиболее взвешенные научные обобщения правительственных усилий тех времен: «Яркое выражение николаевской эпохи – уваровская система народного просвещения. Режим самой беспощадной опеки, эта система не только старалась заставить служить себе, но и действительно выдвинула крупные научные силы. Убивая дух общественности, николаевская школа тем не менее высоко стояла в научном отношении. Николаевское царствование не давало простора государственному творчеству широкого размаха, но оно дало немало опытных государственных дельцов, своею деловитостью не редко выгодно отличавшихся от тех, кто позднее заступил на их место, будь то прогрессивные, но слабодушные администраторы, или люди бессильных потуг на реставрацию старого режима.»<sup>1</sup>

Как известно, курс обучения, пройденный в детстве и отрочестве, не сделал из Николая Павловича серьезного ценителя современной учености и образованности, человека, который чувствовал бы себя свободно в обществе людей наук и художеств подобно тем высокосановным меценатам, которых было немало среди русской аристократии первой четверти XIX столетия, подобно своему венценосному брату-предшественнику. Преподававшие великим князьям Николаю и Михаилу общественно-гуманитарные науки авторитетные иуважаемые в свое время профессора М. А. Балугьянский, А. К. Шторх, Ф. П. Аделунг, В. Г. Кукольник, по словам компетентного современника — воспитанника Царскосельского лицея — барона М. А. Корфа, «не сумели внушить Великому Князю понятия о достоинстве своих наук, о настоящем их назначении и о том применении, которое они могут и должны иметь в обществе и государстве (курсив мой. — М. Ш.)». Тех учителей император вспоминал с иронией: «Один толковал нам на смеси всех языков, из которых не знал хорошенъко ни одного, о римских, немецких и, Бог знает, каких еще законах; другой что-то о мнимом «естественному» праве... являлся еще Шторх со своими усыпительными лекциями по политической экономии, которые читал нам по своей печатной французской книжке, ничем не разнообразя этой монотонии». Братья кое-как терпели, «а потом к экзамену выучивали кое-что вдолбяшку без плода и пользы для будущего»<sup>2</sup>. Есть свидетельство, что не намного лучше было поставлено преподавание не только светских наук, но и Закона Божия. «Если я имею какие сведения, — говорил самодержец о своем религиозном образовании митрополиту Филарету (Дроздову), — то обязан ими брату Александру, а не законоучителю своем.»<sup>3</sup>. В душу запали не классные уроки, а то, что свидетельствовал из лично пережитого, из духовного опыта близкий человек. Дурное наследие предыдущего российского столетия — непреодоленный привкус схоластики и дух самодовлеющей учености — очевидно, раз и навсегда утвердило Николая Павловича в утилитарно-прикладных взглядах на науку и образование. «Совершенно согласен с тобою, что не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, которые потом или забываются, или не находят применения в практике», — говорил он М. А. Корфу много позже, в 1847 году,

назначая преподавателем правоведения к великому князю Константину<sup>4</sup>. С детства романтически влюбленный в военное дело, убежденный в его превосходстве над всеми другими профессиями и склонный от природы к точным наукам, великий князь Николай стал по образованию военным инженером. Эмпирическим путем, идя от личных склонностей и детских впечатлений, он впоследствии выработал определенный вкус в отношении искусства, особенно — в силу специальности — в области архитектуры, в меньшей степени — в отношении словесности. В администрации и политике он придавал значение, пожалуй, только практическому опыту, приобретаемому продолжительной государственной службой. Выходящие за утилитарно-прикладные рамки вопросы, изучаемые общественными науками, Николай Павлович склонен был упрощать, если не третировать: «По-моему, лучшая теория права — добная нравственность...» — пример типичного его суждения<sup>5</sup>. Образование как средство самовоспитания, как способ обретения личного мировоззрения, инструмент, преобразующий внутренний мир человека, сообщающий определенную душевную, интеллектуальную утонченность — образование в таком своем значении осталось вне личного жизненного опыта императора Николая I. Это засвидетельствовала и такой отстраненный по своим чувствам, но тем не менее весьма заинтересованный, а потому пристальный наблюдатель, как королева Виктория. Во время кратковременного визита императора в Англию в 1844 году она получила немало впечатлений. Отмечая его светское обаяние, яркие, благородные черты характера, королева вместе с тем заключила, что «ум его необработан. Его воспитание было небрежно»<sup>6</sup>.

С политическими проблемами ведомства народного просвещения великий князь Николай Павлович впервые соприкоснулся в качестве генерал-инспектора по инженерной части, каковым был назначен в 1817 году. Разделяя религиозные чувства брата — императора Александра, он не питал никаких симпатий к увлечению западной мистикой, не был подвержен настроениям, вызывавшимся экстатической возбужденностью или апокалиптическим испугом на почве последней, сохранял известную духовную трезвость. Обскурантские действия министра духовных дел и народного просвещения князя

А. Н. Голицына и, особенно, его приближенных М. Л. Магницкого и Д. П. Рунича великий князь не одобрял. Одним из четырех профессоров Петербургского университета, отданных под суд по инициативе Рунича в 1821 году за якобы преподавание «богохульственных и пагубных доктрин», был К. И. Арсеньев, который одновременно профессорствовал в учрежденном великим князем Николаем Главном инженерном училище. Благодаря заступничеству шефа военных инженеров дело об Арсеньеве было довольно быстро прекращено, и он, потеряв место в университете, не лишился права заниматься наукой и преподаванием. Другого профессора — К. Ф. Германа — великий князь рекомендовал императрице Марии Федоровне, и тот был назначен инспектором женских учебных заведений. А самого Рунича, принимая у себя по светскому официальному поводу, великий князь в насмешку попросил выгонять таких людей побольше, так как ему они «очень нужны»<sup>7</sup>. С. С. Уваров, вспоминая о своих столкновениях с «мистической партией», впоследствии, писал: «Великий князь Николай открыто заявил себя на моей стороне и на своих довольно ограниченных тогда административных должностях выступал против тех интриг, с которыми я боролся»<sup>8</sup>. По восшествии Николая Павловича на престол профессорское дело было совершенно прекращено, все утерянные праваозвращены оправданным. Есть сведения, что примерно тогда же царь потребовал у министра народного просвещения А. С. Шишкова список иностранных книг, запрещенных за минувшее царствование. Насчитали до 120 наименований или около 300 томов. Разобрав все вместе с Шишковым и, предположительно, с В. А. Жуковским, Николай I оставил запрещение на менее, чем десятке книг мистического содержания<sup>9</sup>.

Будучи чужд не только либерализма, но и политического радикализма противоположной направленности, Николай I при вхождении во власть брался за рычаги государственного управления с осторожностью. Ее он завещал сыну-наследнику в документе 1835 года: «Сначала, входя в дела, спрашивай, как делалось до тебя, и не изменяй ни в чем ни лиц, ни порядка дел. Дай себе год или два сроку, хорошо ознакомься с делами и с людьми — и тогда царствуй»<sup>10</sup>. Из уст императора в первые годы правления приближенные часто слышали, что он — «про-

стой бригадный генерал», которого царствовать не учили. Для неприязненного отношения к ведомству народного просвещения у него тогда не было оснований. Как известно, к памяти своего венценосного брата Николай Павлович относился с благоговением, что вообще-то внушало ему уважение и к его политическому наследию, частью которого было созданное им Министерство народного просвещения. Царский манифест 13 июля 1826 года, извещавший Россию о завершении суда над декабристами, приписывал мягкий дух «не просвещению, но праздности ума», «пагубной роскоши полупознаний», что должно было скорее ободрить ученых, педагогов, литераторов<sup>11</sup>. Император проявил внимание к А. С. Пушкину, облегчил цензурные условия его творчества, побудил составить записку «О народном образовании», которую потом, прочитав, одобрил. Но, правда, при этом через шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа попенял поэту, что тот, ожидая блага лишь от врожденных талантов и образования, как-то совсем не придал воспитательного значения государственной службе, дающей навык к дисциплине и практический опыт: «...принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству есть правило опасное для общего спокойствия... Нравственность, прилежное служение, усердие предпочтеть должно просвещению неопытному, безнравственному, бесполезному»<sup>12</sup>. При этом достаточно скоро император получил возможность принять к сведению весьма категоричные суждения, прямо указывавшие на распространенную в высшем обществе образованность как на причину ослабления самодержавно-монархического правосознания в ведущих классах, источник либерально-эгалитарных идей. «Плодовитый корень республиканских порывов скрывался в самом образовании и воспитании, — писал правитель дел Следственного комитета по делу декабристов А. Д. Боровков в специальном своде мнений подследственных о внутреннем состоянии России, представленном Николаю I в феврале 1827 года; — в течение двадцати четырех лет само правительство, как млечком, питало юношество свободомыслием. Вступая на поприще жизни, восторженные юноши на каждом шагу встречали повед к достижению цели, к которой ведет подобное образование»<sup>13</sup>. К первым годам царствования относится и единственный за-

печатлевшийся в источниках случай, когда Николай I проявил интерес к существу преподаваемого в приключившийся момент конкретного учебного предмета из числа гуманитарных наук. В 1829 году, посещая морской кадетский корпус в сопровождении его директора – адмирала И. Ф. Круzenштерна, он заглянул в класс, где читалась лекция по истории русской литературы. Удивившись, что сам такое никогда не изучал, он услышал в ответ от не проходившего также подобного курса директора, что «это новая наука», и, как передает мемуарист, вдруг, заинтересовавшись, «прослушал около часа и десяти минут и к большому удивлению присутствовавших вышел на цыпочках, почтив этим непринужденность и увлечение лектора»<sup>14</sup>.

С годами Николай I, повинуясь чувству всеобъемлющей личной ответственности, укрепляемому верой в правоту своего самодержавия, развил у себя привычку лично инспектировать все и вся, пусть кратковременно, но регулярно, которую сохранил на всю жизнь. Определенное место в общем порядке царских инспекторских посещений отводилось и учебным заведениям ведомства народного просвещения. Но на жизнь университетов, гимназий, пансионов, лицеев император смотрел с чисто внешней стороны: с административно-хозяйственной или дисциплинарно-полицейской точки зрения. Во время таких посещений он до мелочей интересовался материальной частью: наружным видом зданий, состоянием учебных и жилых помещений, питанием воспитанников, качеством их мундиров, нательного и постельного белья, в университетах – оборудованием лабораторий при отделениях естественных наук. За неуставной внешний вид воспитанников неукоснительно наказывал как уничижное начальство, так и учащихся, последних вплоть до увольнения. За неотдание в надлежащих случаях чести по-военному мог посадить на гауптвахту студента. Наличие у воспитанников военной выпрявки всегда одобрялось, и, чтобы особенно угодить императору, перед ним могли, например, провести гимназистов церемониальным маршем и велеть им выполнить пару ружейных приемов. И при всем этом император совершенно не интересовался знаниями воспитанников, их учебными успехами: никто из современников ни одного подобного случая не запомнил. Участь виновного в каком-либо дисциплинарном нарушении не могли смягчить,

как правило, никакие свидетельства его блестящих достижений в учебе: «Мне не нужно ученых голов, мне нужны верноподанные», – эта фраза в различных редакциях обыкновенно звучала ответом ходатаям из числа педагогов, профессоров, администрации. По воспоминаниям подавляющего большинства современников, тогда учивших или учившихся, очевидно, что царские посещения в те времена вызывали самые искренние верноподданнические чувства<sup>15</sup>. Но даже при самом стойком монархическом благоговении демонстрировавшееся перед учащим составом на протяжении трех десятилетий высочайшее непонимание, недооценка, если не сказать – пренебрежение, в отношении главного содержания его профессиональной деятельности не могло к исходу царствования не накопить в их душах чувство горечи. Это особенно ощутимо на фоне того, какое впечатление оставляли знаки императорского внимания в памяти тех, кто служил тогда в военно-инженерной части. Здесь царь был знатоком всякого дела, все видел глазами специалиста. «... Все мы, военные инженеры, были сильно привязаны к государю, – вспоминал генерал-майор К. К. Жерве. – Он... знал наше дело хорошо, отличал нас, любил нас. Его приезд на наши работы всегда бывал для нас праздником; мы знали, что сумеем угодить ему. Он понимал наши труды, ценил их, а его ласковое слово, лестный отзыв бывали для нас гораздо большею наградою, чем все получаемые по приказам»<sup>16</sup>. Увы, всем этим серьезно обделялись университеты, пансионы, лицеи, гимназии. Вообще же, отмечают, что император обыкновенно чаще посещал кадетские корпуса, женские или сиротские учебные заведения<sup>17</sup>. При этом Николай Павлович не сомневался, что училищам ведомства народного просвещения уделяет внимания столько, сколько следует. Профессор Н. Г. Устрилов рассказал в «Воспоминаниях», как в начале 1840-х годов написал историю текущего царствования до 1831 года и показал С. С. Уварову. То ли сочтя повествование слишком выспренним, то ли предвидя ожидавшее восторженного историка разочарование, министр сказал, что без высочайшего разрешения напечатать работу нельзя, «докладывать же Государю неудобно». Настойчивый профессор через несколько лет с помощью попечителя Петербургского учебного округа и министра императорского двора добился, что рукопись легла-таки

на стол императора. Николай Павлович ее исправил, не только уточнив факты, ему лучше известные, и удалив строки, с его точки зрения, не в меру льстиво звучавшие, но и полностью вычеркнув текст, где описывалась монаршая забота об императорских российских университетах, вслед за которым в рукописи следовал текст о военно-учебных заведениях. Материал об университетах Устрялову в улучшенной им самим редакции разрешили напечатать отдельной статьей, но выказанным таким образом «неблаговолением к университетам» профессор был порядком огорчен<sup>18</sup>.

Итак, на вызывает сомнения, что в течении всего своего царствования Николай I всецело оставался верен вынесенному из отрочества предубеждению против «бесполезных отвлеченностей» неприкладного знания, не проявлял и тени намерения углубить свои представления о существе общего образования и, следовательно, не мог вынашивать никаких самостоятельных идей относительно дальнейшего развития отечественной общеобразовательной системы, за исключением того, что мог подсказать простой здравый смысл. Поэтому он по необходимости должен был разделять те типичные представления о роли и значении народного образования в государстве, которые уже были достаточно укоренены в придворно-правительственной среде ко времени его воцарения.

Поддерживая инициативы Министерства народного просвещения по снижению значения частного образования и ограничению роли иностранных учителей с целью устраниТЬ опасность отчуждения от отечественной культуры представителей высшего и других сословий, стремящихся к получению образования, Николай I строго следил за выполнением указа Сенату от 18 февраля 1831 года «О воспитании Российского юношества в отечественных учебных заведениях». Чтобы не создавать прецедент, он избегал разрешать молодым людям покидать Россию до 18 лет не только под предлогом получения образования — что запрещал указ, — но и по иному благовидному поводу. Известно, что одному малолетнему воспитаннику Главного инженерного училища, ставшему инвалидом из-за несчастного случая, он назначил ежегодный пенсион из личных средств на время лечения с тем, чтобы тот оставался в России<sup>19</sup>.

Стремление правительства к максимальному вовлечению высшего сословия в казенные учебные заведения встречало затруднения и осложнения не только в предубеждении основной массы дворян против всесословных училищ. Среди польского и полонизированного дворянства Западного края авторитет светской образованности в целом был достаточно высок; сказывались уходящие корнями в Средневековье соответствующие традиции незабытой Речи Посполитой. Но к началу нового царствования правящим верхам становилось очевидным, что как местное дворянство не представляет для Российской империи надежной опоры, так и получившая здесь развитие в alexандровское время школа несет в себе прочно укоренившиеся антигосударственные тенденции.

«Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое», — писал Н. М. Карамзин императору в 1811 году<sup>20</sup>. Но перспектива того, что было тогда очевидно для великого историка, была, увы, весьма мало понятной самодержцу, еще не осознанной в необходимой мере правящими верхами. Мечтательное «полонофильство» Александра I привело к тому, что православный народ Правобережной Украины и Белоруссии, имевший позади более чем двухсотлетнюю историю борьбы за Православие, перед продолжавшимся прозелитическим национальным польским католического духовенства и полонизаторскими устремлениями местных секуляризованных деятелей просвещения остался фактически без должной поддержки государя и правительства Империи, в которой Православная Церковь официально имела статус господствующей. Организованный А. Чарторыйским Виленский учебный округ был непосредственно звеном в цепи его планов по реставрации Речи Посполитой. Как отмечает в своем капитальном труде Ф. А. Петров, главное учебное заведение округа — Виленский университет «оставался — еще в большей степени, чем Дерптский — неинтегрированным в общероссийский образовательный процесс вплоть до своего закрытия в 1832 году. Дарование широкой университетской автономии на территории, менее, чем десять лет назад присоединенной к Российской империи, было смелым шагом, если учесть сколь сильным было здесь католическое влияние и антирусские настроения польской шляхты». Сменявший в 1824 году Чарторыйского на посту попечителя округа Н. Н. Новосильцев

при первой же ревизии университета пришел к выводу, что вся система образования в нем имела целью внушить юношеству «надежду на восстановление прежней Польши»<sup>21</sup>. В официальных документах Виленского учебного округа родным языком всего населения Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины, среди которого поляки составляли абсолютное меньшинство, именовался польский. Исключительно на нем велось все преподавание в университете, Кременецком лицее, уездных училищах – везде, кроме учебных заведений Киева. Мысль преподавать в Виленском университете российскую историю Чарторыйский отверг с самого начала. Русский язык везде был отнесен к второстепенным предметам, преподавался как иностранный. Серьезная постановка его преподавания, несмотря на периодические, нарочито положительные, заявления, администрацией учебных заведений фактически саботировалась. Учащиеся православного вероисповедания принуждались начальством к участию в католических богослужениях. Отсюда, как следствие, что те, из православного народа Западного края, кто тянулись к образованию, предпочитали отдавать своих детей в духовные учебные заведения<sup>22</sup>.

В 1812 году Виленский университет дружно приветствовал вошедшие в город наполеоновские войска. Французская оккупационная администрация находила себе активных помощников среди профессоров и преподавателей, среди студентов – добровольцев для вспомогательных вооруженных формирований. После изгнания Наполеона и амнистии, дарованной Александром I, политическое брожение среди учащих и учащихся продолжалось.

Повальное участие польской учащейся молодежи в мятеже 1830–1831 годов предопределило то, что после разгрома восстания вся система образования царства Польского перестала существовать. И преподавание в Виленском учебном округе также прекратилось. Правительственные указы о закрытии Варшавского университета, Виленского университета и всего округа с Кременецким лицеем и другими учебными заведениями, по сути, лишь следовали за свершившимися фактами. Русской администрации пришлось все организовывать заново, разумеется, без участия тех из числа профессоров и преподавателей, кто скомпрометировал себя участием в восстании.

Важнейшим шагом, призванным обеспечить полномасштабное развитие в Западном крае русской образовательной традиции было учреждение в 1834 году в Киеве Университета Св. Владимира. «Новый университет... — писал Уваров, — должен был по возможности сглаживать те особенные характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности... сближать его с русскими нравами... передавать ему общий дух русского народа и поселять в нем чувство признательности к Государю... Соединение польского юношества с русским в Киеве, в этом некогда первопрестольном граде России, основательное изучение русского языка и словесности, знакомство с учреждениями и установлениями русскими: вот главные средства, которые были в виду для достижения этой цели... Слияние *политическое* не может иметь другого начала кроме слияния *морального и умственного*»<sup>23</sup>.

Чтобы не оттолкнуть местное дворянство от новосозданного университета, Уваров ввел в него профессоров из упраздненного Волынского лицея. Императорский указ Сенату 8 ноября 1833 года прямо объявлял, что Волынский лицей переводится в Киев и переименовывается в университет. Первоначально кременецкие профессора численно преобладали над другими. Преподавание польского языка было сохранено для желающих. Еще до того как при университете был устроен православный храм, министр по представлению попечителя округа разрешил открыть для католических богослужений каплицу при условии недопустимости прозелитизма. Ревизовав округ в начале 1837 года, министр убедился, что все преподавание, кроме римско-католического богословия, с успехом ведется на русском языке. Затем, в течение ближайших двух лет он с почетом удалил из Киевского университета прежних кременецких профессоров под благовидными предлогами: выслуживших положенный срок уволил с надлежащим пенсионом, остальных перевел на другие должности по ведомству народного просвещения. Император сохранил Университет Св. Владимира и после того, как в 1839 году было обнаружено участие 35 студентов в польском политическом заговоре. Университет был закрыт лишь временно, сроком на год с сохранением жалования профессорам и права за студентами быть принятыми

в любой российский университет с зачетом времени обучения в Киеве. Преподавание польского языка по возобновлении обучения было прекращено. При посещении учебных заведений Киева царское внимание распространялось шире обычного на одну деталь – освоение воспитанниками русского языка<sup>24</sup>. В отличие от брата Александра, Николай Павлович изначально рассматривал Западный край не как ареал непременного доминирования польской культуры, а как исторические русские земли – древнее наследие Киевской Руси.

К 1838 году Уваров считал преобразование учебной системы Западного края в основном законченным. «Поле сражения... по собственному сознанию врагов остается за правительством», – с удовлетворением констатировал министр<sup>25</sup>. Приток польской и полонизированной молодежи в казенные учебные заведения края не ослабевал. Среди киевских студентов в течение николаевского времени католиков и униатов в среднем было не менее половины, после 1841 года их доля стablyно держалась на уровне не менее 51 %<sup>26</sup>.

В 1830-е годы император также обращал внимание министра на необходимость «усилить способы русского женского воспитания, без которого другое по духу края не будет достаточно». В начале 1840-х в Западном крае были закрыты все учебные заведения при женских католических монастырях. Содержательницами частных пансионов оставались сплошь представительницы местного польского дворянства. Такую ситуацию при условии надзора учебной администрации Уваров предпочитал домашнему образованию; возможность вытеснения польских содержательниц русскими он исключал из-за отсутствия кадров и скудости финансовых средств<sup>27</sup>.

Общее благоприятное впечатление, полученное от результатов, достигнутых в Западном крае, побудило императора использовать накопленный Министерством народного просвещения опыт в мероприятиях по решению польского вопроса теперь уже непосредственно в царстве Польском. По свидетельству Уварова, Николай I продумывал данное решение весьма серьезно. «... В этом запутанном вопросе, – говорил он министру, – я должен был принять не результаты моих собственных планов, а тяжелое наследие моих предшественников. Мои заблуждения, как вы это видите, не идут далеко; имен-

но в момент внешнего торжества я вам выражают опасение или, скорее, уверенность, что к рассмотрению основного вопроса даже и не приступали. В том хаосе, который представляют два или три столетия наших споров с Польшей, я вижу, что только слияние нравственное могло бы положить ему конец... я верю, что мой самый положительный долг — еще раз попытаться возложить надежды на лучшее будущее не на нынешнее гангренозное поколение, большей частью потерянное, а на поколение новое (поляков. — М. Ш.)»<sup>28</sup>. Но следует оговориться, что важную роль в этом деле сыграло, очевидно, мнение наместника Царства И. Ф. Паскевича. Светлейший князь Варшавский, генерал-фельдмаршал граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский, выдающийся военноначальник, пользовался у императора большим авторитетом и занимал в его окружении совершенно исключительное положение. Служивший под его началом в гвардии Николай I обращался с заслуженным генералом с особым тактом и сердечностью. «Мой любезный отец-командир» — было всегда обычным эпистолярным обращением императора. К мнению Паскевича Николай Павлович склонен был прислушиваться более, чем к иным. Ему, пожалуй, одному он позволял возражать себе по уже принятому и осуществлявшемуся решению. По мере накопления соответствующего опыта Паскевич, по-видимому, склонялся к мысли, что в деле управления учебной частью Царства ему необходимо теснее взаимодействовать с ведомством Уварова. Семилетние усилия по осуществлению одной из главных задач, по введению в программы обучения во вновь созданных начальных и средних училищах русского языка дали результаты более, чем скромные: в 29 казенных училищах трудилось 30 учителей русского языка, в 3-х гимназиях с большим трудом удалось ввести на русском языке преподавание русской истории<sup>29</sup>.

В 1839 году был учрежден Варшавский учебный округ. Его попечитель фактически подчинялся наместнику. Но содержанием учебных программ и пособий, его кадровыми проблемами ведал теперь министр народного просвещения. По мнению Уварова, главная ошибка администрации Паскевича заключалась в бессознательном, как выражался министр, стремлении подавить польский язык в государственных учреждениях, простым административным нажимом решить вопрос, заведомо

таким способом не решаемый. «Мне немного надо было по-размыслить и понаблюдать, — вспоминал министр, — чтобы убедиться, что насильтственные средства, направленные на разрушение этой, в некотором роде, умственной враждебности давали совершенно противоположный эффект и обостряли вопрос вместо того, чтобы его решать»<sup>30</sup>. Уваров не замедлил представить императору доклад, где сформулировал итоги своего первоначального ознакомления с делом: «... меры, которые доселе принимались, мало соответствовали цели, потому что слишком резко и преждевременно обнаруживали виды правительства. В политическом смысле русский язык можно уподобить оружию, которое должно нанести рану руке, неопытно им владеющей. В бывших польских и даже остзейских губерниях можно, не запинаясь, сказать русским подданным: учитесь по-русски. В Царстве введение языка русского требует других условий»<sup>31</sup>. Употребление польского языка в преподавании в необходимом объеме было восстановлено. Предложения о его замене русским языком поступали также и от некоторых поляков. Один из них — граф А. Гурковский — предлагал в 1840 году полностью заменить классическое среднее образование реальным, то есть профессионально-техническим, а также, ограничив вдвое часы, отведенные для преподавания латыни, ввести преподавание церковнославянского языка. Осуществлено было только последнее, но, по предложению Уварова, без ущерба для преподавания языка римско-католического богослужения. Министерство разработало устав для гимназий и училищ низших степеней на основе общероссийского устава 1828 года. Учебные планы были приведены в соответствие с общеимперской программой обучения. При этом в числе общеобязательных предметов были польский язык и словесность. В 1841 году Министерство завершило работу по пересмотру и изданию всей необходимой учебной литературы. Гимназии царства Польского ориентировались теперь на подготовку к поступлению в русские университеты и другие учебные заведения. В Московском и Петербургском университетах в 1840 году было учреждено по две кафедры польского частного права. Открытые тогда же при варшавской гимназии юридические курсы просуществовали до 1846 года: воспитанники оказались замешаны в антирусских политических заговорах. «... Вместо при-

теснительного, безусловного повеления о введении русского языка, — пояснял Уваров свои действия, — я старался, удовлетворяя справедливым требованиям местности, поселить в умах уважение к русскому образованию, доверие к видам правительства и точное, хотя и не явное, сознание добрых намерений Министерства»<sup>32</sup>.

Начальное образование, а также практически все женское, оставалось, по-прежнему, вне унификаторских усилий правительства. В руках римско-католического духовенства и частных лиц находилось свыше тысячи школ и пансионов, в которых в 1840-х годах воспитывалось без учета женщин примерно 56 тысяч человек. В казенных же училищах тогда насчитывалось только 8 тысяч учащихся<sup>33</sup>. Наибольшее, что могло сделать Министерство, это установить при гимназиях в специальных экзаменационных комитетах регулярные испытания для желавших обучать в частных заведениях или на дому; при этом домашние наставники должны были являться с учениками<sup>34</sup>. Сам же император, со своей стороны, по обыкновению, лично обращал внимание, например, на введение для гимназистов царства Польского мундиров...

Действия Уварова в главных чертах находили тогда у Николая Павловича полное понимание. «Правильный путь, — уточнял министр, — лежит между двумя крайностями: между ультраподанным, понятным, но бесплодным и бесполезным, чувством явного презрения к народу, имевшему доселе мало прав на наше сочувствие, и между ультра-европейскою наклонностью сделаться в глазах этого народа предметом слепого энтузиазма. Тут, как и во всех почти действиях государственных средняя стезя являла твердость и обеспечивала успех»<sup>35</sup>. За организацию Варшавского учебного округа Уваров был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени.

Но, по-видимому, довольно серьезные трения возникали у министра с наместником. Свидетельства эпохи сохранили для нас любопытный рассказ одного чиновника, служившего в то время в ведомстве народного просвещения. «Когда-то в сороковых годах» у Уварова была-дессора с фельдмаршалом князем И. Ф. Паскевичем, который, в качестве наместника царства Польского, вмешивался в дела Варшавского учебного округа, бывшие в компетенции министра. Николай I, желая их поми-

рить, пригласил обоих в Зимний дворец. Уваров вошел в приемную, когда Паскевич был уже в кабинете императора. В разговоре, имея в виду государя и наместника, он будто бы сказал, что «они» «намерены пускать кровь и думают, что я стану держать им таз». Впоследствии, через лично близких, преданных чиновников Уваров узнал, что государю это известно: собеседники министра были люди благородные, но, вероятно, в стенах приемной имелись слуховые ниши. «С этого дня, — заключал рассказчик, — Николай Павлович невзлюбил Уварова»<sup>36</sup>. Сам Уваров передал в своем «Опыте автобиографии» этот эпизод следующим образом: «Одно слово, которое я сказал государственному секретарю Туркулу, выходя из кабинета Его Величества произвело шум: «Если когда-нибудь речь зайдет о том, чтобы выпустить кровь Польше, предупреждаю, что у меня слишком чистые руки для того, чтобы держать таз». Прибавляют, что фельдмаршал поторопился пересказать мои слова Императору и что тот, пожав плечами, ответил ему: «Что поделешь? Таково его окончательное мнение, я знаю»<sup>37</sup>.

Сочетая в учебной системе польские и русские образовательные элементы, Уваров надеялся поспособствовать через преодоление языкового барьера сближению двух народов в рамках Российской империи и ориентировал своих приближенных на благожелательное отношение к польской молодежи. «Я помню из рассказов отца, — писал сын профессора Петербургского университета Н. Г. Устрялова, — как на экзамене из русской истории один студент взял билет и, весь бледный, подошел к столу. — Какой у вас билет? — спросил отец. — Присоединение Польши, — сказал студент, — но я отвечать не стану. — Отчего же? — Оттого, что я — поляк. — В таком случае возьмите другой билет, — хладнокровно заметил мой отец, — и расскажите его. — Студент взял другой билет, отвечал отлично и, к величайшей своей радости, получил высший балл — пять. Этот случай надолго остался в памяти университетской молодежи»<sup>38</sup>. Один из почитателей Уварова — чиновник Варшавского учебного округа Ф. фон Стендер в 1854 году уверен-но писал министру народного просвещения А. С. Норову, что поляки «давно отринули, как нелепую историческую химеру, идею о так называемой независимости и самостоятельности Польши»<sup>39</sup>. Иллюзиям предстояло через пять-семь лет рассе-

яться... Но надо сказать, что Уваров, по-видимому, вполне отдавал себе отчет, что сближение польской и русской учащейся молодежи может идти и не столько на основе уважения к ценностям христианской культуры и понятий о верности Императорскому Всероссийскому Престолу, сколько на почве общего увлечения либерально-эгалитарными идеями. Наверное, отчасти и поэтому он за три года до смерти в своих воспоминаниях собственные труды по устроению учебной системы царства Польского расценивал в стратегическом смысле «как дело незавершенное» по непродолжительности сроков при ограниченности средств...<sup>40</sup>

Утилитарно-прикладные наклонности Николая I сказалась и на судьбе училищ Варшавского округа. В 1845 году он распорядился преобразовать большую часть средних учебных заведений из классических в реальные. Будучи убежденным сторонником классицизма, Уваров затягивал дело, спрашивывая, что существующая система еще только создана и для престижа казенных учебных заведений не полезно столь резкое ее переустройство, что финансовых средств для преобразования слишком мало. В конце концов новый план переустройства гимназий был введен в действие уже после его отставки.

Вопрос о связи ускоренного распространения образованности среди чиновничества с ростом эффективности правительенного аппарата оказывался непосредственно в поле зрения императора не иначе как в совокупности со всеми аспектами организации гражданской службы. Скепсис в отношении системы гражданских чинов среди высшей бюрократии не исчезал. Очевидно, за десятилетие действия Устава 1834 года разной критики по адресу условий гражданской службы в правящих верхах накопилось уже немало. В декабре 1846 года Николай Павлович принял решение начать общий пересмотр Устава о службе гражданской. К тому времени минуло семь лет как сошел в могилу тот, кто всегда видел проблему ускоренного обновления чиновничества образованными людьми в числе главных правительственных задач — М. М. Сперанский, к концу своей жизни во мнении Николая I значивший во много раз больше, чем в начале его царствования. Другого голоса, столь же твердого и безусловно авторитетно-

го, в пользу системы 1834 года\*, сопрягавшей уровень образования со скоростью чинопроизводства во все время службы, в правительственные кругах, очевидно, не было. И Николай Павлович вроде бы склонился к отказу от системы деления чиновников на разряды по уровню образования. После первого же доклада специально учрежденного Комитета, куда входили все товарищи министров, император повелел ему принять за основу проекта нового Устава о службе гражданской, между прочим, и то, что «преимущества, дарованные разным учебным заведениям впредь касаться должны только поступления на службу». Вместо подлежащей отмене системы гражданских чинов Комитет предложил разделить все гражданские должности на одиннадцать классов. При этом Николай Павлович желал, чтобы назначение на каждую следующую по восходящей линии должность было, «как в военном ведомстве», только на вакансии «и в редких случаях за отличие», а долгая и безукоризненная служба в одной и той же должности награждалась бы специально установленными прибавками жалованья. По проекту нового устава, если всякий раз по истечении минимального срока пребывания в каждой должности наверху открывалась бы новая вакансия, дворянин проходил бы путь от должности XI класса до должности V за 24 года при обыкновенной выслуге, при постоянных отличиях — за 18 лет. Недворянин выходил бы, двигаясь с должности самого низшего класса, на должностной уровень, выше которого шло бы назначение только по высочайшему повелению, через 30 лет за выслугу или минимум за 23 года — при отличиях. Сроки должностного роста, предлагаемые для дворян, почти соответствовали чинопроизводству по первому разряду Устава, действовавшего с 1834 года, для недворян — примерно совпадали со сроками второго разряда. Допуская общее ускорение производства при исчезновении преимуществ образованных чиновников в продолжении службы, Комитет, по сути, пренебрегал уже полученными результатами ускоренного выдвижения лиц с образованием. Кроме этого, предполагалось, что окончание гимназического курса не будет давать права поступления на

\* См. главу I.

государственную службу тем, кто не имеет его по происхождению<sup>41</sup>.

Но Николай Павлович, верный консервативному инстинкту, явно не торопился увидеть в действии новые правила гражданской службы. После 1848 года регулярные доклады Комитета об упразднении гражданских чинов прекратились. Почти завершенный проект лег на стол монарха только в ноябре 1850 года, и в существовании Комитета самодержец деликатно поставил точку. Как говорилось впоследствии в официальном обзоре, «Государь Император по прочтении доклада Комитета, остался очень доволен и соизволил отозваться, что доклад заключает в себе точные мысли Его Величества, от которых Его Величество хотя и не изволит отступать, но не находит возможным привести одновременно в исполнение все меры, в докладе Комитета предложенные»<sup>42</sup>. Система гражданских чинов оставалась незыблемой. Частных изменений в положении чиновников с образованием также не последовало.

Насколько Николай I склонен был с недоверием воспринимать образованность или ученость в офицере и чиновнике, настолько же готов был приветствовать и поощрять их там, где таковые являлись, так сказать, сословно-профессиональной добродетелью, среди «первенствующего ученого сословия» государства. Императорская Академия наук, на рубеже двух царствований переходившая во второе столетие своей истории, тогда в буквальном смысле слова бедствовала. В 1827 году в ней насчитывалось семь вакантных мест академиков; из-за низкого жалованья видные ученые отказывались переезжать в Петербург, оставляя место профессора в университете или преподавателя в гимназии. В 1826 году в дни празднования столетнего юбилея император обнадежил администрацию Академии, что необходимые перемены в ее бытии последуют, и в начале следующего года дал согласие на разработку нового устава, введение нового штата. Жизнь Академии заметно оживилась, но наступление обещанных кардинальных улучшений затягивалось; внимание императора было приковано к делам внешней политики: поиск русским правительством путей преодоления восточного кризиса 1820-х годов неуклонно вел к военной развязке. Давний знакомый Александра I академик И.-Я.-Ф. Парrot, написав в мае 1827 года новому императору, добился встречи с

графом А. Х. Бенкендорфом. Ученый стремился убедить правительство ускорить, елико возможно, решение вопроса об улучшении материального положения Академии наук. «Настоящее содержание петербургских академиков так незначительно, что, не говоря уже о Парижской Академии и Лондонском королевском обществе, оплачиваемых очень щедро, можно сказать, что члены европейских академий получают в три, даже в четыре раза более петербургских академиков, — писал Паррот Бенкендорфу; — 2. Наша Академия при настоящем безвыходном положении не может привлекать достойных ученых: все переговоры с ними по этому поводу кончаются ничем; 3. Высочайшая воля, выраженная Его Величеством на торжественном публичном заседании 29 декабря 1826 г., известна за границей; там полагают, что Академия уже пользуется с 1 января сего года дарованными ей новыми штатами; 4. Если Высочайшая милость будет отложена до будущего года или до окончания имеющей открыться войны, то это непременно бросит тень на русские финансы. Если же, наоборот, новые штаты будут дарованы теперь же, в Европе увидят в этом акте щедрости не только покровительство нашего августейшего Монарха наукам, но и блестящее состояние русских финансов, и это будет гораздо лучшим доказательством, чем все официальные отчеты. Все, что делает правительство для просвещения страны, есть как бы пульс государства, по которому узнаются все внутренние силы. Петербургская Академия наук ценится гораздо более за границею, чем в России...»<sup>43</sup> Доводы почтенного академика политически были не слишком удачными. В отличие от брата Александра, Николай I отнюдь не склонен был проявлять повышенную «чувствительность» к общественному мнению Запада, тем более, искать популярности в европейском ученом мире, но, вместе с тем, он не намерен был оставлять без попечения наследие Петра Великого и никогда не пренебрегал данным словом. Время для исполнения обещанного Академии наук наступило после завершения восточного кризиса, победы над Турцией, заключения мира, отдавшего издавна сложившимся представлениям о достоинстве и интересах России.

30 января 1830 года был введен новый штат в виде дополнительных пунктов к Регламенту Академии наук 1803 года, со-

гласно которым общая сумма финансирования Академии увеличивалась вдвое, что было закреплено Уставом 1836 года. Фактически произошло индексирование средств после периода инфляции, и частные пожертвования, а также так называемые экономические суммы, составляли существенный элемент финансирования, но в целом жалованье членов Академии теперь было на уровне окладов профессоров университетов. Постепенно была отработана и система пенсионного обеспечения. Единовременные государственные дотации обеспечивали дорогостоящие научные программы. Сделалось возможным заполнение вакантных мест в Академии ведущими отечественными и зарубежными учеными.

В 1841 году со смертью президента Российской Академии А. С. Шишкова император распорядился объединить последнюю с Академией наук. Президент Уваров, желая, вероятно, проявить осторожность по отношению к привычкам и настроениям академиков, предложил проект «Императорских соединенных академий» по французскому образцу – трех максимально автономных частей, объединенных лишь Канцелярией и Общим собранием всех действительных членов. Такой план Николай Павлович отверг и распорядился быть Императорской Академии наук из трех Отделений: физико-математических наук, русского языка и словесности, исторических наук и филологии. С последним велено было сноситься Археографической комиссии. I Отделение вело исследования в области естественных и точных наук. II Отделение занималось русской и славянской филологией, языкоznанием и историей русской словесности. III Отделение в николаевское время работало в области востоковедения, истории, этнографии, языкоznания народов России, классической филологии, античной истории. Данная структура Академии наук в целом не подвергалась коренному изменению вплоть до 1927 года.

Император предоставил Уварову по его собственной просьбе право самому назначать членов II Отделения. В состав последнего вошли прославленные поэты – И. А. Крылов, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, видные историки и филологи – М. П. Погодин, П. М. Строев, А. Х. Востоков, И. И. Срезневский, К. И. Арсеньев, православные иерархи – величины в области словесности церковной – митрополит Филарет (Дрозд-

дов), епископ Иннокентий (Борисов). Членами-корреспондентами Отделения стали известные лингвисты В. И. Даля, П. Шафарик, В. Караджич. Стоит упомянуть, что жалование и пенсия полагались только председателю Отделения, все остальные члены могли получать лишь разовое вознаграждение за конкретные труды.

Академия наук, как и университеты, обладала правом самостоятельной цензуры своих изданий и правом бесцензурного получения изданий зарубежных.

В. И. Вернадский в своих «Очерках по истории Академии наук» обратил внимание на то, что со времени образования Отделения русского языка и словесности русский язык впервые за более, чем столетнюю историю учреждения, вошел в употребление в качестве официального в заседаниях Общего собрания Академии наук, в I и III Отделениях еще продолжал господствовать французский язык. «Чем более росла Академия, — отмечал историк русской науки, — тем большим диссонансом звучал ее во многом интернациональный, до известной степени немецкий, уклад, тем настойчивее чувствовалась в русском обществе необходимость ввести ее целиком в круг своих чисто национальных орудий»<sup>44</sup>. Во второй четверти XIX века усилиями Академии наук наряду с научными журналами, сборниками на иностранных языках появляются аналогичные периодические издания на русском языке. Но рост влияния русского общества на жизнь Академии наук в целом для николаевской эпохи был делом достаточно отдаленного будущего. Конкретные пути «приспособления наук к общественным пользам» определялись в то время самим Николаем I.

Согласно Уставу 1836 года вся Академия и каждый ее член состояли «под особым высочайшим покровительством». Император постоянно был в курсе всех дел Академии по всем ее Отделениям, в курсе работ каждого академика, за собой неизменно сохранял последнее слово при назначении ученых на новую должность, лично контролировал максимально эффективное использование финансовых средств, поддержание и укрепление необходимых международных научных связей. Он был внимателен ко всему, начиная с проведения научных экспедиций в Восточную Сибирь и обнародования их результатов вплоть до изменения цвета ворота на мундирах академиков.

Как отмечает современный исследователь, «полнейшая централизация власти, самодержавный стиль правления позволяли быстро находить решение различных проблем, но такой контроль зачастую тормозил нужные начинания. Однако благодаря помощи своего правительственного окружения Николай I, как правило, находил верные решения»<sup>45</sup>.

Получая крупные средства на пополнение своих музейных коллекций, на обеспечение себя дорогостоящим оборудованием, на строительство новых помещений, Академия тем вернее могла рассчитывать на венценосную щедрость в каждом конкретном случае, чем более очевидным для самодержца было прикладное значение ожидавшихся результатов. Он сам активно поощрял, например, развитие астрономии. В 1830 году Генеральный штаб получил распоряжение в целях успеха картографических работ наладить сотрудничество с Академией наук «по предмету астрономического наблюдения местностей». Свыше двух миллионов рублей ассигнациями было выделено на строительство Пулковской обсерватории. Лучшая среди всех известных тогда обсерваторий по богатству и совершенству оборудования, она превосходила их и по точности наблюдений и с первых же лет со времени открытия приобрела всемирный авторитет. Были открыты также обсерватории в Казани и Киеве, оснащены новейшим оборудованием обсерватории в Москве и Дерпте<sup>46</sup>. Император мог проявить глубокую заинтересованность ходом дорогостоящих экспериментальных работ, как это было с опытами профессора Дерптского университета, впоследствии, академика Б. С. Якоби по разработке электродвигателя для морских судов. Работы велись под наблюдением специальной Комиссии при Академии наук во главе с вице-адмиралом И. Ф. Круzenштерном. При создании Комиссии в 1837 году на проведение работ правительством было отпущено 37 750 рублей, дополнительно в 1838 году – 18 500 рублей, а ежемесячно отпускалось по 1200 рублей. В 1841 году средства истощились, и Комиссия, за исключением самого Якоби, пришла к заключению, что в обозримой перспективе надеяться на то, что повысить мощность и уменьшить вес электродвигателя настолько, что полученная модель сможет конкурировать с паровой машиной, не приходится. Но император приказал продолжить финансирование опытов, и лишь в кон-

це 1842 года Комиссия прекратила работу, а финансирование трудов академика Якоби оставили на усмотрение заинтересованных ведомств. В развитие электродвижения на транспорте был внесен крупный вклад, было положено начало отечественному электромашиностроению. Вообще же, в области реализации электротехнических изобретений в 1830-е годы Россия лидировала<sup>47</sup>.

Известны поощрительные знаки внимания Николая Павловича трудам академиков-гуманитариев. Так Отделению русского языка и словесности специальным рескриптом на имя Уварова было выражено благоволение за поднесенный четырехтомный Словарь церковно-славянского и русского языка, опубликованный в 1847 году. Император обращал внимание на труды Археографической комиссии, образованной в 1834 году в качестве временной для издания материалов Археографической экспедиции, затем преобразованной в 1837 году в постоянную при Министерстве народного просвещения.

В николаевское время усилилась тенденция развития прикладных исследований для нужд различных государственных органов. Сделалось регулярным обращение за консультациями в Академию наук таких структур, как Азиатский департамент, Архив Министерства иностранных дел, Департамент военных поселений, Гидрографический департамент, Горный департамент, Артиллерийский департамент. Академики выполняли отдельные заказы, занимали различные должности в министерствах и ведомствах, в том числе в умножившихся ученых комитетах и советах. В 1828 году при Департаменте мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов образовался Мануфактурный совет. В 1837 году в Министерстве государственных имуществ был учрежден Сельскохозяйственный ученый комитет. В 1847 году при Главном морском штабе начал свою работу Морской ученый комитет. В свою очередь ведомства выполняли различные заказы Академии. Плодом сотрудничества академиков и представителей морского ведомства стало образование в 1845 году ведущей отечественной научной общественной организации – Русского географического общества. Привлечение науки к потребностям администрации способствовало профессионализации бюрократии, благоприятствовало вы-

движению высокообразованных кадров как исполнителей, наиболее восприимчивых к научным инновациям, приложимым к практике различных отраслей и звеньев управления.

Ободряемые правительенным вниманием члены Петербургской Академии наук смотрели на свое положение довольно оптимистично. «Своеобразен характер нашей Академии наук сравнительно с западноевропейскими академиями, — писал К. С. Веселовский. — Последние все более или менее, так сказать, Академии почета: они дают своим членам только имя, как бы признание их знаменитости, но не доставляют им самостоятельного положения, а потому не возлагают на них особых обязательств. Наша Академия, например, есть Академия ученого труда. Она поставлена правительством в самостоятельное положение, снабжена большими учеными средствами и принадлежностями — музеями, кабинетами, лабораториями и др., дает своим членам средства самостоятельного существования, сравнительно с другими академиями высокий оклад, казенное помещение, а взамен того требует от них труда. Быть членом нашей академии — не один почет, а должность»<sup>48</sup>.

Если благородное достоинство ученого звания у императора Николая и его двора не вызывало сомнений, то намного иначе воспринималось в свете понятий о дворянской чести профессиональное занятие литературой или журналистикой. Перед А. С. Пушкиным, как известно, проблема литературного заработка вставала прежде всего в этическом аспекте. На другой день после подавления выступления заговорщиков на Сенатской площади император не преминул спросить у арестованного А. А. Бестужева: «Скажите правду, участвовали ли в вашем деле журналисты?» По словам Н. И. Греча, после Николая I то же спросил Бестужева великий князь Михаил Павлович<sup>49</sup>. После разгрома мятежной Польши, предписав И. Ф. Паскевичу плененным польским генералам велеть ехать в Москву, не арестовывая их, приставив к ним офицеров лишь в качестве провожатых, Николай Павлович в том же письме распорядился арестовать всех редакторов местных газет и журналов и отправить «под строгим караулом» в Киев или Бобруйск<sup>50</sup>. Русские правящие круги видели, что на Западе, где имел место опыт более или менее последовательного осуществления принципа свободы слова, ставящего печать в число главных

движащих сил политики, если не прямо публичная клевета, то в той или иной степени утонченная инсинация или диффамация делалась обыкновенным явлением. Возможно ли было подвести императора Николая к мысли, что определенное признание за русским печатным словом общественно-политического значения, пусть хоть в наименьшей мере, в перспективе становилось все-таки неизбежным?

Те, кто просил правительство дать простор для русской политической публицистики, указывали на постоянное присутствие в западной печати измышлений и выпадов, оскорбительных для части России. Об искусственном «безмолвии русской печати» с негодованием писал П. А. Вяземский. Жаждавший «сражаться на словах» с Европой М. П. Погодин активно выступал с идеей давать отпор печатной русофобии путем журнально-газетной полемики. По воспоминаниям великой княжны Ольги Николаевны, в 1841 году с Николаем Павловичем на эту тему заговаривал кронпринц Вильгельм Прусский: «Вам надо завести орган, предназначенный для того, чтобы опровергать ту клевету, которая, несмотря на цензуру, постоянно поднимает голову». На это последовал чеканный ответ императора: «Я никогда в жизни не унужусь до того, что начну спорить с журналистами». «В то время я соглашалась с Папá, — писала дочь. — Но с тех пор как живу в Германии, я на опыте узнала, что прессы представляет собой силу, с которой приходится считаться правительству, если оно хочет быть авторитетным»<sup>51</sup>. В 1840-е годы возможность подобного положения в России можно было только предугадывать.

Наместник царства Польского князь И. Ф. Паскевич обнаруживал заметное влияние германской прессы на умонастроения местной публики. Материалы немецких газет, касавшиеся России, были, по наблюдению фельдмаршала, почти всегда ей враждебны. «Никто в нашу пользу не скажет ни слова, а мы сами молчим», — писал наместник императору в конце 1842 года. Князь полагал, что не надо упускать из виду ту часть европейской читающей аудитории, которая не заражена русофобской предвзятостью и склонна проявлять объективность извешенность в суждениях: «Не думаю, чтобы можно было совершенно переменить общественное мнение; но можно иметь на него влияние, пользоваться разделением мнений и доказать несправ-

ведливость часто дерзкой клеветы, которой теперь принуждены верить люди всех партий оттого, что мы не отвечаем». Паскевич предлагал создать за границей правительственный официоз, на страницах которого будет от частного имени освещаться политика России. «Если это удастся, — полагал он, — то мы, может быть, этим самым избежим больших неприятностей. По крайней мере, почему не сделать сему опыт?»<sup>52</sup>

Но самодержец твердо стоял на своем. «Мне уже часто предлагали отвечать на статьи и брошюры, издаваемые за границей с ругательствами против нас, — писал он фельдмаршалу в начале следующего года. — Не соглашался я на это по той причине, что кроме того, что считаю сие ниже нашего достоинства, но и пользы не предвижу; мы будем говорить одну истину, на нас же лгут заведомо, потому неравен бой. Сильнее гораздо опровержение в самих делах, когда они доказывают ложь торжественно... согласиться заводить полемику и теперь не могу; пусть лают на нас, им же хуже»<sup>53</sup>. Личное благородство Николай I, обращенное в область политики, вызывало уважение у многих современников, но иным оноказалось уже в значительной мере анахронизмом. Если прославленный военачальник, любезный сердцу монарха отец-командир Паскевич не мог убедить его в том, что уже необходимо начинать считаться с политическим значением печатного слова, то можно представить, как мало для этого шансов было у С. С. Уварова, который никогда не был военным, не был императору лично близок... Последнее подтверждение своей игнорирующей позиции было дано Николаем Павловичем по поводу записи Погодина от 7 декабря 1853 года. Историк, с крайним волнением следивший вместе со всей ученο-литературной общественностью за развитием восточного кризиса, войной с Турцией, грозившей превратиться в войну с коалицией с участием западных держав, по-прежнему сохранял некоторую надежду убедить правительство допустить полемику с враждебной иностранной печатью, утверждая, что известная часть европейской общественности может поддаться положительному воздействию: «... ненавидят Россию, потому что не имеют об ней ни малейшего понятия, руководствуясь сочинением какого-нибудь Кюстина и двух-трех наших выходцев, которые знают свое отечество еще хуже его. Церковь наша, во имя ко-

торой мы обнажили теперь меч, называется ересью; все учреждения считаются дикими, и личность беззащитною, литература безгласною, и вся история вчерашнею... Наше молчание, глубокое, могильное, утверждает их в нелепых мнениях. Они не могут понять, что можно было такие капитальные обвинения оставлять без возражения, и потому считают их положительными и истинными... Вот вред, происшедший от нашего пренебрежения общим мнением! Мы имели бы многих на своей стороне, если бы старались не только быть, но и казаться правыми». Против этих строк император оставил пометку: «Величественное молчание на общий лай приличнее сильной державе, чем журнальная перебранка»<sup>54</sup>.

Только на 1854 год есть данные, что русское правительство наконец в принципе одобрило идею издания заграничного официоза. Это сообщил посланник в Берлине барон А. Ф. Будберг в письме к предполагаемому редактору такого органа<sup>55</sup>. Вряд ли министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде мог бы тогда взять на себя ответственность за подобное решение.

Но, как показано будет ниже, нет оснований считать, что изменения в представлениях императора Николая I относительно роли печатного слова и значения цензуры на этом не остановились.

\* \* \*

**ТАКИМ ОБРАЗОМ**, нельзя сказать, что император Николай I «не понимал» значение народного просвещения. Но едва ли он стоял в этом вопросе намного выше среднего уровня представлений правящих верхов. Властный и независимый характер, большое трудолюбие, твердая воля, решительность и мужество брать на себя ответственность не гарантировали его от некомпетентности в специальных вопросах, в частности, и по данному ведомству. В целом он отдавал себе в этом отчет. Но собственный познавательный опыт детства и юности под руководством плохих педагогов из числа учебных не располагал его отводить делам ведомства народного просвещения место в эпицентре своей государственной деятельности или анализировать укоренившиеся в придворно-правительственной среде ко времени его вхождения в госу-

дарственные дела представления относительно народного образования, цензуры, печати. Среди высших чинов Империи наибольшим доверием и уважением Николая Павловича пользовались боевые генералы – ветераны наполеоновских войн, рядом с которыми С. С. Уваров, ученый с опытом дипломата и царедворца, им воспринимался явно прохладнее. Рядом с Николаем I, наряду с высокообразованными по понятиямalexандровского времени военными, такими, скажем, как П. Д. Киселев, М. С. Воронцов или А. С. Меншиков, было место и таким, например, как И. О. Сухозанет. Храбрый генерал, пострадавший при штурме Варшавы в 1831 году, он, будучи директором Академии Генерального штаба, запомнился ее воспитанникам как «невыносимо тяжелый для подчиненных», а также благодаря высказываниям наподобие следующего: «Наука в военном деле не более как пуговица к мундиру: мундир без пуговицы нельзя надеть, но и пуговица еще не составляет всего мундира!»<sup>56</sup> Человек уравновешенный и выдержаный, Николай Павлович как будто неторопливо и спокойно следил за трениями, возникшими у Уварова с И. Ф. Паскевичем, другими правительственными лицами, не спеша вмешиваться. Но Уваров всегда должен был быть готов к тому, что самодержец в поисках решения сложного вопроса по ведомству народного просвещения дополнительным объяснениям министра предпочтет сбор мнений широкого круга высших правительственных лиц. В этой связи весьма характерно, что в счастливый для своей политической карьеры 1843 год Уваров через третье лицо получил в категорическом тоне высочайшее повеление не представлять монарху никакого по своему ведомству дела, превышающего уровень министерской власти, без предварительного его обсуждения в Государственном совете<sup>57</sup>.

Поэтому министру Уварову было трудно рассчитывать на понимание императором того, что новые общественные явления 1840-х годов, в частности, замечаемые по литературе и журналистике изменения в запросах читающей публики, являются закономерным результатом многодесятиточных усилий Министерства народного просвещения, восходящих к самому времени его основания, рассчитывать на понимание Николаем Павловичем того, что эти изменения требуют известной

корректировки правительенного курса. Уваровские инновации, вносимые в политику, вытекали из такого представления о роли народного образования и печати в государстве, которое было явно выше среднего уровня правящих верхов. По мере умножения в стране контингента граждан из числа выпускников университетов, лицеев, пансионов, гимназий недовольство Уваровым росло среди высшей бюрократии у тех, кто желал бы избавиться от беспокойства, подвергнув административному пресечению нетрадиционные черты в поведении новых поколений, воспитанных учебными заведениями за время его управления министерством.

Чтобы в правительенной среде против деятельности Уварова открыто подняли осуждающий голос, нужен был только достаточный повод.

## Примечания

<sup>1</sup> Полиевктов М. А. Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918. С. 204.

<sup>2</sup> Кофф М. А. Материалы и черты к биографии Императора Николая I и истории его царствования. Рождение и первые двадцать лет жизни (1796–1817 гг.) // Сборник Императорского Русского Исторического общества. (Далее – сб. ИРИО.) Т. 98. СПб., 1896. С. 29–30.

<sup>3</sup> Епископ Леонид (Краснопевков). Из воспоминаний преосвященного Леонида о Московском митрополите Филарете // Русский архив. 1901. Кн. 2. № 8. С. 522.

<sup>4</sup> Сб. ИРИО. Т. 98. С. 30.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Татищев С. С. Император Николай I и иностранные дворы. СПб., 1889. С. 28.

<sup>7</sup> Плаксин В. Т. Император Николай

Павлович. (Рассказ из воспоминаний.) // Русская старина. 1880. Т. 29. № 11. С. 758.

<sup>8</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 17.

<sup>9</sup> Русская старина. 1880. Т. 29. № 11. С. 758.

<sup>10</sup> Завещание Николая I сыну // Красный архив. 1923. Т. 3. М.–Пг., 1923. С. 292–293.

<sup>11</sup> ПСЗ. Собр. П. Т. 1. № 464.

<sup>12</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти тт. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. 7. С. 33–35, 462.

<sup>13</sup> Русская старина. 1898. Т. 96. С. 354.

<sup>14</sup> Русская старина. 1880. Т. 29. № 11. С. 759.

<sup>15</sup> Оже-де Ранкур Н. Ф. В двух университетах. Воспоминания 1837–1843 гг. // Русская старина. 1896. Т. 86. № 6. С. 571–582.; Белов И. Д. Рассказ об императоре Николае I // Исторический

- кий вестник. 1885. Т. 20. № 5. С. 485–486; *[Ертигопров] Н. Н. Рассказы из прошлого // Исторический вестник.* 1890. № 8. С. 334–335; Эвальд А. В. *Рассказы об императоре Николае I // Исторический вестник.* 1896. Т. 65. № 7. С. 55; Соловьев С. М. *Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Собр. соч. в 18-и книгах.* Кн. 18. М., 1995. С. 617; Головачев Г./Ф. *Отрывки из воспоминаний // Русский вестник.* 1880. Т. 149. № 10. С. 698; Сокальский П. П. *Из воспоминаний о харьковском университете конца 40-х годов // Киевская старина.* 1906. Т. 93. № 5–6. С. 63–70; Мартынов П. К. *Дела и люди века. Отрывки из записной книжки, статьи и заметки.* Т. 1. СПб., 1893. С. 93; Шильдер Н. К. *Император Николай Первый.* Т. 2. СПб., 1903. С. 657, 722, 733; Милютин Д. А. *Воспоминания. 1816–1843.* М., 1997. С. 96–97, 102.
- <sup>16</sup> Жареев К. К. *Воспоминания // Исторический вестник.* 1898. № 9. С. 818.
- <sup>17</sup> Шиман В./М. *Император Николай Павлович. (Из записок и воспоминаний современника.) // Русский архив.* 1902. Кн. 1. № 3. С. 463.
- <sup>18</sup> Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XVII. № 8. С. 641, 649–651.
- <sup>19</sup> Бороздин К. А. *К характеристике императора Николая I // Исторический вестник.* 1885. Т. 21. № 8. С. 340–347.
- <sup>20</sup> Кафамзин Н. М. *Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях.* С. 42.
- <sup>21</sup> Петров Ф. А. *Российские университеты в первой половине XIX века. Формирование системы университетского образования.* Кн. 1. *Зарождение системы университетского образования в России.* М., 1998. С. 324–326.
- <sup>22</sup> См.: *Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета Св. Владимира.* Т. 1. Киев, 1884. С. 29–31, 39, 51–55.
- <sup>23</sup> Уваров С. С. *Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843.* С. 124, 142.
- <sup>24</sup> Шильдер Н. К. Ук. соч. Т. 2. С. 722; *Владимирский-Буданов М. Ф. Ук. соч.* С. 290–291.
- <sup>25</sup> Рождественский С. В. *Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения.* С. 308.
- <sup>26</sup> См.: *Владимирский-Буданов М. Ф. Ук. соч. Приложение VII.*
- <sup>27</sup> Рождественский С. В. *Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения.* С. 306, 308.
- <sup>28</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 31–31 об.
- <sup>29</sup> Щербатов [А. П.] *Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность.* Т. 5. 1832–1847. СПб., 1896. С. 17–18, 67–72, 125, 186–187. Приложения к т. 5-у. СПб., 1896. С. 268–276, 395.
- <sup>30</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 37 об.–38.
- <sup>31</sup> Рождественский С. В. *Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения.* С. 314.
- <sup>32</sup> Там же.
- <sup>33</sup> Правда, следует отметить, что это было намного больше, чем в Александровское время. Так, например, в 1823 году в 29 гимназиях Царства обучалось 4500 человек. (*Ашкенази III. Царство Польское.* М., 1915. С. 43.)
- <sup>34</sup> Щербатов [А. П.] Ук. соч. Т. 5. С. 200–202, 240–241. 248–252.
- <sup>35</sup> Рождественский С. В. *Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения.* С. 310.
- <sup>36</sup> Грудев Г. В. *Из рассказов // Русский архив.* 1898. № 11. С. 433.
- <sup>37</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 40.

- <sup>38</sup> Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XVII. № 8. С. 683–684.
- <sup>39</sup> Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. (Далее – ОР РНБ.) Ф. 531. Ед. хр. 46. Л. 132.
- <sup>40</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 40.
- <sup>41</sup> ГА РФ. Ф. 672. Д. 326. Л. 4, 4 об.–6 об., 16–16 об.
- <sup>42</sup> Там же. Л. 12.
- <sup>43</sup> Цит. по: Харташевич М. Ф. Ученое сословие в России. Императорская Академия наук второй четверти XIX века. СПб., 1999. С. 32.
- <sup>44</sup> Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. С. 246, 248.
- <sup>45</sup> Харташевич М. Ф. Ук. соч. С. 204–205.
- <sup>46</sup> Там же. С. 82, 83, 84, 85.
- <sup>47</sup> Там же. С. 75–80, 80–82, 210.
- <sup>48</sup> Цит. по: Харташевич М. Ф. Ук. соч. С. 193.
- <sup>49</sup> Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 41.
- <sup>50</sup> Шилдер Н. К. Ук. соч. Т. 2. Приложение. XIV.
- <sup>51</sup> Ольга Николаевна. Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны. 1825–1846 // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 280.
- <sup>52</sup> Щербатов [А. П.] Ук. соч. Т. 5. С. 305–306.
- <sup>53</sup> Там же. С. 306–307. Приложения к т. 5-у. С. 504–505.
- <sup>54</sup> Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Т. 1. Приложения. СПб., 1908. С. 150–151.
- <sup>55</sup> Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. Оп. 469. Д. 18. Л. 398 об. Данный факт обнаружен студентом кафедры истории России XIX–начала XX вв. Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Д. В. Петровым при выполнении дипломной работы на тему «Газета Le Nord как орган русской печати за границей: дискуссии по крестьянскому вопросу накануне отмены крепостного права», защищенной в 2002 году.
- <sup>56</sup> Цит. по: Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке». Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Спб., 1998. С. 46.
- <sup>57</sup> Харташевич М. Ф. Ук. соч. С. 51.

## От Меншиковского комитета до отставки С. С. Уварова

Наступил 1848 год. Внимание русского двора и правительства поглотили европейские революционные события. Охватившая всех тревога пробудила и выдвинула на первый план застарелые сомнения, касавшиеся политики внутренней. «Между нашими, — писал М. А. Корф, — особенно между высшою аристократиею много трусоватых, которым везде представляются уже возмущения, поджоги, убийства и которые нескрытно проповедуют, что каждому надобно готовиться к последнему часу и к мученической смерти»<sup>1</sup>. Среди впечатлительного поколенияalexандровского времени многим казалось, что новые европейские катаклизмы, подобно наполеоновским войнам, неминуемо затронут и Россию, что как будто начало подтверждаться разоблачением в апреле 1849 года «заговора идей» — кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Тот же С. С. Уваров, впоследствии, без малейшей тени недоумения писал в воспоминаниях, что и «у нас, как и везде, был неизбежен контрудар... Тогда Император, на мгновение потрясенный, под влиянием совершенно неожиданных событий в узком кругу своих замыслов подверг последовательному экзамену шестнадцать или семнадцать лет моего управления»<sup>2</sup>.

На другой день после получения в Петербурге известий о падении Июльской монархии во Франции, 25 февраля 1848 года, в кабинет царя вошел начальник III Отделения граф А. Ф. Орлов. В руках у шефа жандармов, которого Николай I считал

своим личным другом, был доклад, где доказывалось, что цензура Министерства народного просвещения сделала-таки «упущения», ибо среди отечественной периодики появились два издания «сомнительного направления». Одним из них назван был журнал «Современник», ответственным издателем которого являлся цензор А. В. Никитенко – доверенное лицо министра С. С. Уварова.

На известия из Парижа Орлов реагировал сдержанно. Его общие суждения, почерпнутые из бесед, Корф, до некоторой степени ими успокоенный, запечатлел в своем дневнике: «... главный оплот наш, если не против каких-нибудь частных и временных беспорядков, которые нетрудно в ту же минуту погасить, то по крайней мере против народной... общей революции, в том, что у нас нет ни элементов для нее, ни орудий, разумеется, если войска, т. е. офицеры, ибо солдаты наши идут по воле офицеров – *точно* за Правительство. Элементов нет, потому что свобода книгопечатания, народная презентация, народное вооружение и прочие, наполняющие теперь Запад идеи, для девяти десятых русского народонаселения – совершенная ахинея, одна же идея, доступная нашему мужику, идея вольности, т. е. своеволия нашла бы отголосок разве только в имениях мелких, бедных и угнетенных помещиками; но этот рудник тоже слишком слаб против целой массы населения. *Орудий* нет потому же, почему нет и элементов. Чем подвинешь нашего простолюдина в столице сплотиться в массу для произведения каких-либо беспорядков, если нет в помощь тому каких-либо народных бедствий, как, например, в 1831 г. была холера»<sup>3</sup>. Доклад Орлова «О журналах «Современник» и «Отечественные записки»», подготовленный, возможно, управляющим III Отделением Л. В. Дубельтом, подводил итог многолетним наблюдениям тайной полиции за популярной журналистикой.

Чем же в эпоху «тридцатилетнего молчания» печать внушала к себе подозрение?

1830–1840-е годы были для русского общества началом «философского пробуждения». У интеллигентально-ведущих представителей образованной публики той эпохи общие вопросы мировоззрения обыкновенно оттесняли политику и экономику на второй план. Репрессивно-карательные орга-

ны Империи, ориентированные на поиск тайных обществ, раскрытие антиправительственных заговоров, пресечение подозрительных «рассуждений политических», долгое время не улавливали значения салонно-кружковых споров славянофилов и западников о соотношении религии и науки, о прогрессе и традиции, об исторических путях России и Запада. Политическая публицистика могла иметь хождение лишь в виде «рукописной литературы», писем. Печать для нее была закрыта. Но доступ туда оставался в достаточной мере для литературной критики. При широком толковании понятия «литература», которое бытовало в то время, в осторожной форме ставить общемировоззренческие вопросы, волновать мысль читателя, пробуждать в нем потребность в рефлексии на неприземленные, так сказать, сверхобыденные темы было возможно и в подцензурной печати. Полуторадесятилетняя журнальная деятельность самого популярного литературного критика 1840-х годов – В. Г. Белинского – есть лучшее тому доказательство. «Чрезвычайным счастием должно считаться то, – писал сочувствовавший ему П. В. Анненков, – что тогдашняя цензура не угадала в Белинском на первых порах моралиста, который под предлогом разбора русских сочинений занят единственнымисканием основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование. Впоследствии она распознала в нем влиятельного писателя и всемерно старалась не допускать применение его идей к историческим лицам и современности, но и при том способе понимания деятельности Белинского она отчасти все-таки продолжала считать его за человека, производящего преимущественно малопонятную, неуместную чепуху, которая может быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тем более, чем сильнее и подробнее высказывается»<sup>4</sup>.

Но от жандармов не укрылось, что деятельность Белинского придает «новой» журналистике «особенный характер» и определяет сходство «Отечественных записок» и «Современника» «в духе и направлении». Обращала внимание повышенная критичность и резкость суждений – «грубый тон». «... Неуважение к литературным знаменитостям, – говорилось в докладе

Орлова, — может приводить молодых людей к неуважению всего, к чему народ питает благоговение». Замечено было, что авторы обоих журналов вводят в оборот иностранные слова: «принципы, прогресс, доктрина, гуманность и проч.» и тем самым «пишут темно и двусмысленно; твердят о современных вопросах Запада»<sup>5</sup>. На это же обратил внимание и М. А. Корф, частенько почитывавший периодику. Он находил в Белинском много «дарования» и «мысли». «Ему собственно должно приписать то зловредное направление, — записал барон в своем дневнике 6 мая 1848 года, узнав о смерти критика, — которое в последние годы приняли наши журналы»<sup>6</sup>.

Общественное движение всегда переплеталось с литературным процессом. Начало «философского пробуждения» в 1830–1840-е годы сопровождалось появлением у литературы жизнестроительного пафоса. В это время, писал С. А. Венгеров, «служение потребностям жизни и взгляд на литературу как на учительную кафедру всецело завладевает умом и сердцем людей, стоящих во главе литературного движения»<sup>7</sup>. Творчество писателей «натуральной школы» фокусировало внимание читателя на нравственно-социальных болезнях. III Отделение это настораживало: «... если все наши литераторы обратятся к подобным сочинениям и публика не будет читать ничего другого, кроме произведений Натуральной школы, то в народе, сверх уничтожения чистого вкуса, могут усиливаться дурные привычки и даже дурные мысли»<sup>8</sup>.

Тяжелый цензурный пресс во второй четверти XIX века тормозил, сдерживал рост влияния печатного слова. Удельный вес читающей публики в обществе увеличивался очень медленно. Н. А. Энгельгардт в своем очерке сделал на 1843 год примерный подсчет количества постоянных читателей по числу подписчиков девяти наиболее заметных периодических изданий. Газета «Северная пчела», журналы «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Современник» в среднем выходили тиражом до 3 тысяч экземпляров, журнал «Москвитянин», газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» — до 500 экземпляров. Итого, примерно, 12–15 тысяч подписчиков<sup>9</sup>. Но относительно высокий уровень общественного образования, интеллектуальная самоактивность и литературное честолюбие, «метафизический

голод», потребность в учащем слове неотвратимо вели при малейших благоприятных условиях к появлению периодических изданий с «направлением». При малейшей цензурной «отдушине» самодеятельная общественная мысль проникала в печать. В 1848 году пользовавшийся доверием и поддержкой С. С. Уварова А. В. Никитенко, весьма доброжелательный цензор, оставался издателем «Современника». На это обратил внимание Корф: «... Никитенко... дает тут только свое имя, а душой журнала три молодых человека: Панаев, Некрасов и Белинский...» Тираж «Современника» с 233 экземпляров в 1846 году поднялся через год до 2 тысяч, а еще через год до – 3100<sup>10</sup>. «Отечественные записки», где Белинский сотрудничал семь лет, имели к тому времени до 4 тысяч постоянных читателей против прежних 1200 в 1839 году. Негодовавший Корф писал в дневнике, что у Уварова цензоры «все на подбор отъявленные дураки и под щитом их глупости журналы печатают Бог знает что»<sup>11</sup>. «... Вникнув в точный смысл наших писателей, – говорилось в докладе Орлова, – всякий убедится, что они рассуждают только об успехах наук и словесности. Нет сомнения, что Белинский, Краевский и их последователи... не имеют в виду ни политики, ни коммунизма, но в молодом поколении они могут поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизме... Обязываюсь повторить, что «Современник» и «Отечественные записки» суть лучшие наши журналы... – подчеркивал Орлов. – Поэтому надобно сожалеть, что журналы эти впадают в крайность и сами себе дают вид чего-то сомнительного». Но виноваты в том, по мнению жандармов, не столько авторы, сколько цензоры, «ибо если слаб присмотр, то всегда найдутся люди с попытками печатать худое и даже злоумышленное». Следовательно, чтобы Белинский и другие авторы «изменили свои мысли, или мнения их не имели бы ни гласности, ни значения», нужно попросту усилить бдительность.

Итак, жандармское ведомство новые тенденции в литературе и журналистике видело, и его опасения в исторической перспективе в целом были верными, но выдвигаемые меры противодействия отнюдь не блистали дальновидностью. Нехитрые предложения Орлова сводились к тому, чтобы «усилить строгость цензуры и надзор за самими цензорами», да-

бы те не пропускали «не только прямо преступных мыслей, но даже коммунистических и политических намеков, сомнительных выражений о стремлениях к вопросам Запада; останавливали бы грязные сочинения Натуральной школы», «отвергали бы неприличные отзывы о прежних знаменитых писателях наших и вообще о предметах, к которым благомыслящие люди питают уважение», и, конечно, особо строго надзирали бы за двумя сомнительными журналами и статьями В. Г. Белинского<sup>12</sup>.

Возбуждению, которое вызвали революционные известия из Франции, сильно поддался М. А. Корф. В нем ожила давняя неприязнь к министру народного просвещения С. С. Уварову, который, по мнению Корфа, проявлял возмутительную небрежность: «... страшно взглянуть в каком положении это Министерство...» Негодяя на цензоров и журналы, особенно на два из них — «Современник» и «Отечественные записки», барон сгоряча прочил И. И. Панаева, Н. А. Некрасова и В. Г. Белинского во главу революционного «движения», «если б такое гневом Божиим должно было когда разразиться над Россией». 24 февраля Корф написал записку «О состоянии русской журналистики и о мерах к упорядочению ее» и, успокоив совесть размышлением, что рассказал «о фактах, а не о лицах» и тем удалил от себя «всякое обвинение в презренном доносе», подал бумагу цесаревичу. По общему своему тону записка объявляла тревогу: «Настоящее ужасное событие на Западе Европы указывает необходимость всячески охранять низшие наши классы от вторжения таких идей, которые могли бы влить на них... восприимчивость к злонамеренным политическим внушениям». Барон пространно доносил о характерных цензурных недосмотрах, утверждал, что ученые и литературные статьи в журналах «отзываются чем-то политическим», полны малопонятных слов и выражений: «Полезны ли... беспрестанно повторяемые в тех журналах возгласы о необходимости какого-то *прогресса* и каких-то *современных вопросах и интересах*». Он предложил увеличить число цензоров, повысить им жалованье и, что важно отметить, категорически высказался против совмещения должности цензора с обязанностями редактора или профессора<sup>13</sup>.

Николай I прочитал записку на другой день, 25-го, до появления Орлова. Ознакомившись с докладом начальника тайной полиции, император распорядился составить особый комитет под председательством морского министра князя А. С. Меншикова, чтобы выявить «упущения цензуры и ее начальства» и «которые журналы в чем вышли из своей программы». В него вошли бывший министр внутренних дел генерал-адъютант А. Г. Строганов, член Государственного совета Д. П. Бутурлин, статс-секретарь П. И. Дегай, Л. В. Дубельт и М. А. Корф.

Все они, за исключением Корфа, вопросами контроля за печатью не интересовались и периодику, судя по всему, почитывали редко. «... Вообще очень мало предвижу толку от этого Комитета, — размышлял Корф, — и желал бы одного: чтоб он скорее был закрыт. Текущий министр народного просвещения или хорош, или дурен. Если хорош, то существование такого комитета... только колеблет власть и парализирует личное действие; если дурен, то сложные коллегиальные формы не выполнят той быстроты и решительности, которая необходима в текущих обстоятельствах...» Меншиков принял поручение с большой неохотой, понимая, что это будет «род следствия» над министром Уваровым, и сразу же сделал визит последнему с изъявлением сочувствия, дабы тот знал, что он, Меншиков, — «не инквизитор»<sup>14</sup>. К. И. Фишер, ставший тогда правителем дел Комитета, в своих записках также свидетельствует, что морской министр по отношению к Уварову был настроен пассивно-благожелательно: «... он (Меншиков. — М. Ш.) поручил мне съездить к Уварову, предупредить его об интриге и просить у него каких-нибудь положительных средств к оправданию. Уваров дал мне с десяток делопроизводств...»<sup>15</sup> На заседаниях князь держался пассивно и «почти все время отмалчивался»; остальные, по словам Корфа, «хотя и говорили... часто очень много, но без всякого единства... кто в лес, кто по дрова...» «Цензурный комитет наш собирается, кажется, для того, чтобы после сказать, что он был собран», — записывал Корф в дневнике<sup>16</sup>. Просуществовав месяц, Комитет имел, несмотря на свой чрезвычайный характер, всего пять заседаний.

Первое, что предложили, — это сделать «внушение» редакторам журналов и цензорам. Решили, что последние его

получат в Главном управлении цензуры. Что касается редакторов, то в начале предполагалось, что с ними будут говорить в III Отделении, но впоследствии от этого пришлось отказаться. «Причиною тому гр. Орлов, который не хотел принять на свою часть этого поручения и с таким сердцем, что Государь ему уступил»<sup>17</sup>. 11 марта пятнадцать редакторов петербургских периодических изданий пригласили в Комитет и, прочитав заранее написанную бумагу, от имени императора предупредили, «что за всякое дурное направление статей их журналов, хотя бы оно выражалось косвенными намеками, они лично подвергнутся строгой ответственности независимо от ответственности цензуры»<sup>18</sup>.

Просмотрев двадцать пять периодических изданий за последние несколько месяцев, члены Комитета обобщили результаты своих поисков в довольно обширном журнале. «Современник» и «Отечественные записки» признавались изданиями «неблагонамеренного направления». Но вместе с тем, учитывая огромную популярность их у читателей, Комитет не рекомендовал их запрещать, по крайней мере, в течение года, поскольку это «произвело бы на публику неблагоприятное впечатление; все бросились бы к прежним расprodанным уже книжкам» или обратились бы к чтению иностранной литературы. Гораздо лучше будет, полагал Комитет, сделать особое замечание на сей счет издателям обоих журналов. Цензура Министерства народного просвещения признавалась виновной в «послаблении и неосторожности». Одной из причин этого Комитет счел несовершенство цензурных правил, которые, по его мнению, не только чинят цензорам «стеснения» в их многотрудном деле, но и вместе с тем недостаточны «в других отношениях». Министерству народного просвещения предлагалось приступить к незамедлительному пересмотру цензурного законодательства. Особым пунктом Комитет настаивал на необходимости запретить цензорам участие в редактировании периодических изданий, а также и другие занятия, в том числе и по службе<sup>19</sup>. Среди «самых злободушных статей» была особо выделена повесть М. Е. Салтыкова «Запутанное дело». «Тут под разными иносказаниями, — уверял Корф, — явно проповедовалось восстание против богатых и будущее торжество пролетариев»<sup>20</sup>.

С. С. Уваров попытался защитить свои действия, добиться понимания, насколько это еще могло быть возможным. 24 марта он подал императору довольно откровенный доклад «О цензуре». Министр постарался показать, что цензурная политика полна трудности и требует тонкости и щепетильности, поскольку объектом ее является относительно молодая часть пишущей и читающей публики, те, кто получил образование в самое последнее время, в 1830–1840-е годы. «Цензура при Министерстве Народного Просвещения разделяется на внутреннюю и внешнюю, для книг в России печатаемых, и на иностранную, для изданий, из чужих краев привозимых, — говорил Уваров. — В этом разделении, некоторым образом, отражается разделение читающей публики у нас, которую очевидно составляют два слоя: один высший, образованный Литературами Европейскими; другой низший, умственно обращающийся преимущественно в пределах Словесности Отечественной. Отношения цензуры к сему последнему более важны по своим последствиям и обратили на себя теперь особенное внимание... Русские писатели более или менее пишут под влиянием Европейских Литератур, которыми они образованы; сочинения же их обращаются преимущественно в руках собственно Русского читающего класса. На этой шаткой почве соприкосновения иноземного с отечественным поставлен цензор». Контроль над печатным словом, как область государственного управления, по самой своей природе всегда требует гибкости. Никакие инструкции цензорам, никакие заблаговременные предписания никогда не будут исчерпывать всех возникающих ситуаций, всех складывающихся обстоятельств, никогда не поспеют за развитием общественной мысли, выражаемой печатным словом: «Закон, по существу своему содержит в себе одни общие положения, а вся сила его, вся действительность является в применении к частным случаям, которые никому никак определить наперед невозможно... состояние же цензоров, самых опытных и способных, всегда неверное и опасное... Следить дух сочинителя, применяясь к различным событиям и обстоятельствам, чрезвычайно затруднительно. Требовать от цензора робкой во всем подозрительности, значит открыть путь несправедливому преследованию и боязливому стеснению писателей... Как

определит он черту между излишним и потому раздражающим недоверием к писателю и чрезмерною доверчивостью к его чистосердечию?» Непростую ситуацию, обусловленную развитием науки, состоянием литературы, восприятием их новшеств обыденным сознанием, политическими мечтаниями в обществе министр пробовал показать на примерах: «В последнее время к прежним опасениям цензоров присоединились новые: кроме охранения литературы от запада Европы открылся вред с другой стороны, которая, как близкая, современная нам, казалась совершенно безопасной. Иностранные славянские писатели избрали идею о Славянстве лозунгом для превратных мечтаний (панславистских идей за рубежом и сочувствия им в России русское правительство тогда остерегалось. — М. Ш.). Увлеченные чувством народности, отечественные писатели не могли не принять участия в разработке вопросов, тесно связанных с нашим народным бытием. Что может быть, по-видимому, безвреднее народной песни, повести, воззвания к соплеменникам о поддержании и совершенствовании языков и Литератур Славянских? А, между тем, и под литературными изображениями старины и преданий Славянских скрывались иногда намерения дурные. Дошло до того, что описание Руси до Петровской в сравнении и в противоположности с Россией, преобразованной Великим Императором, и прославление принятого Государством с его царствования направления, стали приниматься за опасное намерение изменить настоящее». И тем не менее, подчеркивал Уваров, цензурный надзор ни в коей мере не ослабевал. Все, кто так или иначе задействован для исполнения цензурных обязанностей и совершенствования контроля над печатью, работали и работают весьма напряженно: «Доказательств... бдительности, должно, по справедливости, искать не столько в том, что напечатано, всем видно и всяkim tolkуется, сколько в том, что не допущено к печати, не многим ведомо и не всеми оценивается... если к затруднениям цензуры присовокупить различные предубеждения и толки публики, не различающей ни времени появления сочинения, ни обстоятельств, при каких издавались книги, то должно сознаться, что эти затруднения и опасения простираются не на одних цензоров, но и на начальства, которые обязаны разрешать

недоразумения цензоров и жалобы писателей. Такими объяснениями и запрещенными рукописями наполнены цензурные архивы, и с ними совершается преимущественно работа Главного Управления Цензуры. Такие недоразумения вызвали немало подробнейших пояснений Устава и частных постановлений для руководства цензоров». Усилия и тяготы последних заслуживают понимания и снисхождения; безосновательные проявления недоверия также могут быть пагубными: «Чтоб быть беспристрастно справедливым в цензуре, должно обратить внимание на то, что цензор никогда или очень редко дозволит в печать что-либо явно вредное и опасное. Наибольший вред возникает от последующих толкований. Либо сочинитель скрыл свое дурное намерение так, что его не мог заметить цензор, а с ним и большая часть читателей: тогда шум и огласка распространяют этот вред; либо вредных намерений совсем не было, и они приданы произвольными толкованиями: тогда сии последние производят зло, дотоле небывалое». Понимая, что эффективность контроля над печатью при одних только полицейских мерах имеет тенденцию к снижению чем дальше, тем больше, Уваров напоминал императору о своем отвергнутом предложении 1843 года о соединении в одних лицах цензурной ответственности и редакторских обязанностей, обоснования которого он тогда же повторил графу А. Х. Бенкendorфу: «Наблюдая за ходом периодической литературы, я не мог не заметить систематического ее уклонения от начал ей предначертанных. В этой вседневной, непрерывной борьбе цензоров, — обремененных трудами суевтильными и подлежащими нападениям со всех сторон и взысканиями всякого рода, — с журналистами, считающими ненаказанность свою прямым следствием ответственности цензора, ими же вовлеченного в ошибку — являлись с одной стороны иногда слабости и недосмотры, а с другой обнаруживалось, более или менее, если не открытое сопротивление, то по крайней мере беспрерывное стремление уловить всеми средствами цензора и избегнуть точного исполнения неоднократных предписаний начальства». Министр не забыл упомянуть и о столкновениях разных ведомств в цензурных делах, порождающих сумятицу. Необходимость дополнений к цензурным правилам он прямо не отрицал, но выражал скепсис в отно-

шении того, что общее изменение Устава о цензуре может сделать контроль над печатью совершеннее, «да и самые обстоятельства настоящего времени делают неудобным коренное преобразование цензуры». Назначение А. Н. Очкина и А. В. Никитенко одновременно цензорами и редакторами Уваров оправдывал: «... от этого распоряжения не произошло никакого вреда», хотя к тому времени такое совмещение уже было императором запрещено по представлению Меншиковского комитета. Более того, Уваров предлагал Николаю Павловичу вновь рассмотреть те меры, которые тот отверг в 1843 году. При этом министр твердо заявлял, что считает их «нужными и ныне»<sup>21</sup>.

Самодержец повторных рекомендаций не принял. Он просто велел Уварову передать свой доклад в Меншиковский комитет. Незамысловатые суждения Орлова и Корфа, очевидно, более импонировали императору. Он распорядился сослать чиновника Военного министерства М. Е. Салтыкова в Вятку, обоих «подозрительных» издателей — А. В. Никитенко и А. А. Краевского — пригласить в III Отделение, где с них потом взяли подпиську о лояльности. В представлении Николая I цензура, таким образом, попадала в круг экстраординарных вопросов, которые он привык решать одним и тем же способом: поручать вневедомственному органу из доверенных лиц под своим личным контролем. Некоторое время он даже подумывал образовать новое отделение собственной канцелярии<sup>22</sup>, но 2 апреля 1848 года учредил секретный комитет по надзору за цензурой и печатью под председательством Д. П. Бутурлина. Приблизительно в это же время император получил от великого князя Константина Николаевича записку князя П. А. Вяземского. Читавший ее Корф утверждал, что она «в том же самом духе», что и его<sup>23</sup>. Спустя тринадцать лет ее читал официальный историк П. К. Щебальский. Фрондер 1820–1830-х годов, Вяземский писал, в частности, что в современных сочинениях «каждое слово есть обиняк. Литература наша, и особенно некоторые из петербургских журналов, исполнены этих обиняков и намеков...»<sup>24</sup> — замечание вполне тогда расхожее. Николай I предложил Комитету взять Вяземского в сотрудники, но, видимо, или сам Комитет этого не пожелал, или, что еще вероятнее, самолюбивый князь от участия в нем отказался.

С началом деятельности Комитета 2 апреля министр народного просвещения низводился до уровня исполнителя его указаний и фактически терял возможность лично влиять на цензурную политику. Разумеется, негласный надзор сразу же дал себя знать литературной среде. Комитет «действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать... — отмечал Никитенко. — Цензора все свои нелепости сваливают на Комитет, ссылаясь на него как на пугало, которое грозит наказать за каждое печатное слово»<sup>25</sup>.

В мае 1848 года император распорядился ограничить число своекоштных, то есть находящихся на собственном материальном обеспечении, студентов университетов на всех факультетах, кроме медицинского и богословского в Дерпте, тремястами человек. На публику это произвело самое гнетущее впечатление. В числе тех, кому это совершен но не нравилось, был и Корф. Он поначалу думал попытаться что-нибудь сделать и даже заготовил записку. Все русские университеты, писал он, окончательно организованы лишь каких-нибудь тридцать-сорок лет назад. Но после того они длительное время еще оставались пустыми или полупустыми: «... в самом дворянстве не существовало еще истинной потребности учиться». Понадобились дополнительные правительственные усилия, например, указ об экзаменах на чин. «... стремление давать юношеству высшее образование порождено было только указом 6<sup>го</sup> августа 1809 года...» «Отсюда ясно, что когда в других государствах потребность в высшем образовании родилась из самой жизни народной и из общественного также быта, у нас она произведена единственно действием правительства». Новое распоряжение чрезвычайно противоречит этим полувековым усилиям: «... не будет ли это как мать, которая выучив младенца своего читать и внушив ему охоту к чтению, потом сама отняла бы от него все книги?» Революционное брожение среди студенчества европейских университетов «едва ли может доказывать что-либо против наших... Университеты английские гораздо еще многочисленнее немецких, но где же до сих пор оказывается на опыте их вред?» Ведь, что самое главное, университеты дают людей, приготовленных ко всем отраслям государственной службы. «... Большим однако несчастием будет, если

уменьшится число знающих и образованных чиновников, в котором и теперь совсем нет еще избытка». Тем более, что это, по мнению Корфа, самые лучшие кадры. «Замечательно даже, — писал он, — что во всех наших канцеляриях *лучшие по нравственности и чувству долга чиновники, обыкновенно далеко превосходящие воспитанников всех других учебных заведений* суть именно университетские студенты (курсив мой. — *M. Ш.*)». В конце концов все равно все зависит от администрации: «И триста молодых людей в Университете, если нет за ними должного надзора умственного, нравственного и административного, могут быть гораздо вреднее тысячи». Неодобрения, полагал Корф, заслуживает всесословность университетов — «явление столь же странное, сколько и несовместимое со всеми нашими государственными учреждениями»<sup>26</sup>. Барон хотел было вручить записку цесаревичу, но раздумал: «Государь не отходит так скоро от принятых мер, особенно, когда они пошли от него непосредственно, и наследник, если бы и убедился в справедливости моих замечаний, едва ли бы решился протестовать»<sup>27</sup>.

С. С. Уваров, как и многие, был взволнован событиями, «действие которых дало себя почувствовать от одного конца Европы до другого»<sup>28</sup>. 18 марта 1848 года по его предложению был прекращен доступ в Россию преподавателям-иностранным. 19 марта он запросил попечителей учебных округов о состоянии умов в учебных заведениях — ответы были успокоительные. Осенью он лично обревизовал Московский университет и подал императору успокоительный доклад «О духе университетского юношества». Учреждение негласного надзора за цензурой и печатью наносило ему моральный урон в глазах придворно-правительственной среды, но он как будто бы не терял решимости приспособиться к новым обстоятельствам с минимальным ущербом для результатов своего шестнадцатилетнего управления Министерством. «Граф Уваров лично и собственно для себя дорожил своим министерским положением...» — вспоминал Г. А. Щербатов<sup>29</sup>.

Заключения Комитета 2 апреля приводились в действие от имени императора, которое ставилось таким образом в прямые отношения с публикой, причем по вопросу довольно мелкому в масштабах всей правительственной деятельности.

Теперь всякое возможное недовольство должно было неминуемо обратиться не на того или иного министра или другого представителя высшей бюрократии, а на самого монарха, что создавало предпосылку для острого конфликта в целом между верховной властью и общественным мнением. Уваров это отлично понял. В специальном письме он сообщил свои опасения начальнику III Отделения А. Ф. Орлову и высказал мысль, что лучше бы было, если замечания Бутурлинского комитета оглашались для исполнения за подписью его, Орлова. Председатель Комитета Д. П. Бутурлин в целом давал на это свое согласие. «... Это вытекало бы из самой природы Ваших обязанностей, — писал министр шефу жандармов, — и во всяком случае, когда бы появились исправления или улучшения, они были бы открыто переданы, тогда как указание, исходящее от Его Величества делает невозможным всякие переговоры...» То есть если бы цензоры, авторы и издатели могли давать объяснения пусть хотя бы в III Отделении, это немного разряжало бы атмосферу страха и недовольства<sup>30</sup>. По этой же причине известие об учреждении Высшего цензурного комитета с крайним неудовольствием воспринял и Корф, которого к тому же назначили его членом: «Как в эту минуту ему (то есть императору. — М. Ш.) привлекать к непосредственному своему ведомству часть такую гнусную... каковая цензура, всегда предполагающую приостановление развития умственной в народе деятельности!»<sup>31</sup> Неизвестно, предпринял ли что-нибудь Орлов, но общее положение никак не изменилось.

В начале 1849 года в столицах стали распространяться слухи о возможном закрытии университетов. В петербургском обществе даже появилась анонимная записка с подобным предложением. Основательность слухов в глазах публики подкрепляли нелепые действия цензоров и таинственный негласный комитет. «... ничего невозможного в этих слухах нет», — отмечал А. В. Никитенко<sup>32</sup>. По-видимому, зная, на что конкретно по части народного образования нападали его противники, Уваров решил сделать отдельные уступки относительно учебных программ. 21 марта 1849 года было проведена так называемая бифуркация: начиная с четвертого класса гимназии вводилось разделение курса в зависимости от

будущего предназначения учащихся. Изучение древних языков сохранялось для желавших поступать в университет, причем столь любимого Уваровым греческого, — лишь для тех, кто готовился на первое (историко-филологическое) отделение философского факультета. С весны 1848 года в университетах было приостановлено преподавание государственного права европейских стран. Заграничные командировки были отменены. По предложению министра, внесенному, очевидно, тоже в порядке уступки своим критикам, чин 14 класса при поступлении на государственную службу стал присваиваться только тем выпускникам гимназий, которые имели право поступать на таковую по происхождению. Уваров написал специальное «Обозрение управления Министерством народного просвещения» — довольно краткую, но выразительную апологию своей административной деятельности. В начале он очертил масштаб задачи, стоявшей перед ним к 1830-м годам. Надлежало «все разбросанные части общественного воспитания привести к одному знаменателю, составя из оных полную систему публичных учебных заведений». Требовалось поставить их на такую степень совершенства, «чтобы, заслуживши общее доверие родителей, побудить сих последних, особенно в высших классах без гласного изъявления Высочайшей воли, к решимости отдавать сыновей в публичные заведения; и тем мало помалу уничтожить частное воспитание и удалить иноземных воспитателей.» Ввести в преподавание «дух Русский, под тройственным влиянием Православия, Самодержавия и Народности, возбуждая в умах уважение к Отечественной Истории, к Отечественному языку, к Отечественным учреждениям». При этом Уваров особо выделил необходимость в губерниях «от Польши возвращенных» и в Остзейском крае, «куда не проникал русский язык», водворить его изучение. И, наконец, требовалось для всех учебных заведений подготовить в достаточном количестве отечественные кадры. И вот теперь после шестнадцати лет трудов, «руководимых Его Величеством и которые, — подчеркивал Уваров, — производились беспрерывно под Собственным наблюдением Государя Императора» достигнуты следующие результаты. Образование молодого поколения перешло всецело в руки правительства. Частные пансионы

постепенно закрылись «без всякого прямого распоряжения Министерства». В нынешнем, 1849, году из 3822 студентов 2748 принадлежат к дворянству. В полонизированных западных губерниях русский язык, ранее «мало известный и ненавистный», теперь водворен совершенно, аналогично и в остзейских губерниях. «Преподавание повсюду приоровлено к Отечественному началу», чему отменно способствовали огромные издания Археографической комиссии, Академии наук и разные прочие полезные труды по русской истории, филологии, языкоznанию. «Можно без преувеличения сказать, — писал Уваров, — что новое поколение лучше знает Русское и по-Русски чем поколение наше». Университеты и Главный педагогический институт поставляют обильный запас молодых учителей, которые пополняют не только заведения Министерства, но и женские, и военные учебные заведения. Уваров упомянул учреждение клиник при университетах, учреждение Пулковской обсерватории, научные экспедиции, преподавание восточных языков в Казанском университете. Сообразовываясь с настроениями, навеянными европейскими революционными событиями, министр тактично упомянул «о необходимости удерживать в ближайших границах умы юного поколения с некоторым изменением в объеме преподавания, в числе учащихся и особенно в разборе состояний, допускаемых до высших степеней образования», но при всем этом Уваров решительно брался доказывать, что этими вопросами он занимался «гораздо прежде пагубного 1848 года», и притом в течение многих лет, принимал необходимые меры по повелению императора и по своему почину, и вообще Министерство «никогда не теряло в виду ни удержания развития юного поколения в надлежащих пределах, ни брожения умов вне Империи, всегда наблюдая, чтобы дух учебных заведений был по мере возможности огражден от заразы мнимого Европейского просвещения, не совместимого ни с нашими учреждениями, ни с благоденствием Отечества». И если среди студенчества или гимназистов, заключал Уваров, несколько незрелых юношей и увлеклись западными эгалитарными учениями, то ничего похожего не было и нет среди преподавателей и других чиновников Министерства народного просвещения<sup>38</sup>.

По существу «Обозрение» можно изобразить только в одном слишком явном полемическом преувеличении. Закрытие частных пансионов еще не означало полного исчезновения частного воспитания, как выразился Уваров<sup>34</sup>, но число частных заведений действительно уменьшалось. По официальным данным в 1848–1849 годах открылось 81 новое училище, закрылось 86<sup>35</sup>.

Остается пока неизвестным, пришлось ли Уварову где-либо огласить свое «Обозрение». Но знаменательно то, что он был готов в любом правительственном собрании вести развернутую оборону своей системы управления, призывая в свидетели самого императора. Он готов был решительно доказывать, что его политика прямо вытекала из всего предшествующего опыта строительства в России полновесной системы народного образования, и самым резким его критикам даже попытаться это опровергнуть было отнюдь не просто.

В марте 1849 года Уваров инспирировал в «Современнике» статью профессора И. И. Давыдова «О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании». Рассуждая о высоком значении университетов, автор стремился «обнаружить легкомыслие поверхностных мечтателей и уличить их в несправедливости» к высшим учебным заведениям. Статья была весьма эмоциональной, но об угрозе существованию университетов в общем говорилось довольно глохно: автор горячо спорил с неким ошибочным мнением, принадлежность которого не указывалась<sup>36</sup>. Комитет 2 апреля, не имея ни малейшего представления об инспирации, усмотрел в этой статье пагубную для существующей правительственный системы апелляцию к общественному мнению: «... явление столь же новое, сколь и недопустимое в общественном нашем устройстве. Если допускать подобные статьи, — говорилось в журнале, — то не будет преднаречаний правительства, которые, сделавшись как-либо известными в публике, не могли бы быть опровергнуты в виде возражений против мнимых частных мнений»<sup>37</sup>. 21 числа Уваров подал императору доклад, где защищал Давыдова, всю ответственность за статью брал на себя и обвинял Комитет в произволе. Министр, по сути дела, заявлял, что при таких условиях руководить цензурой не может. Если «Комитет, стоящий вне Министерства, и без сношений с оным, не требуя никаких предварительных объяснений и не

имеющий в виду никаких справок, делает свои заключения, кои по Высочайшему одобрению принимают силу закона, — недоумения и столкновения были и будут неизбежны». Уваров предлагал отделить всю цензуру от Министерства народного просвещения или хотя бы цензуру газет и журналов и передать ее в ведение негласного комитета, дабы тот сам «давал направление» литературе и сам отвечал бы «за собственные свои распоряжения». Министр писал, что охотно посвятил бы больше времени науке и просвещению<sup>38</sup>. Но Николай I ничего менять не пожелал. «Государь говорил Орлову, — писал Корф, — что Уваров его не понял, и что Комитет учрежден для того, чтобы заменить его, Государя, которому некогда все читать». Корф и сам полагал, что негласный надзор не столько делает цензуру эффективной, сколько вносит хаос: «... я всегда говорил с самого начала, именно, что эти две власти совокупно никак существовать не могут»<sup>39</sup>. Но если в дневнике барон это действительно «всегда говорил», то заикнуться на сей счет императору, хотя бы с кем-нибудь вместе, и пытаться не думал.

Выполняя утвержденное самодержцем постановление Меншиковского комитета, Уваров 3 апреля 1848 года образовал ведомственный Комитет по пересмотру цензурного устава<sup>40</sup>. В пользу же обновления устава министр нисколько не верил. В сентябре 1849 года на обсуждение в Государственный совет был вынесен проект нового Устава о цензуре — заурядный образец бюрократического формализма. В устав 1828 года вносились дополнения, разъяснения, поправки и тому подобное последующих лет, некоторые пункты были переформулированы, вместо Главного управления цензуры придумали цензурный департамент со своим особым делопроизводством. Стараниями члена Департамента законов М. А. Корфа проект попал в конце концов в Комитет 2 апреля, и там его окончательно «похоронили». В толстом журнале Корф и его коллеги раскритиковали все от начала до конца, согласившись лишь с мелкими предложениями, вроде изменения на местах численности цензоров<sup>41</sup>.

Дело о преобразовании цензуры еще не было закончено, когда Уварова разбил паралич. За несколько месяцев до этого он похоронил свою жену. Пока министр находился на одре болезни, Николай Павлович учредил еще один секретный орган,

существование которого третировало Министерство, — Комитет для пересмотра «постановлений и распоряжений по части Министерства народного просвещения» или «по пересмотру учебных уставов»<sup>42</sup>, куда так же, как и в Высший цензурный комитет, не вошел никто из ведомства народного просвещения. Несколько оправившись от недуга, Уваров решил, что лучшего повода подать в отставку у него не будет. «Уваров... много вытерпел в последнее время своего министерства, — вспоминал А. В. Никитенко. — Когда он зашатался на своем месте, многое ему уяснилось, и мне приходилось не раз быть свидетелем его скорби. Тогда и я лучше узнал этого человека и мог оценить его хорошие стороны — его несомненный ум, который во время его силы часто заслонялся тщеславием и мелким самолюбием»<sup>43</sup>. Сергей Семенович писал впоследствии, что этот его шаг «скорее поразил Императора, чем застал врасплох. С первого же момента он не только уступил моему желанию, но сохранил за мной все, что я счел приличным не покидать, включая звание члена Государственного совета»<sup>44</sup>. Поражен был скорее Корф, который однако этого давно желал и не сдерживал злорадства: «Какой-то стих приищет он теперь в своих Римских или Греческих классиках для своего утешения!»<sup>45</sup> Утешением больному Уварову были дружеские сочувственные визиты великой княгини Елены Павловны, в салоне которой собирались будущие архитекторы Великих реформ. Через некоторое время Уварову был пожалован орден Св. Андрея Первозванного. «... Совершенно неожиданно для меня, — писал Сергей Семенович, — и еще более неожиданно для тех, кто выступал в качестве моих противников»<sup>46</sup>. Горьковатую пилюлю задним числом позолотили. Награду сопровождал довольно милостивый рескрипт, написанный лично самим императором.

Ведомство народного просвещения принял товарищ министра при Уварове князь П. А. Ширинский-Шихматов. В учебные планы университетов из охранительных соображений продолжали вноситься коррективы: в 1850 году упразднили преподавание философии, а преподавание оставленных в планах логики и психологии возложили на профессоров богословия...

Министр был лишен самостоятельности в области цензуры и стоял перед угрозой ее потери в отношении народного просвещения.

\* \* \*

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ТРЕВОГА 1848–1849 годов, вызвав в русской правительенной среде напряжение в ожидании развязки европейских революционных событий, всколыхнула давние предубеждения, сомнения, опасения, связанные с политикой в отношении печати и народного образования. Разбуженные — как это бывает в таких случаях — личная неприязнь, неудовлетворенное честолюбие и мелкая зависть избрали своей мишенью министра народного просвещения С. С. Уварова. Но те, кто привлек внимание императора к цензуре и, следовательно, к народному образованию, увидев ближайшие результаты своих дел, как будто даже начали спохватываться. Печать и система учебных заведений несомненно были той отраслью управления, где Николай I был наименее компетентен. Ошибочность принимаемых им решений была очевидна. Секретный надзор за цензурой и печатью запутывал и без того недостаточно разграниченные функции отдельных органов правительства, вселял страх и отчуждение между различными группами функционеров, то естьставил данную отрасль управления на грань дезорганизации, серьезно компрометирующей правительство.

Но главные инициаторы усиления надзора за печатью — М. А. Корф и А. Ф. Орлов — не доверяли друг другу. Корфу застилала глаза антипатия к Уварову и собственные мелкие амбиции. Уваров отчетливо ощущал себя объектом интриги. Первые же двое почти совсем не предвидели последствия столь опасно вырисовывавшегося правительенного курса. Переоценивший себя самодержец не оставил рядом никого, кто мог бы его подстраховать в делах цензуры и просвещения, и будущие осложнения сделались неизбежными.

## Примечания

- <sup>1</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 158.  
Запись 16 марта 1848 года.
- <sup>2</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122.  
Л. 42.
- <sup>3</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 144  
об.-145.
- <sup>4</sup> Аникиков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 127.
- <sup>5</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б. Л. 13, 14, 15.
- <sup>6</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Л. Ч. XI. Л. 200.
- <sup>7</sup> Венгеров С. А. Ук. соч. С. 12-13.
- <sup>8</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б. Л. 14 об.
- <sup>9</sup> См.: Энгельгардт Н. А. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703-1903). СПб., 1904. С. 160-161. По данным 8-й ревизии (1835 год) население России составляло 60 млн. человек, по данным 9-й (1851 год) - 69 млн.
- <sup>10</sup> Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. С. 456, 544.
- <sup>11</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 138.  
Запись 25 февраля 1848 года.
- <sup>12</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б. Л. 16-17.
- <sup>13</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 137  
об.-139. Д. 2074. Л. 1-6; Ф. 109. Оп. 23  
(I экспедиция, 1848 г.). Д. 149. Л.  
106-108 об. Записка опубликована в журнале «Голос минувшего». См.: 1913. № 3. С. 219-221.
- <sup>14</sup> Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Т. 2. СПб., 1903. С. 634. (Из дневника А. С. Меншикова.)
- <sup>15</sup> Исторический вестник. 1908. № 2.  
С. 834.
- <sup>16</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 146  
об., 167, 161.
- <sup>17</sup> Шильдер Н. К. Ук. соч. Т. 2. С. 634.
- <sup>18</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б. Л. 106-106  
об.
- <sup>19</sup> Там же. Л. 211-228. Журнал заключительного заседания был опубликован В. И. Семевским в «Голосе минувшего». См.: 1913. № 4. С. 212-219.
- <sup>20</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 192.
- <sup>21</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б. Л. 168  
об.-169, 171-171 об., 172 об.-173, 174  
об.-175, 176-179, 181-183. Доклад «О цензуре» мною опубликован. См.: Река времен. (Книга истории и культуры.) Кн. 1. М., 1995. С. 72-77.
- <sup>22</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 164  
об.
- <sup>23</sup> Там же. Л. 176 об.
- <sup>24</sup> Исторические сведения о цензуре в России. Спб., 1862. С. 65-66.
- <sup>25</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. I. С. 312, 363.
- <sup>26</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XII. Л.  
46-48 об.
- <sup>27</sup> Там же. Л. 146-146 об.
- <sup>28</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122.  
Л. 41 об.
- <sup>29</sup> Санкт-Петербургские ведомости.  
1869. № 334. С. 4.
- <sup>30</sup> ГА РФ. Ф. 109. Оп. 23. (I экспедиция, 1848 г.) Д. 149. Л. 21-23 об.
- <sup>31</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 164  
об.-165.
- <sup>32</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. I. С. 321.
- <sup>33</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 38.  
Л. 20-28 об. См. полный текст документа в разделе «Приложение».
- <sup>34</sup> Там же. Л. 22 об.-23.
- <sup>35</sup> Отчет министра народного просвещения за 1848 год. СПб., 1849. С. 12.  
Отчет министра народного просвещения за 1849 год. СПб., 1850. С. 14.
- <sup>36</sup> Барсуков Н. П. Ук. соч. Кн. 10. С.  
530-532.
- <sup>37</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 284. Л. 35-36.
- <sup>38</sup> ОР РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 14. Л. 45  
об.-53.
- <sup>39</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 236.  
Ч. XII. Л. 82-82 об.
- <sup>40</sup> РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 2097.
- <sup>41</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 284. Л. 79-117.

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- <sup>12</sup> Твердой официальной формулы на-  
звания Комитета не было. Л. 41 об.-42.  
<sup>13</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. I. С. 369-370. ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XII. Л. 264 об.  
<sup>14</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 122. Л. 42 об.

## ГЛАВА V

# Комитет высшей цензуры в действии

Итак, со 2 апреля 1848 года появился орган негласного надзора за печатью, уполномоченный регулярно следить за всеми материалами, уже прошедшими предварительную цензуру; по замечаниям Комитета привлекались к ответственности как авторы и издатели, так и цензоры. Император не стеснил Комитет никакими формальными правилами, предоставил право самим учредиться, решить все организационные вопросы, дал только краткое устное напутствие: «Цензурные установления остаются все как были, но вы будете я, то есть как самому мне некогда читать все произведения литературы, то вы станете делать это за меня, и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уж дело будет расправляться с виноватыми»<sup>1</sup>. Члены Комитета поняли это как обязанность следить за всей продукцией типографского станка в масштабах всей Империи, и они не ошиблись.

Первоначально в Комитет вошли член Государственного Совета Д. П. Бутурлин, М. А. Корф и сенатор П. И. Дегай. Первый председатель Комитета Бутурлин «прославился» в свое время тем, что предлагал закрыть университеты, а как-то раз, шутя, сожалел, что нельзя сделать цензурных исправлений в Евангелии, потому как слишком известная книга<sup>2</sup>. Впоследствии Николай I сожалел о смерти Бутурлина именно как о потере для Комитета. С октября 1849 года по март 1854-го председателем был генерал-адъютант Н. Н. Анненков, отлучаясь дважды по специальным поручениям императора; че-

стный, прямой и исполнительный, от вопросов словесности весьма далекий. П. В. Анненков рассказывал, что однажды имел с ним встречу, при которой «негласный» председатель, между прочим, спросил у какого-то третьего лица: «Скажите мне: зачем они тратят время на литературу? Ведь мы же положили ничего не пропускать, из чего же им биться?»<sup>3</sup> Единственным, кто оставался в Комитете все семь лет и восемь месяцев его существования, был М. А. Корф. После Анненкова он сделался третьим по счету и последним председателем. П. И. Дегай умер. Вновь назначенный статс-секретарь В. Я. Ханыков, толком не приступив к своим обязанностям, умер. Еще были назначены бывший управляющий Министерством юстиции граф В. А. Шереметев, статс-секретарь князь А. Ф. Голицын. В 1854 году в Комитет был введен министр народного просвещения А. С. Норов. По настоящее время нигде в литературе, как и в мемуарах современников, нельзя встретить вполне точных данных о составе Комитета — настолько твердо соблюдалась его секретность.

Корфа официальное извещение о назначении в Комитет повергло в отчаяние. Он с отвращением и тоской представлял себе как будет теперь «убивать свое время» над «гнилыми и грязными журналами» и «полагать всю цель свою в том — ибо такова цель Комитета — чтобы быть доносчиком и останавливать умственное в отечестве своем развитие...» Барон надеялся, что в глазах монарха имеет «право на что-нибудь высшее», а новая должность не сулила «ни чести, ни славы, ни видов». Не выдержав, Корф написал письмо цесаревичу, униженно прося исходатайствовать ему увольнение, отговариваясь своей якобы неспособностью. Но наследник его не понял. «... Речь идет о том, чтобы завязать ожесточенный бой, а вы ретириуетесь...» — сказал он при встрече и намекнул, что обращаться к императору не советует<sup>4</sup>.

Рисковать карьерой Модест Андреевич, конечно, не решился. Жалованье он получал неплохое<sup>5</sup>. Но, будучи отцом троих детей и приближенным ко двору, неважно справлялся с материальными расходами, то и дело был в долгу у казны и частенько жаловался в дневнике на бедность. Недвижимой собственности у него тогда не было. В качестве служебного поощрения с Корфа иногда даже списывали казенную задол-

женность, но только с личного разрешения Николая I, которое тот давал редко и весьма неохотно. «... Государь вас любит и ценит, — рассказывал Корфу после одного такого случая его ходатай-наследник, — но его сначала затрудняло то, чтобы это не было принято за пример для других, а потом он боялся, чтобы вы не остались вполне довольны сделанным для вас...»<sup>6</sup>

Корф стал членом Комитета 2 апреля, затаив надежду когда-нибудь и как-нибудь из него «вынырнуть».

От своих коллег по надзору за цензурой и печатью он ожидал не более, чем от Меншиковского комитета. Председатель Бутурлин оказался неискушенным в производстве дел, не знал, как наладить правильное функционирование Комитета, у него были «на каждом шагу вопрос, недоумение, совершенное незнание». Дегай и Ханыков казались Корфу весьма далекими «от высшего государственного смысла». Тягостен был по своей некомпетентности Анненков, который «желал бы повесить и расстрелять всех авторов и цензоров». Протеже Анненкова — Шереметев и Голицын, — по мнению Корфа, тоже были склонны к обскурантизму. Министр Норов был «человек... неглупый... но едва ли деловой». Корф оказался наиболее дальенным функционером и единственным членом Комитета, более-менее знакомым с современной журналистикой и литературой вообще. Он проделал всю организационную работу и составил для Комитета «учреждение». Оба председателя неизменно прислушивались к его мнению. Его слово на заседаниях Комитета имело при решении любых вопросов наибольший вес. Почти все журналы и доклады, подававшиеся императору, были им либо написаны, либо отредактированы. Смирившись со своими неприятными обязанностями, Корф исполнял их по обыкновению добросовестно и старательно. «... Я... дал первое побуждение к истинному, столь необходимому надзору за нашим книгопечатанием и потом устроил этот надзор и сам деятельно в нем участвовал», — подытоживал он не без самодовольства в дневнике. Многие в правительстве понимали, что Комитет 2 апреля держится на Корфе. «... Все знают, что вы один за других работаете», — участливо обронил как-то в разговоре министр государственных имуществ П. Д. Киселев<sup>7</sup>. Дневниковые записи Корфа полны жалоб на перегруженность комитетскими делами.

Модесту Андреевичу было жалко убивать время на столь немилый труд. «Служа еще в Министерстве финансов и потом во II Отделении собственной канцелярии в маленьких чинах, — вспоминал он, — я высшей и притом самой дерзкой целью моих мечтаний поставил место управляющего делами Комитета министров... Потом, в начинаящемся уже старце... залегла более скрытая мысль... желание получить когда-нибудь место директора Императорской публичной библиотеки. Какое высокое сладострастие — думаю я уже многие годы — быть у самого источника этих сокровищ, рыться в этих запыленных рукописях как почти в своей собственности, извлекать оттуда обильные исторические материалы и, никому не одолжаясь, хорчичить в этом драгоценном хранилище»<sup>8</sup>. Когда умер Бутурлин, бывший одновременно директором библиотеки, Корф использовал все свои связи и добился перевода ее из ведомства народного просвещения в ведомство императорского двора и своего назначения на директорский пост под тем предлогом, что Комитет-де получает оттуда материалы для своих трудов. Утомленный рутиной, разрываясь между попечением о русском «умственном развитии» и его приостанавливании, Корф изливал душевную усталость в дневник: «Беда быть слишком добросовестному в служебных обязанностях; и по этому опыту мне должно, кажется, благословлять Провидение, что оно не дало мне министерства; заботясь о его ходе, стремясь к несбыточному совершенству, ища невозможного идеала, я скоро бы изнурился в вечном томлении»<sup>9</sup>.

Ведомый Корфом Комитет 2 апреля своей задачей определил контроль «в политическом и нравственном отношении за духом и направлением нашего книгопечатания», и притом «на каком бы языке и по какому бы ведомству они не появлялись»<sup>10</sup>. Трем, некоторое время четырем членам Комитета было придано шесть человек — «помощников». Работа учреждения отличалась исключительной интенсивностью на протяжении всего времени его существования. Об этом убедительно свидетельствуют цифры. За первые два года было просмотрено 3004 переплета книг и брошюр, 1081 номер журналов, 19 920 номеров газет, 1466 литографированных записок, за 1850–1852 годы — 3878 переплетов книг и брошюр, 3540 номеров журналов, 26 092 номера газет, 7650 литографирован-

ных записок, за 1853–1854 годы – 3332 переплета книг и брошюр, 952 номера журналов, 17 100 номеров газет. Количество замечаний Комитета по промахам цензуры возрастало к 1850 году, а потом постепенно снизилось. За 1848–1849 годы было составлено 60 журналов заседаний, в течение следующих лет – 125, в 1853–1854 годах – 68<sup>11</sup>. К началу 1850-х годов «дамоклов меч» над цензорами и авторами дал свои плоды: надзор довел до сильного «охлаждения» печать, в частности, журналистику – почти до «замерзания». «...Литература наша в полном застое», – констатировал А. В. Никитенко в 1853 году<sup>12</sup>. В 1855 году Комитет сделал всего два замечания<sup>13</sup>.

Работой Комитета Николай I все это время оставался доволен и все более и более укреплялся в убеждении, что такой надзор весьма эффективен и необходим. В своих резолюциях он неизменно одобрял его действия и благодарил сотрудников («Искренне благодарю», «Совершенно согласно с моими желаниями» и т. д.). В 1855 году за месяц до смерти на очередном отчете он написал: «Желательно, чтоб продолжить столь же успешно»<sup>14</sup>. Всецело доверяя Комитету, император предоставил ему право входить к нему с практически любыми замечаниями и предложениями по вопросу контроля над печатью, а сам только выносил резолюции. Все члены Комитета были обычновенными исполнителями, именно в таком качестве их держал в своей «команде» Николай Павлович. Никто из этих людей не принадлежал к числу тех лиц, которым император позволял обнаруживать прямо перед ним свое личное понимание каких-либо крупных проблем государственной политики. Если, закрыв глаза на обилие курьезов, которыми в любой стране в любую историческую эпоху всегда богата история цензуры, в широком смысле слов – история морального и политического контроля над печатью и информацией, проследить на чем эти люди преимущественно сосредоточивали свое внимание, можно довольно верно определить, против чего именно была направлена правительственная реакция.

Поводом для учреждения негласного надзора послужило открытие, так сказать, крамолы в периодической печати. Периодику, эту наиболее чуткую к запросам и настроениям широкой публики отрасль печатной продукции, Комитет 2 апреля просматривал с особым тщанием. Разумеется, под постоянным

прицелом находились признанные «неблагонадежными» «Современник» и «Отечественные записки». Ставить этические и иные мировоззренческие проблемы в литературно-критических работах сделалось невозможным; Комитет, помня статьи В. Г. Белинского, был теперь четко ориентирован на то, чтобы такие попытки, действительные или мнимые, пресекать. В 1849 году его внимание привлекла статья в пятом номере «Отечественных записок» о поэте И. Ф. Богдановиче. Во фразах типа «человек вооружен врожденной ему властью уничтожать зло», «постепенное устранение своей природы от всех невзгод, физических и нравственных – вот его обязанность и величие!», навеянных розовым оптимизмом секулярно-рационалистического мировоззрения, Комитет заметил «дух прежней туманной философии... и... напыщенной галиматии», которая представляет прямую опасность в печати, поскольку дает «преднамеренной неясностью идей и набором слов широкое поле к произвольным рассуждениям и применению». Журнал в течение года «совершенно изменил дух свой», констатировал Комитет, и потому надо тем более давать понять издателю, что наблюдение за ним не ослабло. При этом, что важно отметить, категорически отвергалась целесообразность запрещения журнала, «мера, которую Комитет с своей стороны всегда признавал гораздо более вредной, нежели полезной»<sup>15</sup>.

В ноябре 1851 года один московский книготорговец сделал объявление в газете о дешевой распродаже «Отечественных записок» за 1841-й и 1843-й годы. Комитет не поленился просмотреть номера журнала за первую половину сороковых годов и определил в них под «покровом иносказаний и разных отвлеченностей» «вредное направление», обратив прежде всего внимание на работы В. Г. Белинского и, конечно, политэмигранта А. И. Герцена, книга которого «О развитии революционных идей в России» в правительственной среде к тому времени была хорошо известна. «... Герцен... – говорилось в журнале Комитета, – прямо указывает на Русскую журналистику последних двадцати лет и преимущественно на «Отечественные записки» и «Современник» как на средство или канал, которым он и его единомышленники стараются разлить в России свои, столь разрушительные для общественного порядка и благоустройства идеи!» Негласные надзорители приняли ре-

шение скупить все экземпляры. Министру внутренних дел Л. А. Перовскому было объявлено, чтобы это делалось и впредь. Цензурные преследования возбудили к «Отечественным запискам» такой интерес, что, как извещен был Комитет, во многих городах книготорговцы давали журнал только читать за плату; лишь в таком случае Министерству внутренних дел предлагалось его изымать<sup>16</sup>. Директор Императорской публичной библиотеки М. А. Корф распорядился не выдавать читателям «Отечественные записки» за 1840–1843 годы под тем предлогом, что они переплетаются.

«Современник», стараясь сохранить свою аудиторию, часто печатал у себя научные исторические работы. Внимание Комитета привлекла статья профессора С. М. Соловьева о Смутном времени. В самом содержании статьи Комитет ничего не обнаружил, но обратил внимание на то, что автор пространно цитирует возвзвания И. И. Болотникова. «Подобные подробности... могут... входить в состав специальных трудов по сей части, имеющих свой особый круг читателей, но помещение их в журнале, расходящемся в большом количестве и во всех классах народа, Комитет не может признать ни полезным, ни соответственным цели подобных изданий...» Кроме того, издатели «Современника» получили в официальном порядке выговоры за положительные отзывы о книгах, по тем или иным причинам не понравившиеся Комитету. Пресекались любые попытки журнала намекать на жесткость цензуры. В одной статье между прочим найдены были следующие строки: «Вы хотите новых хороших романов, хороших ученых статей, хороших ученых критик? Но подумали ли вы хоть раз о положении вашей литературы, вашей журналистики? Кто нынче пишет? Нынче решительно век книгоненавидения». Это было расценено как «ропот людей неблагонамеренных, сочувствующих... вредному направлению», и решили немедленно дать понять издателям, что «тайная их мысль не осталась скрытой от правительства». Император приказал их вызвать в III Отделение и объявить, «что с ними поладить очень легко, если не исправятся навсегда»<sup>17</sup>.

Комитет брался осуществлять «нравственный надзор» и за художественной литературой. В 1850 году в номере шестом «Москвитянина» была напечатана драма А. Н. Островского

«Свои люди — сочтемся!» Отметили с удовлетворением, что нет «ничего прямо противного правилам общей цензуры», оценили «явный отпечаток таланта, лежащий на всем этом произведении», но не понравилось отсутствие положительных героев. Попечителю Московского учебного округа было велено пригласить автора к себе и объяснить, что его цель «не только в карикатуре, но и... в утверждении того верования, что злодеяние находит достойную кару еще и на земле», а не только за гробом. Николай I запретил играть пьесу в театре<sup>18</sup>.

С большим вниманием читалась опубликованная в журналах мемуаристика. В 1848 году привлекли внимание напечатанные в «Библиотеке для чтения» воспоминания Ф. В. Булгарина о М. М. Сперанском. Комитет усомнился, «может ли частный человек распределять в эпоху столь еще к нам близкую... славу государственных подвигов между монархом и его подданным». Обнаружили и сочли неприличным «резко произносимое» мнение «о пользе дел государственных»<sup>19</sup>. Воспоминания изобиловали фактическими неточностями. М. А. Корф как биограф Сперанского соблазнился написать статью с уточнениями и разъяснениями, которую опубликовал в газете «Инвалид». Но за это последовало высочайшее неудовольствие: для члена Комитета высшей цензуры император считал печатную полемику с журналистами неуместной<sup>20</sup>. Через шесть лет имя Сперанского снова появилось на страницах печати в мемуарах М. А. Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти», помещенных в «Москвитянине». Комитет решил, что «не должно допускать оглашения через печать таких и столь близких к ним событий, коих причины или побуждения правительство с своей стороны признавало за благо оставить в тайне»<sup>21</sup>.

Подозрительное отношение к литературным журналам распространялось и на официальные газеты с их литературными отделами. В «Пензенских губернских ведомостях» привлекла внимание речь ректора Могилевской семинарии с богословскими рассуждениями о свободе человеческой воли. Из-за них ее сочли слишком отвлеченной, «туманной» и для печати неудобной. В «Екатеринославских губернских ведомостях» в 1850 году нашли статью, где говорилось о проблемах и нуждах города Ростова-на-Дону с предложениями по его благоустрой-

ству. Комитет заявил категорически, что местному начальству «не надлежало допускать к помещению в губернских ведомостях указания частного лица на злоупотребления... Печатание подобных статей во всеобщее сведение... может даже возродить неудовольствие к правительству... Отстранение в печати изъявления подобных укоризн и вместе желаний и надежд, — говорилось в журнале, — Комитет всегда считал предметом особенно важным... потому, что это давало журналам и газетам значение власти, нетерпимой в благоустроенном государстве»<sup>22</sup>. Проникновение на страницы периодики любых отголосков общественного мнения воспринималось как явление особо опасное. Компрометирующими власть, а также пагубными для общественной нравственности сочли отчет Общества попечения бедных в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции», где говорилось, что «в Петербурге до сих пор милостины выгоднее работы»<sup>23</sup>.

Известия о европейских событиях проходили предварительную цензуру в Министерстве иностранных дел. Корф и его коллеги предостерегались не только с текущей информацией, но и считали нежелательным появление в периодике сведений об общественно-политических институтах европейских государств вообще. В этом смысле «не совсем благонамеренное направление» было замечено в «Санкт-Петербургских ведомостях». В статье, посвященной революционным событиям в Тоскане, упоминалось, что в былые времена там были отменены сословные привилегии, введено гражданское равенство, «несоответствующее нашему политическому устройству», а раз так, говорилось в журнале Комитета, в широко распространяющемся периодическом издании писать об этом не следовало<sup>24</sup>.

Комитету 2 апреля также принадлежал почин в преследовании славянофилов за издание в 1852 году третьей книги «Московского сборника». Обратила на себя внимание статья К. С. Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенностях». Комитет одобрил ученые исследования автора, выразил убежденность, что у того не было никакой «предосудительной цели» при анализе общественного строя древней Руси. Но тем не менее решил, что «подобное рассуждение, приличное в том или ином виде среди трудов ученых

и археологических... ни в коем случае не должно было найти себе место в Сборнике литературном, предназначенном для легкого чтения и обращающемся в массе публики...» Если К. С. Аксаков показал существование в древности «демократических начал», то он обязан был, с точки зрения негласных надзирателей, здесь же указать «все помянутые перевороты, приведшие нас к нынешнему порядку вещей — единственной основе покоя и благоденствия России». А без этого, полагал Комитет, статью нельзя печатать не только в популярном издании, но и в специальном<sup>25</sup>.

Научные работы привлекали внимание Комитета не только на страницах журналов. Тщательно проверялись и отдельные издания, просматривались и учебные руководства. Обнаруживаемый в печати дух научного исследования сам по себе казался политически опасным. В одной диссертации, опубликованной Дерптским университетом, был сделан критический разбор порядка судопроизводства в Остзейском крае. Комитет счел это в печати неуместным, поскольку автор — частное лицо. В Германии, объяснялось по этому поводу в журнале, «умозрительные теории профессоров, сопряженные со свободой раскрывать и анализировать истинные или ложные недостатки действующего законодательства, обратились там в одну из первых исходных точек к гибельному вмешательству в дела государственные студенты и других молодых людей»<sup>26</sup>.

Книга Ю. Гагемейстера «О теории налогов, примененной к государственному хозяйству», вызвала нарекание тем, что «при рассмотрении сборов, установленных в России, применительно к правилам теории, некоторые из сих сборов подвергаются явному неодобрению».

Привлек внимание учебник Ф. Лоренца «Руководство к всеобщей истории». Профессор Главного педагогического института позволил себе «слишком подробное развитие идей XVIII века», притом, по мнению Комитета, «в темных и двусмысленных выражениях».

Н. Г. Устрялов в учебнике по русской истории упомянул трагическую смерть царевича Дмитрия как «странные события, доселе еще не разгаданное». Историк имел в виду политическую подоплеку дела. Комитет, очевидно, решил, что это может соблазнить православных, обязанных почитать Св.

Димитрия Угличского: нечего, мол, «поселять в детских головах какое-либо сомнение в тех событиях...»<sup>27</sup>

В поле зрения Корфа и его коллег попадали и официальные документы. Так, Комитет обратил внимание на отчет ректора Санкт-Петербургского университета академика П. А. Плетнева. Было решено, что в той части, где ректор говорит о высших целях и принципах университетского образования, есть «не довольно отчетливо высказанные мысли, которые легко объяснить в смысле предосудительном». Те принципы высшего образования, которые упомянул Плетнев, Комитет не устроили: «... если бы в последних строках не было упомянуто, что направление всем нравственным и умственным действиям дается у нас по воле Монарха: то вся XI статья отчета, по общему ее духу и содержанию могла бы точно также... произнесена быть с кафедры Парижского университета в 1850м году». В благонамеренности ректора Комитет не усомнился, но счел необходимым, чтобы впредь подобные документы «прямо и положительно объясняли необходимость и пользу образования русского юношества на той тройственной основе, которая неоднократно выражена была в разных актах правительства... именно на «Православии, Самодержавии и Народности»<sup>28</sup>.

Разумеется, негласные надзиратели улавливали любую фразу, напоминавшую читателю о крестьянском вопросе. Таковая была замечена, например, даже в книге Е. П. Ковалевского «Путешествие во внутреннюю Африку». Автор рассказывал о положении негров-невольников Египта и позволил себе восклицание: «... какова жизнь! А сколько людей у нас особенно, в бесконечной России, людей, которые осуждены на подобную жизнь»<sup>29</sup>.

Через Комитет, как уже говорилось, проходила литература на разных языках Империи<sup>30</sup>. Значительное внимание привлек сборник «Звезда» на польском языке, издававшийся в Киеве. В первой попавшейся его книжке Комитет усмотрел «дух Польской национальности, либерализма и неверия». Не поленились, нашли и просмотрели четыре других выпуска сборника. Заметили некое идеиное направление: «... стремление к какому-то неопределенному развитию, преуспеянию (прогрессу)... все это затемненное разными отвлечеными выражениями и иносказаниями». Киевский цензор О. М. Новицкий и один из

издателей сборника Я. Юркевич представили через генерал-губернатора Д. Г. Бибикова в Министерство народного просвещения письменные объяснения, где утверждали, что их сборник направлен против нравов старой польской аристократии. Ознакомившись с ними, Комитет счел опасным «существование каких-то литературно-политических партий, нетерпимых и в нашей отечественной словесности, а тем более не подлежащих допущению в словесности польской». Корф и его коллеги предложили министру народного просвещения «сообразить в какой мере нужно и полезно допускать в одном из древнейших наших городов, бывшем колыбелью Православия и Русской народности, распространение подобных повременных изданий, оживляющих лишь вкус к Польской литературе и поддерживающих дух Польской национальности, тогда как правительство... признало нужным изгнать из казенных учебных заведений Западного края даже самое обучение Польскому языку»<sup>31</sup>.

В период «мрачного семилетия» славянофильский «Московский сборник» был, пожалуй, единственным отчетливым проявлением в печати идейных столкновений между «людьми сороковых годов». Идейная борьба на страницах литературных изданий сделалась совершенно невозможной. Журналы обезличились: общественная мысль ушла из печати<sup>32</sup>. Современники единодушно отмечают падение содержательности периодических изданий. «Журналы невыносимо пошли и скучны; повести в них до крайности дрянны; а журналистику решительно нет сил слушать, до того все глупо, пошло, придики их друг к другу подлы до отвращения», — читаем в дневнике, например, В. С. Аксаковой<sup>33</sup>. Вершители негласного надзора не разбирались и не намеревались разбираться в оттенках взглядов авторов. Кроме официально сформулированного все иные направления мысли казались им если не прямо опасными, то, во всяком случае, нежелательными. Они, по сути, старались гасить в печати направление как таковое, и как можно скорее. При таком ориентире, имея дело с уже достаточно безликой периодикой, они искали «вредное направление» «днем с огнем», делали замечания авторам и цензорам для острастки, на всякий случай; «чтобы виновный не мог избегать законной ответственности», — говорилось в одном журнале Комитета, —

цензурные правила требуют «исполнения... с привлечением к оной иногда совершенно невинного»<sup>34</sup>.

Как член негласного органа, Корф не мог входить в прямые официальные сношения с цензорами Министерства народного просвещения, но возможность увидеть дела их рук, а значит, и своих, он имел. Один знакомый — литератор, музыкальный критик Ф. М. Толстой — прислал барону исправленную цензором рукопись своей повести. Корф расценил исправления как «необъяснимые». «Чего же хотят эти господа от литературы, — писал он Толстому, — и даже возможна ли при них вообще какая-нибудь литература?» Что же касалось устраниния зла — здесь Корф кивал на Министерство народного просвещения: «... я слежу, по обязанности за действиями нашей цензуры... к сожалению, только в отрицательном смысле... Вот хорошо было бы, если б Министр или его Товарищ взяли труд взглянуть на этот красный карандаш...»<sup>35</sup>

По-видимому, это был не единственный случай из которого Корф мог увидеть, как влияли действия Комитета 2 апреля на настроения цензоров и положение литературы. «... цензоры подвергаясь взысканиям не только за дело, но и по придиркам, все более и более усиливают свою строгость, доводя ее до совершенного безрассудства, а пишущие и журналисты все более и более кричат и вопят против нашего Комитета, которому не без оснований приписывают такие действия цензуры», — отметил он в дневнике уже в 1850-м году<sup>36</sup>.

\* \* \*

ИТАК, император Николай I так и не усомнился в правильности решения, принятого им 2 апреля 1848 года. С трепетом ощущавший непреклонную волю самодержца М. А. Корф, так и не сумевший преодолеть нравственного замешательства, и его коллеги действовали, привлекая к ответственности «иногда совершенно невинного». Запуганные Комитетом 2 апреля цензоры Министерства народного просвещения марали рукописи на всякий случай, превращаясь едва ли не в редакторов. И примерная исполнительность негласных надзирателей довела жесткость цензуры до абсурда. Тонкие нити взаимопонимания меж-

ду администрацией и литературой, завязывавшиеся при С.С. Уварове, были оборваны. Нельзя сказать, чтобы все отдельно взятые суждения или действия Комитета были напрочь лишены хоть малости какого бы то ни было резона, но деятельность цензуры в целом приняла характер бессодержательный или дезорганизованно-хаотический.

Так возник цензурный террор, то есть ситуация при которой объективно достигалось слепое подавление самодей-  
ших проявлений в печати общественного мнения, самодея-  
тельной общественной мысли, любых занимавших умы  
современников идей, проявлений духа научной критики, воз-  
можного оглашения даже не то, чтобы текущей информации,  
но просто научных сведений из области права, истории, фило-  
софии. Словом, против всего того, в чем испытывал потреб-  
ность читатель, получивший гимназическое или университет-  
ское образование. Говоря словами все того же М. А. Корфа,  
дело оборачивалось так, «как бы правительство, щедро насаж-  
дая одною рукою просвещение, другою хотело опять исторг-  
нуть все им насажденное!»<sup>37</sup> И это при том, что возросшую по-  
требность общества в печатном слове Комитет фактически  
признавал, придерживаясь правила, что ни одно периодиче-  
ское издание закрывать не следует

*Примечания*

- <sup>1</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. (Дневник М. А. Корфа.) Ч. XI. Л. 173 об. Запись 3 апреля 1848 года.
- <sup>2</sup> Блудова А. Д. Воспоминания // Русский архив. 1874. № 3. С. 726–727.
- <sup>3</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 552.
- <sup>4</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. (Дневник М. А. Корфа.) Ч. XI. Л. 172 об.–173. 3 апреля 1848 года.
- <sup>5</sup> Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России XIX в. М., 1978. С. 79.
- <sup>6</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XII. Л. 58–59 об.
- <sup>7</sup> Там же. Л. 9 об., 260–260 об.
- <sup>8</sup> Там же. Л. 258.
- <sup>9</sup> Там же. Ч. XIII. Л. 182.
- <sup>10</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 283. (Журналы и доклады Комитета 2 апреля за 1848 год.) Л. 7.
- <sup>11</sup> Там же. Д. 285. Л. 7–7 об.; Д. 287. Л. 6–6 об.; Д. 288. Л. 15 об.–16.
- <sup>12</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. 385.
- <sup>13</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 2479. Л. 5 об.
- <sup>14</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 285. (Журналы и доклады Комитета 2 апреля 1848 года за 1850 год.) Л. 2; Д. 287. (Журналы и доклады Комитета 2 апреля 1848 года за 1853 год.) Л. 1; Д. 288. (Журналы и доклады Комитета 2 апреля 1848 года за 1854–1855 гг.) Л. 12.
- <sup>15</sup> Там же. Д. 284. (Журналы и доклады Комитета 2 апреля 1848 года за 1849 год.) Л. 55 об.–56, 58–58 об.
- <sup>16</sup> Там же. Д. 286. (Журналы и доклады Комитета 2 апреля 1848 года за 1851–1852 год.) Л. 72 об.–74 об., 180 об.–182 об.
- <sup>17</sup> Там же. Д. 284. Л. 8–9 об., 122–124 об., 135–126 об.
- <sup>18</sup> Там же. Д. 285. Л. 54 об.–57 об.
- <sup>19</sup> Там же. Д. 283. Л. 65 об.–67.
- <sup>20</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 217 об.–218.
- <sup>21</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 288. Л. 41.
- <sup>22</sup> Там же. Д. 285. Л. 113–113 об.
- <sup>23</sup> Там же. Д. 283. Л. 80–81 об.
- <sup>24</sup> Там же. Д. 284. Л. 60–61.
- <sup>25</sup> Там же. Д. 286. Л. 162–162 об., 165 об.–166.
- <sup>26</sup> Там же. Д. 284. Л. 42 об.–43 об.
- <sup>27</sup> Там же. Д. 285. Л. 25 об., 134–134 об.; Д. 286. Л. 206.
- <sup>28</sup> Там же. Д. 285. Л. 107–108, 111 об.–112 об.
- <sup>29</sup> Там же. Д. 284. Л. 64–64 об.
- <sup>30</sup> Сравнительно недавно появилось исследование, где получил рассмотрение такой аспект деятельности Комитета 2 апреля, как цензура еврейских религиозных изданий. См.: Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России. 1797–1917. Очерк истории цензуры. Спб.–Иерусалим, 1999. С. 231–263.
- <sup>31</sup> РГИА. Ф. 1611. Д. 285. Л. 156–158, 201 об., 202 об., 203 об.–204.
- <sup>32</sup> См.: Очерки истории русской журналистики и критики. Т. С. 482.
- <sup>33</sup> Аксакова В. С. Дневник В. С. Аксаковой. СПб., 1913. С. 22.
- <sup>34</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XII. Приложение. Л. 9–9 об.
- <sup>35</sup> Там же. Д. 2478. Л. 2–3.
- <sup>36</sup> Там же. Д. 1817. Ч. XIII. Л. 123 об.–124.
- <sup>37</sup> Там же. Д. 2478. Л. 2–2 об.

## ГЛАВА VI

### Блудовский комитет

*Вопрос о роли и значении народного образования  
в государстве*

Непосредственный повод для учреждения Комитета по пересмотру уставов народного просвещения дали, как и в случае с цензурой, две записки, авторы которых по своему значению были не выше, чем члены Комитета 2 апреля: «одна записка Генерал-адъютанта Шипова, другая – записка Тайного Советника Переверзева». Первый в чине полного генерала был сенатором в Москве, второй – членом совета Министерства внутренних дел. Выразительную характеристику обоим дал на страницах дневника М. А. Корф: «Шипов – маленький, самый маленький человечек, с живым воображением, с некоторым даже умом, но с умом самым наипрескучным, бестолковым и лишенным всякого такта. Весь погрязший в вечных проектах и утопиях, он убежден что все симпатизируют с его манией и пока жил в Петербурге, был ужасом и пугалом всех салонов, которого избегали как чумы уже издалека, чтоб не подпасть под пытку его проектов, которыми он готов был мучить всякого встречного до упаду... Переверзев – человек другого рода, и именно подьячий, но подьячий самого высшего разбора... Кажется Поповский сын, обучавшийся в семинарии, затем в Университете... очень долго влакился по разным Губернским мытарствам... Везде брал, пьянствовал, но вместе изощрял необыкновенный свой природный ум наблюдениями и практическим изучением вещей<sup>1</sup>. Похоже высказывался и А. В. Никитенко: «... вошло в обычай во всем обвинять Министерство народного просвещения. Государю было подано несколько проектов преобразования

ния его, совсем не государственных. Некоторые отличаются изумительной безграмотностью. Например, проект Переверзева, который был когда-то и где-то губернатором; там, говорят, заворовался, был уволен, долго оставался без места... Я знаю его лично. Это круглый невежда, к тому же нетрезвый»<sup>2</sup>. Только благодаря охранительной тревоге суевость подобных деятелей могла возыметь в какой-то мере продолжение в виде серьезных политических последствий.

Компетенция Комитета по сути никак не ограничивалась.

В него вошли член Государственного совета статс-секретарь М. А. Корф, генерал-адъютанты обер-прокурор Святейшего Синода граф Н. А. Протасов, начальник военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев, член Государственного совета Н. Н. Анненков. Возглавлять его поручалось начальнику II Отделения с. е. и. в. канцелярии статс-секретарю графу Д. Н. Блудову. Председателем сделался опытнейший бюрократ с блестящей карьерой, хотя и показавший себя посредственным администратором, что увидели из его управления Министерством юстиции дважды и один раз Министерством внутренних дел. Более удачным, пожалуй, было его управление Департаментом иностранных исповеданий Министерства внутренних дел и исполнение дипломатических задач при контактах с Ватиканом. Тонкий придворный, по словам Корфа, «любезнейший человек в Петербурге», «ловкой непринужденной веселости и разнообразности в беседе», «неистощимого остроумия» и «богатого запаса сведений»<sup>3</sup>, преданный и за страх, и за совесть Николаю I. «В те дни, когда он отправлялся к императору, он был весь не свой: — вспоминал А. И. Кошелев, бывший в молодости подчиненным Блудова, — не слушал, не понимал того, что ему говорили... Зато когда возвращался от императора, не получив нагоняя, он был детски весел, не ходил, а летал по комнатам и готов был целовать всякого встречного»<sup>4</sup>. Вместе с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, С. С. Уваровым Блудов участвовал в знаменитом литературном обществе «Арзамас», обладал честолюбием литератора, считался тонким ценителем российской словесности, изящных искусств и вообще всякой образованности. Пожалуй, он был единственным в Комитете, кто мог бы глубоко заинтересоваться проблемами народного просвещения. Его сочлен Протасов на заседаниях старался отмалчиваться, отговариваясь перед

Корфом, что «не имеет никакой практической привычки к подобным совещаниям»<sup>5</sup>. Анненков и, особенно, Корф были переобременены занятиями по Высшему цензурному комитету. Помимо этого, Модест Андреевич как раз тогда только что осуществил свою давнюю мечту — занял пост директора Императорской публичной библиотеки, проблемы которой его увлекали гораздо более всего прочего. «В прибавку, надобно сказать, — писал он, — Комитет этот (то есть блудовский. — М. Ш.), по-видимому, чрезвычайно мало интересует Государя»<sup>6</sup>.

И в самом деле, учрежденный в октябре 1849 года, Комитет по пересмотру уставов народного просвещения в первый раз собрался только 18 февраля 1850-го. В течение последующих двух с небольшим лет состоялось всего девять заседаний: 5, 8 и 26 мая 1850 года, 15 марта, 26 апреля и 17 ноября 1851 года, 3 и 11 апреля и 6 мая 1852-го. Следующие четыре года он существовал чисто юридически. Очевидно, Крымская война отвлекла от него внимание императора совсем. Еще одно и последнее заседание Комитета состоялось уже в новое царствование — 7 февраля 1856 года.

Итак, что же он предпринял?

Даже самым изощренным злопыхателям подследственного Министерства в те времена было уже не так легко вторгаться в дела народного просвещения. За полвека существования Министерства процесс специализации и профессионализации его кадровшел достаточно далеко. Некомпетентное и безграмотное вмешательство называли своим именем без особых затруднений. «...Проект составлен лицом совершенно незнакомым с положением наших Университетов, с науками там преподаваемыми; с духом самого преподавания; с направлением Профессоров; с честью и пользой занимающих кафедры; и наконец с обучающимся там юношеством, отличающимся вообще трудолюбием и похвальным поведением», — такой отповедью могло отвечать ведомственное начальство, опираясь на своих экспертов<sup>7</sup>. Деловая сплоченность чиновников, профессионально связанных с преподаванием и наукой очень заметно возросла. Сознавая это, Блудов сам попросил императора ввести в Комитет министра князя П. А. Ширинского-Шихматова, что тот и сделал. В историографии за Шихматовым утвердилась репутация обскуранта и мракобеса. Таким видела его тогда ученолитер-

ратурная общественность. Иначе смотрели на него чиновники центрального аппарата Министерства. Долгие годы шедший административной стезей рядом с С. С. Уваровым Платон Александрович выделялся среди бюрократов своего ранга отношением к подчиненным. Служивший в Департаменте народного просвещения Н. Н. Терпигорев вспоминал: «... князя Шихматова мы искренно уважали за его доброе, сердечное, мягкое обращение с нами; довольно было князю сделать кому-нибудь из нас замечание — заслуживший его всеми средствами старался исправиться». Однажды Шихматов на несколько месяцев тяжело заболел. «... Все мы, словно по какому приказу, отправились на квартиру князя и убедительно просили княгиню дозволить нам, по очереди, днем и ночью дежурить у постели больного... Но вот, к общей нашей радости князь... мог вступить в заведование департаментом. Живо помню, как мы все, когда узнали, что сегодня князь приедет в департамент, вышли к нему навстречу, к самому подъезду, и искренно его поздравляли с выздоровлением. Князь был глубоко тронут этой встречей»<sup>8</sup>. Роль, которую Ширинскому-Шихматову пришлось играть в качестве преемника Уварова, была незавидной. «Князь Шихматов был добр и по природе, и по убеждению христианина, справедлив, прост и доступен, — вспоминал профессор А. В. Никитенко. — Он не отличался, подобно своему предшественнику (Уварову), ни блестящим умом, ни даром слова. Его ум вращался в сфере практической администрации, где он приобрел много знания и навыка. Он собственно не был государственным человеком... и пост министра застал его, так сказать, врасплох, неожиданно. Он сам сознавал свою несостоятельность в этом отношении... Но надо сказать правду... Под министерство подкапываются со всех сторон; оно сделалось какою-то сомнительной отраслью государственного управления, а представитель его, министр, скорее ответное лицо перед допросами, чем государственный чиновник. Князь Шихматов хотел честно и добросовестно выполнить свою тяжкую миссию. В бумагах, которые я получал от его товарища (Норова) по разным важнейшим вопросам, везде видно благородное усилие защитить дело просвещения и отклонять слишком резкие преобразовательные меры, клонящиеся к стеснению его... Он изнемог в этой борьбе, и можно с достоверностью сказать, что она сократила срок его жизни... На

него смотрели с некоторого рода пренебрежением, которое было естественным следствием его политического бессилия... А сколько и как кидали в него грязью и в обществе и в кругу ученых!»<sup>9</sup> Действительно, Ширинский-Шихматов с первого заседания принял столь решительно бороться за сохранение *status quo*, что переусердствовал. Блудов обвинил его в отклонении от исполнения высочайшей воли: «... Вы посажены сюда Государем по моему представлению... — заявил он, — ... мы не могли предвидеть, что вы будете оборонять все существующее как какуюнибудь крепость, только потому, что оно существует. Мы же посажены здесь для того, чтобы разобрать и исправить существующее, а совсем не для хвалебного гимна прошедшему управлению»<sup>10</sup>. Были высказаны замечания о преобразовании университетов. Блудов написал записку об изменениях в учебных программах. Все эти материалы были переданы в конце концов на окончательное рассмотрение в Министерство народного просвещения и там осели<sup>11</sup>. Впоследствии, затронутыми в них вопросами занялось воссозданное в 1856 году Главное правление училищ с Ученым комитетом во главе, что составляет уже историю следующей эпохи. Здесь следует сказать, что в заключении, представленном в 1857 году министру народного просвещения, Ученый комитет обошел молчанием все основные предложения Блудовского комитета и принял во внимание его мнение лишь по некоторым частным вопросам преобразования приходских и уездных училищ. «При этом, — писал С. В. Рождественский, — ученый комитет с оттенком иронии отмечал, что по всем сейчас перечисленным пунктам его предложения были высказаны раньше, чем он успел приступить к ознакомлению с мнением комитета Блудова... »<sup>12</sup> Дилетантские потуги не произвели на чиновников-профессионалов особенного впечатления. Но Комитет Блудова также рассматривал общие вопросы, далеко выходящие за рамки компетенции ведомства народного просвещения. Все согласились, что в учебные заведения по-прежнему следует принимать представителей всех сословий, кроме крепостных, что нет смысла придавать казенным учебным заведениям строго сословный характер. Сделанные в таком духе предложения С. П. Шипова, Ф. Л. Переверзева, костромского губернатора Каменского были отвергнуты. Но вот из Комитета о пересмотре Устава о службе гражданской было передано пред-

положение об упразднении введенного в 1834 году деления чиновников по срокам производства на разряды в зависимости от уровня образования\*. Оно-то и привлекло к себе основное внимание. Как явствует из записей Корфа, Комитет Блудова счел своей главной задачей разрешение вопроса, «которому подчиняются все другие — о правах выпускемых из университетов и других высших заведений»<sup>13</sup>.

Ширинский-Шихматов, скрепя сердце, согласился с мнением всех остальных, что деление на разряды следует отменить. Уступая, он хотел сохранить права выпускников поступать на гражданскую службу прямо с классным чином. Другие члены, не отрицая этого в принципе, предлагали и здесь разные корректизы в сторону уменьшения служебных преимуществ, предоставляемых образованнию, — министр настаивал на нерушимости существующего порядка. В марте 1851 года, ознакомившись с представленным журналом, Николай I распорядился по-прежнему допускать в университеты представителей «всех свободных состояний», подтвердив свое распоряжение мая месяца 1848 года об ограничении на всех факультетах, кроме богословского и медицинского, количества своекоштных студентов 300-ми. Велел при выпуске оставить прежние чины, но давать их по образцу военной службы не сразу. Разряды отменить, но отмена не должна затронуть тех, кто поступил в учебные заведения до обнародования нового законоположения. На основании таких положений Комитету повелено было составить проект указа<sup>14</sup>.

Делая представление императору, председатель Комитета уже знал, что не в одном Министерстве народного просвещения есть сторонники сохранения всех служебных преимуществ для образованных чиновников. До сведения членов Комитета письменно довел свое мнение министр юстиции В. Н. Панин. «... Распространением образованности, — писал он, — между всеми словиями значительно увеличилось число лиц, способных к исправлению должностей как высших, так и низших». Но это лишь предварительное условие для качественного сдвига в государственной службе. Чтобы вывести правительственный аппа-

\* См. главу I.

рат на более высокий уровень, надо систематически применять меры, благоприятствующие выдвижению образованных чиновников: «Успехи особенно замечательны с того времени как служащим присвоены *особенные права по степени образования при производстве до пятого класса* (курсив мой. — М. Ш.).» Образованность сыграет свою роль только тогда, когда ее носители получат в органах власти первенствующее значение: «Меры, принятые по усилению курсов в гимназиях, будут иметь важные последствия для губернского правления, если воспитанникам гимназий будут дарованы права и преимущества соответственные степени их познаний». Ликвидация преимуществ для образованных чиновников ударит по престижу общественного образования и в конечном итоге по качеству правительственного аппарата: «При отмене правил, установленных для поощрения к высшему образованию, большая часть поступающих на службу предпочтет начинать оную ранее, для отыскания средств пропитания или для чинов и отличий, и от сего последует изменение ко вреду службы». Панин предлагал обязать прослужить на государственной службе лиц, получивших высшее образование, десять лет, среднее — шесть лет<sup>15</sup>. Служивший в молодости в Сенате К. П. Победоносцев, крайне негативно относившийся в то время к В. Н. Панину в своем знаменитом памфлете, напечатанном в 1859 году в «Голосах из России», издаваемых в Лондоне А. И. Герценом, признает, что министр юстиции, действительно, проявлял серьезный интерес к молодым образованным чиновникам: «В то время появились первые выпуски из училища правоведения, которое по первоначальному плану должно было приготовлять молодых людей для сенатской службы. Многие, и сам гр. Панин, смотрели тогда с каким-то недоверием на незваных пришельцев, явившихся перебивать места в сенате, но вскоре взгляд Панина переменился, и он начал давать ход по своему ведомству людям нового поколения»<sup>16</sup>.

Кроме того, в Комитет поступило мнение о том, что и ограничение количества студентов 300-ми мало соответствует традиционным правительстенным стремлениям, в частности, желанию сделать образованность обязательной принадлежностью дворянского звания. Московский генерал-губернатор А.А. Закревский писал, что «назначение определенного комплекта преградило путь к поступлению в университет лицам

именно высших сословий, потому что многие дворяне не знали, куда именно помещать своих детей для довершения образования»<sup>17</sup>. Не соглашаясь с мнением Шихматова и Панина, Комитет от затрагивания вопроса об ограничении числа студентов воздержался. Между тем доля дворян среди студенчества действительно начала убывать. Если в 1849 году дети дворян и обер-офицеров составляли 66,9 % от общего числа студентов, то в 1853 году их стало 65,7 %, а в 1855 – 65,3 %<sup>18</sup>.

Таким образом, Николай Павлович предварительное решение об упразднении разрядов принял. Но, повелев составить проект указа, отклонил его обнародование до тех пор, пока будут разработаны и утверждены все другие преобразования, касающиеся ведомства народного просвещения. По аналогии с делом о пересмотре Устава о службе гражданской вряд ли можно с уверенностью сказать, как бы поступил император, получив полный проект преобразований. Возможно, что, поблагодарив точно так же исполнителей, он отложил бы введение в действие новых законоположений на неопределенный срок, и система разрядов продолжала бы действовать. Министерство народного просвещения, без участия которого подобный общий проект уже не мог быть разработан, особенно не спешило. Комитет, вдруг спохватившись, предложил временно оставить отменяемые преимущества для отдельных и учебных заведений. Когда Николай I это отверг, заговорили о распространении действия принимаемых узаконений и на выпускников привилегированных учебных заведений: Александровского лицея и Училища правоведения. В этих разговорах прошли заседания 1851–1852 годов. Дело оставалось в таком положении до 1856 года.

Новый император в первый год своего царствования был почти всецело погружен во внешние дела России. «... Удручен войною, дела, не относящиеся к ней, слушает не с полным вниманием, спешит и много не решается брать на себя, боясь ошибиться», – отмечал А. В. Никитенко<sup>19</sup>. Но не определившись еще с внутриполитическим курсом, лишь намечая его основные контуры, Александр II стал делать отдельные шаги, обнадеживающие униженное ведомство и общественное мнение. Стал разрешать новые периодические издания. 23 ноября 1855 года отменил ограничение числа студентов. 3 декабря закрыл Высший цензурный комитет. Министерство народного просвеще-

ния ободрилось. На заключительном заседании Комитета Блудова министр А. С. Норов, заступивший в 1853 году после смерти П. А. Ширинского-Шихматова, высказался против предложения уничтожить систему разрядов. Император распорядился вынести этот вопрос на обсуждение в Государственный совет, прочее же передать на рассмотрение Министерства.

Итак, накануне коренного поворота во всей внутренней политике, непосредственно перед наступлением эпохи Великих реформ, вопрос о роли и значении системы народного образования в государстве оказался во внимании всего императорского правительства.

Главноуправляющий II Отделением собственной е. и. в. канцелярии Д. Н. Блудов внес проект 10 мая. Состоялось три заседания в Департаменте законов. 6 июня Общее собрание, рассмотрев результаты трех заседаний, вернуло дело обратно в Департамент. Дебаты разгорелись с новой силой. В течение лета и осени все, пожелавшие высказаться пообстоятельнее, представили письменные замечания. Наконец, после двух заседаний Общего собрания в ноябре 1856 года обсуждение завершилось.

На необходимости уничтожить деление чиновников на разряды по срокам производства в зависимости от уровня образования настаивали председатель Департамента законов Д. Н. Блудов, генерал-майор П. Н. Игнатьев, князь П. П. Гагарин, Я. И. Ростовцев, Н. Н. Анненков. Правила 1834 года, говорилось в подписанном ими журнале, в свое время были очень полезны, а может быть, и необходимы. «Надлежало обеспечить существование и успех учебных заведений, особенно высших... кои при малом числе учащихся могли бы не соответствовать цели своей и коих польза была бы несоизмерима с необходимыми на учреждение их затратами и усилиями Правительства. Надлежало также поощрить учащихся к обширному и правильному классическому учению, а вместе с тем и привлечь их в гражданскую службу...» Теперь же, утверждали Блудов и его сторонники, положение совершенно изменилось: «... стремление к учению обратилось в наивык, сделалось как бы естественной потребностью». Искателей мест в учебных заведениях теперь больше, чем казенных вакансий. Недостатка в желающих занять «места по части гражданского управления» также нет, и это при том, что число должностей

«непомерно велико и еще беспрестанно увеличивается». Следовательно, «теперь уже ощущается вред от излишнего привлечения в высшие учебные заведения». Слишком большие привилегии привлекают чересчур многих выпускников казенных учебных заведений на службу, и от этого страдают другие сферы полезной деятельности, например, развитие промышленности и торговли: «...через необдуманное стремление других к чинам и соединенных с ними должностям, останавливается, может быть усовершенствование ремесел, уничтожаются торговые дома». В принципе названные пять членов Государственного совета признавали, что «людей, окончивших курс в учебных заведениях, особенно в высших, можно считать, до некоторой степени, более других приготовленными к исправлению по службе должностей, для коих необходимы общие познания». Но, утверждали они, преимущества в производстве лиц с образованием «охлаждают усердие других чиновников». (Заметим, что здесь как-то не было упомянуто, что по закону чиновники низшего разряда могли сдавать экзамены и переходить в более высокий.) Блудов и его сторонники заключали, что законоположения 1834 года теперь «несправедливы для службы и вредны для просвещения», они делают гражданских чиновников «на две касты: как бы опричных и опальных», деление на разряды надо заменить едиными для всех сроками производства. Предлагалось, чтобы из XIV класса выслуживались в V за 32 года при обыкновенном усердии, при заслугах — самое меньшее за 17 и 25 лет (для дворян короче), при особенных же отличиях — за срок 14–18 лет. Это, примерно, соответствовало пока существовавшему 2-му разряду. При этом Блудов и согласные с ним настаивали, что замену следует произвести теперь же, не дожидаясь, когда Министерство народного просвещения завершит разработку общего проекта преобразований по своей части<sup>20</sup>.

Глава ведомства народного просвещения А. С. Норов возражал в исключительно резкой форме. «Министерство до сей поры находилось в какой-то опеке, которая связывала его по рукам и ногам и мешала ему развиваться... — негодовал он. — В денежных способах нам отказывают а теперь хотят отказать и в моральных поощрениях». Министр ни на йоту не сомневался в своей правоте: «Ни один из аргументов предлагающих нововведение не может выдержать критического анализа»<sup>21</sup>.

То, что училищные начальства отказывают иногда в приеме иным желающим даже в число своекоштных учащихся, говорил Норов, вернее доказывает не силу рвения к получению знаний, а скудость материальных средств Министерства народного просвещения, ибо, например, в петербургских гимназиях прием ограничен только из-за недостатка учебных помещений. Это при том, что в Петербурге на 500 тысяч жителей приходится лишь пять гимназий, где учатся, по последним данным, всего только 1476 человек. И большинство воспитанников гимназий не оканчивает: «... многочисленны только низшие классы, а высшие, напротив того, малолюдны.»<sup>22</sup>.

Надо сказать, что средства, выделяемые Министерству народного просвещения, были и вправду скромны. В царствование Александра I среди других ведомств по величине расходов оно занимало с 6-го по 11-е место. Его доля в общем объеме расходов государственного бюджета в среднем составляла 1,25 %. Ее максимальная отметка составляла 2,6 %, как в 1804 году, минимальная – 0,5 %, как в 1814 или в 1815 годах. В первую половину царствования Николая I (1826–1841 годы) доля расходов по ведомству народного просвещения в общем объеме государственного бюджета уже не опускалась ниже 0,9 % (1826–1828 годы), но и не поднималась выше 1,5 % (1840–1841 годы). Средний уровень составлял 1,14 %. Среди других ведомств по величине расходов Министерство народного просвещения в это время занимало с 8-го по 10-е место<sup>23</sup>. Мало оснований предполагать, что положение было существенно иным в 1850-е годы.

Норов подготовил внушительные статистические сведения. По данным Академии наук на 1854 год во всей России (кроме царства Польского) количество учащихся во всех ведомствах относилось к численности населения как 1 к 136, тогда как в царстве Польском эта пропорция составляла 1 к 69. Всего из 428 490 учащихся лишь 124 358 приходилось на учебные заведения ведомства народного просвещения<sup>24</sup>. Имелись также данные по учебным округам. В Дерптском округе 1 учащийся в заведении ведомства приходился на 134 человека от всего населения. В Виленском округе это отношение было 1 к 456, в Петербургском, Московском, Киевском, Харьковском, Одесском и Казанском вместе взятых – 1 к 598, в Сибири – 1 к 663. Общее число учащихся по ведомству народного просвеще-

ния на 1856 год составляло: 71755 человек в царстве Польском, в Кавказском учебном округе – 4097, во всей остальной Империи – 119608. Если с 1835 по 1847 год численность учащихся возросла в высших заведениях с 2649 до 4512, а в средних с 14 075 до 20 970, то потом она несколько снизилась и в 1855 году составляла в высших заведениях – 4127 человек, а в средних – 18 201<sup>25</sup>. «... Мы еще не достигли той эпохи, — снова и снова повторял Норов, — когда ободрение просвещению оказывается больше не нужно». Если не ощущается недостатка в желающих поступить на службу, это еще вовсе не означает, что всех таковых взятых вместе отличает высокий уровень образования. Совсем наоборот. «... Положительно доказано фактами до какой степени еще недостаточно для государства число поступающих из высших учебных заведений на гражданскую службу; оно не достигает цифры 300. Эта цифра должна нас пугать, а не ободрять. Наконец... — заключал министр, — исполнение предполагаемого проекта отзовется гибельно не для одного Министерства народного просвещения, но и для всех отраслей государственного управления»<sup>26</sup>.

Кроме того, А. С. Норов верил, что распространение образования не только обеспечивает общекультурный рост, но и содействует возрастанию гражданской добродетели: «Кто усомнится в том, что истинное просвещение, обогащая человека полезными, для выполнения его обязанностей, знаниями, вместе с тем возвышает его душевые качества...» Если нововведение состоится, на службу «будут идти чиновники, а Государственных людей не будет». Министр утверждал, что придут в запустение университеты, а может быть, даже и гимназии. Существующий с 1834 года порядок «только начинает приносить свои плоды»<sup>27</sup>.

Авраам Сергеевич не менее, чем Блудов, был знатоком литературы и искусства, а сверх того еще страстным библиофилом и коллекционером восточно-христианских древностей. Он, несомненно чтил образованность и встал на защиту ее престижа не колеблясь, но административного навыка ему явно не хватало, опыта ведения дел в Государственном совете — тоже, да и необходимой в таких случаях известной способностью противодействовать интриге он не обладал. «...Человек добрый, благородный, неглупый, хотя с примесью некоторой наивности, очень хорошо владеющий пером, но едва ли деловой», — пи-

сал о нем М. А. Корф<sup>28</sup>. «У него благородное сердце, и намерения у него благие, но едва ли достанет у него сил... Ему недостает, между прочим, и того практического смысла и того навыка к делам, который все-таки был у Шихматова, а помощников у него нет», – записал о Норове между многим другим А. В. Никитенко<sup>29</sup>. Имея в числе своих доводов и очень веские, Норов давал их недостаточно умело: при общей эмоциональности выступления многословие снижало четкость контраргументов. Ораторски недопустимо слабою была его речь на предпоследнем заседании Общего собрания: перед членами, уже знакомыми с доводами обеих сторон, он зачитывал кусками текст мнения своих противников и пристранно их опровергал.

Блудов же действовал гораздо эффективнее. Письменные мнения его были изложены более лаконично, формально выглядели логичнее. Его слова о ходе дела в Государственном совете, где в невыгодном свете представал Норов, в обществе казались правдоподобными тем, кто знал о личных недостатках министра. Даже Никитенко – авторитетный консультант при Уварове, Ширинском-Шихматове и самом Норове не разобрался в деле и недальновидно приписал упорство министра в вопросе о разрядах его общей малокомпетентности. «Обо всем этом мы тогда много толковали с Норовым, – писал он, – и, между прочим, я советовал ему принять мысль комитета (блудовского. – М. Ш.) относительно производства в чины»<sup>30</sup>. К тому же, будучи председателем Департамента законов, Блудов влиял на государственную канцелярию и, по-видимому, обеспечил себе более выгодную редакцию журналов заседаний своего Департамента, которые рассыпались остальным членам Государственного совета: некоторые особенно выразительные статистические сведения, имевшиеся у министра, в официальный журнал не попали.

В поддержку Норова решительно выступили министр внутренних дел С. С. Ланской, управляющий Морским министерством барон Ф. П. Врангель и председатель Департамента гражданских и духовных дел принц Петр Ольденбургский.

«Число всех учащихся... – писал Ланской, – по отношению к беспрерывно умножающемуся населению Империи... может быть названо скорее уменьшающимся». Недостаток образованных чиновников по-прежнему велик, «особенно по губерниям», и без увеличения их числа рационализация де-

лопроизводства и вообще серьезное повышение эффективности государственного аппарата невозможно. Отбор надо не прекращать, а, наоборот, усиливать: «... Министр Внутренних дел скорее готов был бы просить о заграждении пути ко вступлению в гражданскую службу людям недоучившимся, нежели отвращать от сей службы образованных». Для воспитания отборных чиновников по идее и предназначены учебные заведения Министерства народного просвещения: «... Университетский студент и не приготовлен для управления каким либо промышленным заведением, точно так же, как полуграмотный разночинец не приготовлен к гражданской службе». Ссылку на злоупотребления от погони за чинами Ланской считал в данном случае некорректной. Высокообразованный человек должен быть минимально удовлетворен своим социальным статусом: «Пока будут в России гражданские чины, до тех пор кандидаты и магистры не пойдут в приказчики, или ремесленники, а почему, — то не требует доказательств, при нынешних общенародных понятиях наших и организации разных сословий государства». Масса мелких чиновников без образования «с происходящим от них потомством разночинцев» как раз и есть «вредная каста», непомерное увеличение которой имеет отрицательные последствия. Поэтому как бы ни был несовершенен закон 1834 года, заключал министр внутренних дел, «дух его или смысл несомненно полезен... то есть *намерение* Правительства *предоставить высшие места по гражданской службе преимущественно лицам образованным*<sup>31</sup>.

Ф. П. Врангель обратил внимание на то, что одновременно в Государственном совете рассматривается ходатайство государственного контролера Н. Н. Анненкова — того самого, что выступил вместе с Блудовым за уменьшение привилегий по службе чиновникам, имевшим среднее и высшее образование, — ходатайство, уже одобренное Департаментами законов и экономии, о том, чтобы для поступающих на службу в его ведомство эти привилегии увеличить, так как в государственном контроле из 300 чиновников только 90 имеет образование, и из них лишь 25 — высшее. При этом, продолжал адмирал, два члена Совета «из числа 5, поддерживающих уничтожение разрядов», признали, что «из представленных сведений не видно,

чтобы в других ведомствах эта пропорция была выгоднее». В морском ведомстве из 1509 чиновников (за исключением медиков) с учетом перешедших из военной службы только 74 окончили высшие учебные заведения, а средние – лишь 89. Врангель считал, что разряды следует не только сохранить, но для лиц, принадлежащих к I-му, отменить различия в сроках производства, связанные с происхождением<sup>32</sup>.

Принц Ольденбургский давно проявлял озабоченность состоянием государственных кадров. Будучи сенатором, он в 1834 году обратился к императору Николаю I с предложением об учреждении Училища правоведения, предлагая пожертвовать для этого личные средства: «Недостаток образованных и сведущих чиновников в Канцеляриях судебных мест составляет неоспоримо одно из важнейших неудобств... Учебные заведения, ныне существующие, не удовлетворяют сей потребности Государства... Для устройства канцелярий... полагаю необходимым чтобы улучшение содержания согласовано было с образованием людей, для гражданской службы назначаемых...»<sup>33</sup> Николай I тогда распорядился привлечь к делу М. М. Сперанского; предложение было осуществлено. Но и через двадцать лет плодотворных трудов опекаемого им Училища принц Петр отнюдь не считал достигнутые результаты окончательными: «Хотя прилив образованных молодых людей в Столицы и в знатнейшие города по некоторым отраслям высшего управления может быть и велик; но нельзя без содрогания и душевного соболезнования думать о составе лиц Полицейского управления даже в Столицах и о составе Канцелярий Губернских и уездных...»<sup>34</sup>

Аргументация сторонников уничтожения разрядов аналогична блудовской: это разделение несправедливо – такой главный довод. Письменные мнения в пользу главноуправляющего II Отделением императорской канцелярии представили присутствующий в Департаменте законов князь П. П. Гагарин, государственный контролер Н. Н. Анненков, князь А. Ф. Голицын, министр двора В. Ф. Адлерберг, присутствующие в Департаменте экономии Л. В. Тенгборский и адмирал В. И. Мелихов. Одно мнение поступило за подписью троих членов: Н. А. Челищева, адмирала Ф. П. Литке, присутствующего в Департаменте законов генерала П. Н. Игнатьева. Характерно полное отсутствие каких-либо статистических сведений.

Как бы нейтральную позицию занял граф Д. Е. Остен-Сакен, предложив свои меры к постепенному уничтожению чинов. Но суждения его скорее подтверждали правильность позиции Норова. Вспоминая свое 22-летнее начальствование корпусами в провинции, генерал писал, что «не мог отбиться от дворян, поступающих на службу из уездных и дворянских училищ и 4х и 5х классов гимназии. При убеждении моем родителей, не потворствовать лености детей и понудить их к окончанию хотя бы гимназического курса, был почти один и тот же ответ: «ему уже 16ть лет, когда же он выслужится в чины?»<sup>35</sup> Очевидно, офицеры с высоким уровнем образования на общем фоне заметно выделялись: современники это отметили. «... Целью поступления в университет были опять-таки преимущества которые предоставляло молодым людям университетское образование для военной службы... – вспоминал тогдашние дворянские настроения тверской помещик Г. Ф. Головачев, – ... университетские выходцы, которых вообще не жаловали старые служаки, составляли лучших офицеров, и из них назначались большою частью должностные лица, где требовалась грамотность, как например: казначеи, адъютанты и проч. В полках в наше время, то есть в тридцатых годах их было сравнительно немного; так, например в нашем полку (Ямбургском уланском) на общее число (40–45 офицеров) бывших студентов было пять человек. Большинство же офицеров было из числа молодых людей поступавших в юнкера из дома, по миновании шестнадцати лет, и все они, нередко плохо зная русскую грамоту, говорили по-французски...»<sup>36</sup> Рекомендация Остен-Сакена по форме звучала несколько курьезно: он советовал «для развития любознательности воспретить вступление в службу ранее 19 лет»<sup>37</sup>.

В выступлениях членов правительства уже понемногу давало себя знать начало новой эпохи. «Оттепель» 1856 года или разлитое в обществе предчувствие глубоких общественных преобразований затрагивало и Государственный совет. Озабоченность развитием экономики страны прорывалась в прениях на достаточно удаленную от этого тему. Так или иначе сознавалась необходимость уменьшения бюрократизма. Начинали звучать ссылки на опыт европейских государств, в частности, Англии, где «без экзамена никто не может даже вступить в службу»<sup>38</sup>. Надо отдать должное Государственному совету, взвешивавшему последствия

окончательного суждения, которое предстояло вынести. Чувство ответственности заставляло еще и еще раз задуматься. Журнал заседаний Общего собрания отметил «многие, весьма продолжительные и сильные прения». 5 ноября 32 члена высказались за то, чтобы продолжить обсуждение в присутствии всех министров и главноуправляющих, ибо вопрос, полагали они, еще не вполне ясен; против было 12. В числе тридцати двух были и те, кто уже высказывался на стороне Д. Н. Блудова, — В. Ф. Адлерберг, Н. Н. Анненков, А. Ф. Голицын, П. Н. Игнатьев, Ф. П. Литке, В. И. Мелихов. Слово было за новым императором.

Вопрос обсуждавшийся Государственным советом был не в эпицентре внимания Александра II. Самодержец стоял перед всеохватной задачей определить контуры новой внешней и внутренней политики России. Как личность Александр Николаевич сформировался под мощным влиянием отца. Государственные проблемы он привык видеть его глазами и после его кончины известное время сохранял привычные представления неизменными. Со временем совершил он по воле родителя постепенно втягивался в обсуждение гражданских дел в высших правительственныех местах, но большого рвения к ним не проявлял. Еще воспитатели и преподаватели отмечали у наследника недостаток трудолюбия, внутренней воли к тому, чтобы терпеливо разбираться в сложных вопросах, требующих умственного напряжения. Основное внимание и интерес цесаревича Александра Николаевича были сосредоточены на армии. Гражданские дела не занимали первостепенного места в его государственной деятельности<sup>39</sup>. Он давно знал М. А. Корфа — сторонника Д. Н. Блудова в разбиравшемся Государственным советом вопросе — и благоволил ему. Барон сообщил в дневнике, что в 1851 году наследник читал его «журнал (очевидно, Блудовского комитета. — М. Ш.) о правах воспитанников учебных заведений при поступлении на службу»<sup>40</sup>. Познакомившись с итогами заседания Государственного совета 5 ноября 1856 года, император Александр II счел дело достаточно ясным и велел приступить к голосованию.

На заседании 20 ноября 29 членов проголосовали за отмену разрядов, 13 — за сохранение. Любопытно, что за ликвидацию разрядов проголосовал покровитель так называемой либеральной бюрократии — сторонников кардинальных реформ

великий князь Константин Николаевич, а против — ее будущий последовательнейший противник граф В. Н. Панин. Император утвердил мнение большинства<sup>41</sup>.

Указ Сенату 9 декабря 1856 года устанавливал единые сроки производства. При обыкновенном течении службы из XIV класса теперь постепенно производили в V за 24 года, при отличиях — за 17 лет как минимум. То есть стали производить всех по срокам, предназначавшимся ранее только для чиновников I разряда.

\* \* \*

**ТАКИМ ОБРАЗОМ**, секретный комитет, учрежденный Николаем I для пересмотра «постановлений и распоряжений по части Министерства народного просвещения» оказался совершенно не способен повлиять на организацию учебных заведений ведомства, на само обучение в них. Этого не позволила сделать уже далеко зашедшая специализация и професионализация кадров Министерства, относительно высокая степень зрелости российской системы образования. Внимание Комитета по необходимости обратилось на вопросы о том, кого воспитывать в казенных училищах, какие перспективы открывать для воспитанников. Малое с самого начала внимание императора к Комитету, война и смена царствования затянули дело. Итак, как бы исподволь в правительстве был возбужден вопрос о роли и значении народного образования в государстве.

Принцип всесословности системы общего образования в целом был категорически подтвержден. О приоритете государственных учебных заведений над частными почти и не упомянули — настолько самоочевидной была его целесообразность. Из прений в Государственном совете отчетливо видно, что и полвека спустя после «дней Александровых прекрасного начала» дворянство по-прежнему предпочитало образованности чиновность. Присутствие же нового по своей психологии социального кадра — воспитанников гимназий, пансионов, лицеев, университетов — давало себя знать не только в печати, но как-то и на государственной службе. Выпускник Училища правоведения К. П. Победоносцев вспоминал об этом так: «Министерство юстиции и сенат стали пополняться людьми молодыми, полу-

чившими образование в университетах и в училище правоведения. Робко и нерешительно начинали они свою карьеру, встречая противодействие в массе старого поколения, окружавшей их со всех сторон, не разделявшей их образа мыслей, смеявшейся над их служебной наивностью, ненавидевшей их за то предпочтение, которое им оказывали. Но по мере того как прибывало число новых пришельцев, связанных между собою духом корпорации и товарищества, укреплялись силы их внешние и внутренние, а силы противников слабели. Новое поколение разделилось на группы, состоявшие в общей связи, поддерживавшие друг друга и поддерживаемые неизменным покровительством министерства. Покровительство это... не превратилось еще в насильственную запретительную систему, в которой одному классу отворена широкая дорога, а всем другим заперта безусловно. Молодые люди, одушевленные на первый раз и мыслью о своем призвании, духом товарищества, не успели еще приобрести опасной веры в свое безусловное превосходство. Каждый должен был трудом и способностью доставить себе место и значение, каждый, вступая в службу, не доверял еще своим силам, но искал около себя наставника и руководителя... Нашлось несколько почтенных людей, которые взяли на себя эту благородную обязанность, и около этих-то руководителей успели образоваться группы молодых людей, работавших с одушевлением и любовью к делу; скоро министерство юстиции могло похвастаться, что ни в одном министерстве нет такого количества людей способных и свежих душою»<sup>42</sup>. Общая численность чиновников, окончивших казенные учебные заведения, оставалась относительно небольшой. Тем не менее они оказывались на виду, контрастируя с массой малообразованных «подъячих». Однако создается впечатление, что в середине 1850-х годов в большинстве своем высшие сановники Империи были настроены скептически в отношение первых и довольно равнодушно по отношению ко вторым. Упразднение существовавшего с 1834 года деления чиновников на разряды по скорости производства в зависимости от уровня образования не означало ликвидацию всех, писанных и неписанных, служебных преимуществ, связанных с образованием, но свидетельствовало о том, что был переоценен и отвергнут сам *принцип*, предполагавший в качестве обязательной нормы предоставление «высших мест по гражданской служ-

бе преимущественно лицам образованным». Впоследствии, университеты и гимназии, конечно же, не опустели. Численность учащихся мерно возрастала: в 1856 году училось 4169 человек в университетах и 19 098 в гимназиях, в 1857 году учились 4714 студентов и 20 274 гимназиста, в 1858-м – было соответственно 4884 и 22 270<sup>43</sup>. Удельный вес дворянства среди учащихся тоже не уменьшался, а продолжал держаться примерно на том же уровне: например, среди студентов дети дворян и чиновников составляли в 1855 году 65,3 %, десять лет спустя – 66,6 %<sup>44</sup>. Но образованные чиновники теперь не могли группироваться, концентрироваться в значительных масштабах на крупных должностях и рассеивались в массе малообразованных.

### *Примечания*

<sup>1</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XII. Л. 266 об.

<sup>2</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 371.

<sup>3</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. V. Л. 184 об.

<sup>4</sup> Русское общество 40–50-х годов XIX века. Часть 1. Записки А. И. Кошелева. М., 1991. С. 58.

<sup>5</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XIII. Л. 110–110 об.

<sup>6</sup> Там же. Ч. VII. Л. 307 об.

<sup>7</sup> ОР РНБ. Ф. 532. Ед. хр. 46. (Документы, связанные с деятельностью А. С. Норова на посту министра народного просвещения.) Л. 1 об.–2.

<sup>8</sup> Исторический вестник. 1890. № 8. С. 340.

<sup>9</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 368–369.

<sup>10</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XIII. Л. 110.

<sup>11</sup> См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 88. Д. 152; Оп. 90. Д. 123. Л. 71–110.

<sup>12</sup> Рождественский С. В. Последняя страница из истории политики на-

родного просвещения императора Николая I... // Русский исторический журнал. 1917. № 3–4. С. 58.

<sup>13</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XIII. Л. 109 об.

<sup>14</sup> Там же. Л. 109 об.–110; Норов А. С. Черновые заметки // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 52. Л. 17 об., 24.

<sup>15</sup> Рождественский С. В. Последняя страница из истории политики народного просвещения императора Николая I... С. 42, 49–50.

<sup>16</sup> К. П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996. С. 69.

<sup>17</sup> Рождественский С. В. Последняя страница из истории политики народного просвещения императора Николая I... С. 46.

<sup>18</sup> Егоров Ю. Н. Реакционная политика царизма в вопросах университетского образования в 30–50-х гг. XIX в. // Научные доклады высшей школы: исторические науки. 1960. № 3. С. 65, 66, 67.

<sup>19</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. С. 414.

<sup>20</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д.

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- <sup>32</sup> (О сроках производства в чины от 14-го до 5-го класса включительно.) Л. 196–198 об., 201, 211 об.
- <sup>21</sup> Норов А. С. Черновые заметки // ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 52. Л. 2, 19–19 об.
- <sup>22</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 209 об.
- <sup>23</sup> Подсчитано по ведомостям о доходах и расходах государственного бюджета за 1800–1841, составленным бароном М. А. Корфом на основании актов Государственного совета для его председателя генерал-адъютанта князя И. В. Васильчикова и собственного служебного пользования. Данные сведения составляли государственную тайну. ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. IV. Л. 38–44.
- <sup>24</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 209 об.–210.
- <sup>25</sup> ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 52. Л. 27, 29.
- <sup>26</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 211.
- <sup>27</sup> ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 52. Л. 2 об., 12 об., 14, 22 об.–23.
- <sup>28</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XIII. Л. 44 об.–45.
- <sup>29</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 370.
- <sup>30</sup> Там же. С. 447.
- <sup>31</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 76–83.
- <sup>32</sup> Там же. Л. 109–111.
- <sup>33</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. V. Л. 158 об.–159
- <sup>34</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 130 об.
- <sup>35</sup> Там же. Л. 94 об.
- <sup>36</sup> Русский вестник. 1880. Т. 149. № 10. С. 720.
- <sup>37</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 186.
- <sup>38</sup> Там же. Л. 197, 227; ОР РНБ. Ф. 531. Ед. хр. 52. Л. 2, 7.
- <sup>39</sup> Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы (1801–1917). М., 1993. С. 169–170, 171, 174, 175.
- <sup>40</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XIV. Л. 23 об.
- <sup>41</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год. Д. 32. Л. 214 об.–215 об., 217, 219 об., 228 об.
- <sup>42</sup> К. П. Победоносцев: pro et contra. Спб., 1996. С. 69.
- <sup>43</sup> Князьков С. А., Сербов Н. И. Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II. М., 1910. С. 221.
- <sup>44</sup> Егоров Ю. Н. Ук. соч. С. 67. Обзор деятельности Министерства народного просвещения и подведомственных ему учреждений в 1862, 1863 и 1864 годах. СПб., 1865. С. 230.

## Глава VII

# Правительственный курс и общественное мнение

«Хотя цари и были деспотическими владыками, они всегда чутко относились к мнению ограниченных общественных кругов своей империи», — говорит западный историк<sup>1</sup>.

Конкретно политическую роль общественного мнения в самодержавной России XIX–начала XX века современному исследователю начинать искать надо, конечно, там, где умами надолго овладевали оценки, суждения, представления, заметно отклонявшиеся от официальных или полуофициальных. При этом важно понимать, что бюрократия и интеллигенция никогда не были отделены друг от друга «китайской стеной». Придворно-правительственная среда и ниже ее стоявшая общественность всегда влияли друг на друга. Их взаимодействие постепенно приобретало черты конфронтации тем заметнее, чем более росло влияние идей, усиливающих стремление среди всех новых поколений выпускников казенных учебных заведений политически конкурировать с самодержавным правительством путем независимой общественной деятельности, что также осложнялось появлением и ростом революционного подполья.

В 1830–1840-е годы пополнявшееся молодежью из университетов, пансионов, лицеев, гимназий среднее столичное чиновничество повседневно вращалось в массе «образованной публики» и в бытовом плане с ней сливалось. Оно дышало той же атмосферой петербургских кофеен и гостиных, московских салонов и кружков. Формирующая государственную политику

придворно-правительственная среда, хранящая в своих преданиях ее тайны и методы, за настроением личного состава нижестоящих звеньев правительственного аппарата следила постольку, поскольку требовалось сохранять над ним контроль. «Говорят и кричат более всего в бюрократии, — записывал барон М. А. Корф 5 марта 1848 года в дневнике со слов начальника III Отделения А. Ф. Орлова, — но в ней нет... ни единодушия, ни силы»<sup>2</sup>. Тот год был отмечен необыкновенно сильным вниманием к европейским новостям, возросший интерес общественности к политическим вопросам стал вдруг как-то необычно заметен. А. Э. Циммерман, тогда только закончивший Военную академию Генерального штаба поручик, вспоминал: «... этот громовой удар (извержение во Франции Луи Филиппа и провозглашение республики. — *M. Ш.*) озадачил всех. Кидались с жадностью на газеты, кофейни наполнились посетителями. Старожилы говорили, что во время Июльской революции внимание Петербургского общества далеко не было так взбудоражено как теперь; в 1830 году мало кто и говорил о Парижских событиях, но в 1848 году только и было речи во всех кружках что о политике»<sup>3</sup>.

Настроения среднего столичного чиновничества в конце николаевского времени составляли тем более весомый компонент общественного мнения, что государственная служба оставалась тогда основной, если не почти единственной, сферой приложения сил выходцев из казенных учебных заведений. На эту среду, как на заметный общественный фактор, указывал министр народного просвещения С. С. Уваров, рассуждая в 1847 году о нежелательности упразднения гражданских чинов. «В России трудно делать решительный вывод касательно общего мнения; потому что оно лишено возможности открыто высказываться и обнаруживаться», — писал он, относя себя к числу тех, «кто пристально и вблизи наблюдает за его ходом». Упразднение системы гражданских чинов, полагал Уваров, чревато падением интереса к гражданской службе поместного дворянства. А это, по его мнению, было опасно тем, что это вот разросшееся чиновничество составляет «уже у нас многочисленное сословие», которое мало связано с традициями сословия высшего и имеет «свое особое направление». Его засилье на государственной службе может привести к тому, что произойдет

«переход политической деятельности в руки *среднего класса*, что в прочих Европейских государствах называется: *Tiers-Etat*, или *Bourgeoisie*»<sup>4</sup>.

Вне общественного мнения не приходится считать и наиболее образованную часть армии в лице офицеров, причисленных к Генеральному штабу. Среди них также можно было видеть возросший интерес к европейским политическим событиям. А. Э. Циммерман вспоминал о своем дружеском общении в 1840-е годы с будущим реформатором русской армии, самым популярным тогда профессором Военной Академии Д. А. Милютиным: «По целым вечерам просиживал я у него; шли длинные рассуждения более о политике... я был весь предан тогда республиканским убеждениям, но мнения мои были умереннее, чем образ мыслей Милютина; он верил новым экономическим теориям и ожидал большого переворота в судьбах человечества после событий 1848 года... он полагал что со временем и самый принцип собственности, как уже отживший свой век, будет уничтожен и осуществляться теории коммунизма, и что всего удобнее наградить человечество этими благодеяниями посредством настойчивых бюрократических мер, действуя комитетами, редакционными комиссиями и пр. Милютин ожидал тогда многоного от редакционной комиссии находившейся тогда под председательством Луи Блана в Люксембургском дворце»<sup>5</sup>. При этом, по словам того же мемуариста, «тогда нетрудно было достать недозволенные цензурой сочинения»<sup>6</sup>.

Возросший интерес к политике Циммерман увидел и в Русском географическом обществе, в члены которого был выбран в 1849 году: «В Русской партии было очевидно желание придать политический характер деятельности общества, Немецкая же партия хотела оставаться в строго научной сфере»<sup>7</sup>. Общение профессоров военных и гражданских, ученых, литераторов, других представителей столичного чиновничества, выделявшихся образованностью, кругозором, профессионализмом, составляло среду, где происходила, так сказать, свободная встреча русского административного опыта и европейских общественно-политических идей. Лидеры той среды

\* Третье сословие, или буржуазия (*фр.*).

не принадлежали к «верхнему этажу» николаевской политической системы, но уже достаточно высоко стояли на служебной лестнице, чтобы обратить на себя внимание тех из придворно-правительственных кругов, кто надеялся в недалеком будущем сыграть самостоятельную политическую роль. Так, с конца 1840-х годов в салонах великой княгини Елены Павловны, супруги любимого брата императора великого князя Михаила Павловича, и брата цесаревича великого князя Константина Николаевича начинают появляться будущие деятели эпохи Великих реформ, которых современники с надеждой или со скепсисом называли «партией петербургского прогресса», «изящными демократическими чиновниками»<sup>8</sup>, «корифеями Российской либеральной бюрократии», «канцелярскими и департаментскими демократами»<sup>9</sup>. В своих политических планах они вынашивали новое видение общественной роли печатного слова. Но поскольку действовавшая правительенная система исключала превращение последнего в одну из форм общественного мнения, политические возможности прессы еще только предстояло когда-то освоить.

Немногочисленная, но уже вполне регулярная читающая аудитория к концу сороковых годов в России сложилась прочно. Чем более она созревала, чем более оттачивались ее вкус и мышление, рос ее интеллект, тем сильнее раздражала ее кость цензуры. «Неужели генералы и даже адмиралы разные... не понимают, что налагать молчание на самодельную мысль все то же, что готовиться к войне и запретить всякую выделку пороха для того, чтобы он не сделался орудием мятежа... — писал А. С. Хомяков в 1848 году. — Видеть, что нет никакой возможности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно... цензура делается неслыханным бичом». Пищущие круги полностью лишились и того небольшого литературного поля, в пределах которого письменное публичное выступление ранее не встречало стеснений: «... мысль и ее движение теперь подозрительны, какое бы ни было их направление»<sup>10</sup>. Тем не менее лояльность ученого-литературной общественности по отношению к правительенному курсу на рубеже 1840–1850-х годов как будто стойко выдерживала искушение. В том же 1848 году у редактора «Москвитянина» М. П. Погодина зародилась мысль подать адрес царю от имени литерато-

ров с жалобой на излишние стеснения цензуры. Но поддержки у коллег и собратьев по перу эта затея не получила. «...Я испугался и за тебя, и за дело, — писал Погодину И. В. Киреевский. — Подумай: при теперешних бестолковых переворотах на Западе время *ли* подавать нам адресы о литературе? Конечно, цензурные стеснения вредны для просвещения и для правительства, потому что ослабляют умы без всякой причины; но все эти отношения ничего не значат в сравнении с текущими важными вопросами, которых правильного решения нам надо ожидать от правительства»<sup>11</sup>.

Ходатаем за «пишущий класс» попытался стать профессор А. В. Никитенко. Когда приступил к работе Меншиковский комитет, он выразил такое желание в письме к другу юности генерал-адъютанту Я. И. Ростовцеву: «... может было бы весьма нeliшим, если б кто-нибудь, например, хотя бы Его Высокопревосходительство Корф выслушал чистое и беспристрастное изъявление хода дел в нашей литературе из уст человека, понимающего это дело и не зараженного ересью теорий? Этим человеком мог бы быть я». Но, как член негласного правительственного органа, Корф разговаривать с Никитенко отказался<sup>12</sup>.

Прошло два года. М. А. Корф стал замечать острое недовольство образованной публики действиями цензуры и забеспокоился. «... Надобно нам быть либеральнее, — убеждал он председателя Комитета 2 апреля генерал-адъютанта Н. Н. Анненкова, — не для нашей личности... а для... общей пользы.» В 1851 году барон уже совсем не видел необходимости в существовании Комитета высшей цензуры: «... было бы в порядке... если б совсем был упразднен этот несчастный Комитет, которому за усмирением писателей строгостью цензуры и собственным надзором Министерства и делать больше нечего»<sup>13</sup>.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришло событие, которое потрясло мировоззрение целого поколения — Крымская война. Почти полтора века Россия шла от победы к победе. За годы царствования Николая I выросло поколение, воспитанное в духе безграничного доверия к власти. Последняя, требуя именем блага страны полного себе повиновения и преданности не только за страх, но и за совесть, фактически исключала развитие у представителей молодого поколения самостоятель-

ных зрелых суждений о том, каковы естественные пределы мощи Империи, какую войну она может выиграть, а какую — нет, что значит для России быть готовой к войне. По справедливо-му замечанию современного исследователя, «воспитывалось поколение, настолько привыкшее к победам, настолько приученное к мысли о военной неуязвимости России, что оно окажется не в состоянии не назвать отступление поражением, а поражение — катастрофой», «у многих в подсознании осталась с детства внушаемая идея о том, что Россия в состоянии воевать один на один с Европой. Если же война проиграна, рассуждало это поколение, то виновата в этом государственная система». Возникшие в это время «либеральные настроения имели, таким образом, корни в оскорблении чувстве национальной гордости, в прививаемой годами склонности переоценивать военные ресурсы России. Парадокс состоял в том, что эти настроения были следствием «николаевской» системы ценностей»<sup>14</sup>. Естественно, у таких людей как, например, братья Дмитрий и Николай Милотинцы, либерализм был неотделим от стремления к восстановлению величия России.

Ученолитературной общественности события Крымской войны пришлось переживать, оставаясь под гнетом «цензурного террора». Потребность в печатном слове не угасала, а, наоборот, усиливалась. «Несмотря на то, что мысль была в опале, скована цензурою, — вспоминал профессор С. М. Соловьев, — книжки журналов ожидались с нетерпением и прочитывались с жадностью...»<sup>15</sup> Но содержательный уровень печати безнадежно упал. Копившееся с конца 1840-х годов разочарование и уныние выливались теперь в смятение и ожесточение. Всю правительственныйную систему в этих кругах стали яростно порицать. По воспоминаниям Е. М. Феоктистова, она теперь «оскорбляла все лучшие чувства и помыслы образованных людей и с каждым днем становилась невыносимее; ненависть к Николаю, — добавляет он, — не имела границ»<sup>16</sup>. Фрейлина цесаревны Марии Александровны А. Ф. Тютчева, смотревшая на настроения образованной общественности несколько со стороны, в своем дневнике в дни получения в Петербурге известий о высадке союзников в Крыму писала: «В публике один общий крик негодования против правительства, ибо никто не ожидал того, что случилось. Все так привыкли беспрекословно верить в мо-

гущество, в силу, в непобедимость России. Говорили себе, что если существующий строй несколько тягостен и удушил дома, он, по крайней мере, обеспечивает за нами во внешних сношениях и по отношению к Европе престиж могущества и бесспорного политического превосходства»<sup>17</sup>. Но иные из ученого-литературных кругов в своей критике шли гораздо дальше. С. М. Соловьев вспоминал о своих чувствах так: «... когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой – мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет». Переживания событий войны в атмосфере «цензурного террора» порождали чисто эмоциональные оценки николаевской системы: «тридцатилетняя ложь», «тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил»<sup>18</sup>.

Этот гиперкритический пафос не мог не оставаться незамеченным на официальном уровне. Явное стремление, по возможности, умиротворить разгоряченные умы соотечественников, вселить больше равновесия в их души, больше трезвости в их суждения о происшедшем ощущается в речи митрополита Московского и Коломенского Филарета, произнесенной 25 марта 1856 года в Чудовом монастыре перед благодарственным молебном о заключении мира. Чтобы передать тот контраст, который являла изображенная в этой речи картина с восприятием завершившейся войны ученого-литературной общественностью, требуется процитировать ее пространнее: «Нельзя равнодушно вспоминать, какие трудности надлежало преодолеть в сей брани российскому воинству, какие тягости должен был понести народ, каким лишениям и страданиям подверглись от врагов наши соотечественники... Но с сими печальными воспоминаниями соединено и утешительное и величественное. Наши воины моря, начав свои подвиги истреблением турецкого флота, когда должны были уклоняться от чрезмерно превосходящей морской силы нескольких держав, не только не уступили

своих кораблей, но и сделали из них подводное укрепление для защиты пристани и города. Потом соединенные воины моря и суши одиннадцать месяцев победоносно противостояли в Севастополе многочисленнейшим войскам четырех держав и беспримерным доныне разрушительным орудиям. Наконец, хотя и допущены враги работать над оставленными им развалинами для умножения развалин, но в Севастополе стоит доныне русское воинство. На Дальнем Востоке малое укрепление, с горстью людей, отразило морское и сухопутное нападения несравненно сильнейших врагов, по признанию участвовавших в том более молитвой, нежели силой. На западе два сильнейшие флота бесполезно истощали свои усилия против одной крепости, а на другую только смотрели издали. На севере было странное противоборство: с одной стороны военные суда и огнестрельные орудия, с другой — священнослужители и монашествующие, со святыней и молитвою ходящие по стене обители, и несколько человек со слабым и неисправным оружием — и обитель осталась непобежденной, и святыни неприкосновенными. Против России действовали войска четырех держав, в числе сих были сильнейшие в мире. Из держав мирных некоторые были вполне мирны, а некоторые своим неясным положением уменьшали удобство нашего действия, и сие обращалось в удобство наших врагов. И, несмотря на все сие, в Европе мы не побеждены, а в Азии мы победители. Слава российскому воинству! Благословенна память подвижников Отечества, принесших ей в жертву мужество, искусство и жизнь!... Впрочем, если происходившая война и представляет на нашей стороне утешительные виды: сие не должно было располагать к желанию, чтобы война продолжалась. Слава Богу, что православно-христианская Россия не была виною начатия войны; и не объявила ее, а приняла объявленною: должно было ей охранить себя, чтобы ни малейшей частию не пала на нее вина продолжения войны. Благодарение Благочестившему Государю Императору, охранившему нас от сего, человеколюбно пощадившему кровь своих и чужих, христиански предпочтенному кроткий мир мстительной взыскательности»<sup>19</sup>.

Крымская война велась Россией в условиях военно-политического противостояния со всей Европой. Военная угроза была практически по всему периметру российских границ.

Австрия предъявила России ультиматум, угрожая открыть военные действия. Прусский король, заверяя русского императора в своих самых лучших личных чувствах, не давал гарантий, что не присоединится к его врагам. Швеция заключила с Англией и Францией военный союз. Это была единственная в Новой и Новейшей истории война, которую Россия вела, будучи без единого союзника в Европе. Ни одна империя в мире не могла выиграть и никогда не выигрывала войны с коалицией в состоянии политической изоляции со стороны всех остальных Великих держав. Прочная дипломатическая изоляция России предопределила неудачный исход войны. Борьба могла вестись лишь за наименее худшие условия мира.

В литературе обычно говорится о том, что николаевская Россия имела отсталую систему комплектования войск. Но всеобщей воинской повинности, с которой обыкновенно связывают на том этапе прогресс в этой области, не было ни у кого из противников России. При сохранении традиционного названия повинности — рекрутская — в 1830—1840-е годы фактически была введена конскрипционная система. Она позволила развернуть, несмотря на потери, колоссальную для XIX века армию. На начало 1856 года в действующих войсках числилось 824 генерала, 26 614 офицеров, 1 170 184 нижних чина. В резервных частях состояло 113 генералов, 7 763 офицера, 572 158 нижних чинов. Вместе же с ополчением под ружье было поставлено более 2 миллионов 300 тысяч человек. Армия мирного времени фактически увеличилась в 2,5 раза, если при этом исключить потери<sup>20</sup>.

После войны в обществе бытовало мнение, затем перешедшее в историческую литературу, что Россия проиграла союзникам из-за острой нехватки нарезного стрелкового оружия. Но армий полностью им вооруженных тогда не было нигде, а количество пехотинцев со штуцерами в России почти достигало общего числа легкой пехоты Франции и Австрии вместе взятых. Союзники смогли увеличить в Крыму количество легкой пехоты потому, что их национальные границы для России были неуязвимы. В 1870 году вооруженность всей французской пехоты лучшей тогда в мире винтовкой Шаспо не помешает Франции быть наголову разгромленной Пруссией.

Технические новшества, пока они осваиваются, часто кажутся на первых порах каким-то чудом, от них порой ждут чуть ли не волшебных результатов. «Общий голос признавал, — вспоминал Д. А. Милютин, — что результаты Крымской войны могли быть совсем иные, если бы Крым был тогда связан с Москвой железным путем...»<sup>21</sup> Но дело заключалось вовсе не в том, чтобы поскорее накопить побольше войск в Крыму<sup>22</sup>. Ни одна империя в принципе не может быть сильна сразу на всех стратегических направлениях. Крымское направление в стратегическом отношении было одним из наименее опасных. Попытка союзников после одиннадцатимесячной борьбы за Севастополь развить успех из Крыма была для них равносильна новой десантной операции с перспективой втянуться в осаду какого-либо другого укрепленного пункта. Наиболее опасным было направление западное. Именно на западной границе России должна была держать лучшие воинские соединения и многочисленные резервы. И впоследствии, после создания сети железных дорог пространственная разобщенность потенциальных театров военных действий продолжала оставаться отягчающим фактором стратегического положения России.

Известный французский историк конца XIX века А. Дебидур в «Дипломатической истории Европы» самый значительный результат Крымской кампании союзников — занятие Севастополя — оценил довольно сдержано: «... с военной точки зрения победа союзников вовсе не была решающей. Она являлась, главным образом, героическим подвигом, способным дать удовлетворение самолюбию. Русские эвакуировали лишь южную часть города. Они оставили ее в пламени. Они отступили в северную часть, по ту сторону рейда, куда союзный флот не мог даже проникнуть. Казалось весьма трудным вытеснить их оттуда. Последнее усилие истощило и коалицию». В общем же итоге войны на всех ее театрах к 1856 году «несмотря на ожесточенный и производившийся во многих направлениях штурм, которому подверглась Российская империя, она оставалась еще почти нетронутой». Государственный долг Франции превысил полтора миллиарда франков. Ее общественное мнение обнаруживало недовольство, полагая, что продолжение войны отвечает лишь интересам Англии<sup>23</sup>. Общие людские потери Франции в Крыму составили более 30 % армии<sup>24</sup>.

Разноречия английской и французской исторических оценок событий Восточной войны примерно пропорциональны расхождениям двух кабинетов в определении ее целей и тренировкам двух дипломатий в ее продолжение. Крупный английский историк XX века А. Дж. П. Тэйлор, считавший работу А. Дебидура устарелой, итоги борьбы в Крыму счел возможным оценить более оптимистично, хотя ему едва ли удалось избежать признания конечного тупика союзной стратегии: «8 сентября Севастополь пал. Крымская война была выиграна, но союзники, как и прежде, не знали, что делать со своей победой. Они были в затруднении, в каком месте теперь атаковать Россию...»<sup>25</sup> Если исход вооруженной борьбы однозначно ясен, победитель всегда отлично знает, что ему дальше делать. Успехи союзников в Крыму были не настолько впечатляющими, чтобы, например, изменить позицию австрийского генералитета. Вопреки позиции главы ведомства иностранных дел графа К.-Ф. Буоля военные верхи Австрии были решительно против войны с Россией<sup>26</sup>. Очевидно, впечатления, оставленные русской армией во время Венгерского похода в 1849 году, были сильнее, чем оптимистические доводы британской дипломатии спустя четыре-пять лет.

Итоги войны вызвали в Европе глубокое разочарование. Тэйлор считал даже, что «русское общественное мнение оставалось гораздо более невозмутимым, чем общественное мнение Англии, добившееся отставки правительства Эбердина». Историк считал, что «после 1856 года Россия... так и не добилась того преобладания, каким она пользовалась в Берлине и Вене до 1854 года»<sup>27</sup>. Однако вряд ли похожий довод в устах членов кабинета тогда смог бы оправдать в глазах английской общественности беспрецедентные потери, понесенные британской армией<sup>28</sup>. Не скрывал своего скепсиса по поводу Парижского мирного договор один из главных инициаторов войны – виконт Г. Дж. Т. Пальмерстон: «Трактат сохранил Россию как огромную державу, способную через несколько лет, когда в результате более мудрой внутренней политики она разовьет свои необъятные естественные богатства, поставить под угрозу крупнейшие европейские интересы»<sup>29</sup>. В чем-то похоже звучит общее заключение об исторических итогах восточного кризиса, сделанное Дебидуром: «Не этих результатов ожидала Европа».

па в начале борьбы. Они не имели ничего общего и с теми, к которым, на взгляд большинства современников, привел Парижский конгресс. Россия казалась побежденной. Но в общем, сопротивляясь врагам, она покрыла себя славой. Она вышла из войны без унижений. Ее территориальные границы были почти сохранены. Короткий период, в течение которого она собиралась с силами и проводила внутренние реформы, позволил ей вскоре возобновить свое движение вперед. Ее исключение из Черного моря оказалось лишь времененным стеснением»<sup>30</sup>.

Весьма характерно то, что среди русской образованной общественности по окончании войны между прочим было мнение, что правительство признало поражение преждевременно. «Внутри не было изнеможения, крайней нужды, — утверждал С. М. Соловьев; — новый государь, которого все хотели любить как нового, обратясь к этой любви и к патриотизму, непременно вызвал бы громадные силы; война была тяжка для союзников, они жаждали ее прекращения, и решительный тон русского государя, намерение продолжать войну до честного мира непременно заставили бы их попятиться назад»<sup>31</sup>. Мысль о том, что высшая власть тогда не исчерпала всех возможностей для приведения войны к менее худшему исходу, чем тот, который последовал, не исчезла из общественного сознания и в дальнейшем. «Ум, судивший строго наше беспомощное состояние военной администрации, со смертью Николая, при первой возможности, под влиянием общего... разочарования, направлял все мысли к скорейшему окончанию войны и к заключению мира, и тем самым служил более интересам наших врагов, чем нашим, — писал тогдашний воспитанник Училища правоведения В. П. Мещерский. — А вторая военная сторона эпохи — героизм людей, наоборот, громко свидетельствовал, что со взятием Малахова кургана и по переходе на северную сторону мы можем еще долго держаться, отвергать всякие позорные для России условия мира. Эту духовную сторону тогдашней России очень чутко уразумели наши враги, и ее-то они и боялись...»<sup>32</sup>

Русская армия в Крыму после падения Севастополя не была деморализована. Но утомлена она, конечно, была ни чуть не менее союзников<sup>33</sup>. Участник войны А. Э. Циммерман в своих воспоминаниях рисует выразительную картину настроений

воюющей армии. Будучи на Кавказе, он в качестве офицера Генерального штаба внес большой вклад в победу при Ахалцихе 14 ноября 1853 года и был впоследствии переведен в Крым, где принял участие в обороне Севастополя. «С первых же дней увидел я огромную разницу между делами в Севастополе и в Закавказье, — вспоминал он. — На Азиятской границе в Кавказских войсках все дышало победами... к Туркам ненависти не было, а только презрение, или лучше сказать уверенность в том, что мы выше их, что мы все равно их побьем. В Севастополе увидел я другой дух и другое чувство: какое-то тупое озлобление, неуверенность в себе, или ненависть к неприятелю, или признание его превосходства над нами, недоверие к начальникам, разные вздорные и нелепые суждения; в иных желчное упорство без надежды на успех, в других апатия, покорность судьбе и спокойное ожидание гибели. Конечно там было много геройских типов и явлений, железные люди, чудеса храбрости. Но на всем лежал мрачный, трагический оттенок, без примеси того торжественного, триумфального колорита, которым окрашена была Кавказская армия»<sup>34</sup>. Главнокомандующий Кавказской армией Н. Н. Муравьев и генерал-губернатор Финляндии Ф. Ф. Берг, по утверждению Циммермана, высказывались за продолжение войны<sup>35</sup>.

Итак, на мой взгляд, очевидно, что вопрос о мнимых и действительных причинах поражения России в Крымской войне и по сей день оставляет место для научной дискуссии и дополнительных изысканий. И можно вполне увидеть, что представления об этом современников и действительная картина прошедшего были весьма и весьма не тождественны. Углубление образованного русского человека того времени в эти вопросы, несомненно, вело его к более объективному восприятию сильных и слабых сторон николаевской системы, достижений и упущений той правительственной политики. Оно вело бы к известному снижению накала разгоревшихся общественных страстей вокруг финала николаевского царствования. И, наоборот, чем более современник склонялся к упрощенному взгляду, по формуле «раз проиграли — все у нас никуда не годится», тем очевиднее его воображению рисовалась ненавистная картина «тридцатилетнего застоя». Пройдет полтора-два года, и со страниц первого номера «Во-

енного сборника» раздастся голос, призывающий к взвешенности в суждениях о минувшей войне: «Нигде однако же не заметно такого увлечения во мнениях, такого раздражительного тона в нападках на прошлое, как у нас... Огорченные последним неуспехом мы не дали себе труда вникнуть в истинные причины неудачи, и все успехи неприятелей наших в последнюю войну приписали превосходству их военного устройства, их оружия и даже тем неважным особенностям строя, которыми они от нас отличались... Могла ли Россия одна бороться против соединенных сил Англии, Франции, Турции, Сардинии, ожидая ежеминутно видеть против себя еще и Швецию и в особенности Австрию?.. Сравните население держав, воевавших с нами, с населением России, число войск их с нашими, сравните финансовые средства их, сравните их морские военные флоты с нашими и их купеческие флоты, также бывшие к услугам армий, — и результат сравнения ясно покажет, что другого исхода войны не могла иметь, без помощи каких либо непредвидимых случайностей... Рассматривая же общий ход всех сражений прошедшей войны, мы смело можем сказать, что в течение ее и солдат и офицер русский сделали все, что было в силах человеческих... в армии нашей еще не угасли те начала, которые завещал ей Петр Великий, она сохранила столько превосходных качеств, что смело может взглянуть в лицо критике... с уверенностью, что ее достоинства превышают... недостатки...»<sup>36</sup>

Ход событий войны, взволновавший, ввергнувший в смятение образованную общественность, до глубины души потряс и самого императора Николая I. Буквально на глазах у тех, кто видел своего монарха в последний год перед его кончиной, изменился его внешний облик. Фрейлина А. Ф. Тютчева записала виденное в дневнике. «... пришел государь, — читаем в записи от 22 июля 1854 года. — Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена происшедшей в нем в последнее время огромной переменой. Вид у него подавленный; страдание избороздило морщинами его лицо...» Вот запись 19 октября: «... сжимается сердце, глядя на государя... в его поступи, прежде такой твердой, эластичной, чувствуется подавленность. Его высокая фигура начинает сгибаться. У него какой-то безжизненный цвет лица, чело, еще недавно надменное, каждый день покры-

вается новыми морщинами, свидетельствующими об убийственных заботах, тяготеющих над этой гордой головой, ни перед чем доселе не склонявшейся». 24 ноября: «Вид государя пронизывает сердце. За последнее время он с каждым днем делается все более и более удручен, лицо озабоченно, взгляд тусклый... Государь каждый вечер приходит к цесаревне. Он всегда говорит о политике, говорит почти один своим медленным и звучным голосом, стараясь придать бесстрастное выражение своим чертам, изнуренным страданием...»<sup>37</sup> В. П. Мещерский вспоминает, что, будучи юным правоведом, тогда случайно увидел императора на улице: «Помню, что чуть ли не в воскресенье на масленице видел я в последний раз Николая I на улице. В санях он ехал один мимо балаганов, тогда стоявших на Адмиралтейской площади. Вид у него был все тот же богатырский, но лицо его носило печать величественной скорби, про которую в ту зиму все говорили. Про это выражение душевного страдания, как постоянное, нельзя забыть... Факт был несомненен: Николай I умирал от горя и именно от русского горя»<sup>38</sup>. Преданная дочь Ольга Николаевна в своих воспоминаниях писала: «Папá стоял как часовой на своем посту... когда он узнал, что существуют границы даже для самодержавного монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество никогда не оставляло его, он был слишком верующим, чтобы предаться унынию; но он понял, как ничтожен человек. Как часто он говорил нам в это время: «Когда меня не будет больше, молитесь обо мне»»<sup>39</sup>.

Верный сам понятиям о долге, он тридцать лет именем блага России от всех и вся неустанно требовал той же верности, дисциплины, порядка, того же исполнения долга. Военный в душе, он всегда подчеркивал, что считает себя частью своей армии: «Здесь, между солдатами... я чувствую себя совершенно счастливым. Здесь... все имеет свое значение, и тот самый человек, который сегодня сделал мне по команде на караул, завтра идет на смерть за меня. Только здесь нет никаких фраз, нет лжи, которую видишь всюду. Здесь не поможет никакое притворство, потому что всякий должен рано или поздно показать, чего он стоит ввиду опасности и смерти. Оттого

мне так хорошо между этими людьми, и оттого у меня военное звание всегда будет в почете»<sup>40</sup>. Он всегда напоминал себе, что прежде всего сам, как самодержец, несет ответственность за все, что касается судей России. Вот наступила война, его воины являли, как и прежде, мужество, героизм и неколебимую решимость жертвовать собой и далее... Но он – верховный вождь армии – не мог дать ей победу. И был момент, когда его неуверенность в себе армия почувствовала. «Постоянно неудачные дела сильно оскорбили сердце Николая Павловича, – писал флигель-адъютант князь В. И. Васильчиков. – К его негодованию присоединилось тягостное чувство всего Русского народа, скорбевшего о неуспехе нашего оружия, и все стали безотчетно требовать какого-нибудь дела, лишь бы победы. С этого времени водворился обычай требовать чего-нибудь, то есть не исполнения подробно обдуманного плана действий, существующего привести к предусмотренной цели, а блестящего действия какого бы то ни было рода,ющего служить рекламой и наделать шума»<sup>41</sup>. В реакции воюющей армии на смерть императора как будто чувствовалась какая-то укоризна. «Меня удивило, – вспоминал А. Э. Циммерман, – что смерть Николая Павловича, по-видимому, не произвела особенного впечатления на защитников Севастополя. Я заметил во всех почти равнодушие на мои вопросы, когда и отчего умер Государь, отвечали: не знаем»<sup>42</sup>. Лежа на смертном одре, император просил прощения у нее, у воюющей армии<sup>43</sup>. В приказе по войскам, отданном на другой день после кончины отца новым императором, последние слова Николая I прозвучали так: «Благодарю славную гвардию, спасшую Россию в 1825 году, равно храбрые и верные армию и флот; молю Бога, чтобы сохранил в них навсегда те же доблести, тот же дух, коими при мне отличались. Покуда дух сей сохранится, спокойствие государства и вне, и внутри обеспечено, и горе врагам его! Я их любил, как детей своих, старался, как мог, улучшить их состояние, ежели не во всем успел, то не от недостатка желания, но оттого, что или лучшего не умел придумать, или не мог более сделать»<sup>44</sup>.

Для столичной публики известие о кончине Николая I оказалось неожиданностью. «Все поражены внезапностью смерти... тогда как не было помещено ни одного бюллетеня о болез-

ни императора и об опасности, угрожавшей его жизни, — записывала Тютчева. — Говорят об отравлении... тысячи нелепых слухов, какие часто возникают в моменты неожиданных кризисов, слухов, которым верят массы, всегда жадные до всего необычайного и страшного. Для них все представляется возможно, кроме того, что действительно есть»<sup>45</sup>. В ученолитературных кругах новость встретили с большей или меньшей радостью, или, во всяком случае, с нескрываемым облегчением. Профессор К. Д. Кавелин писал своему старшему коллеге Т. Н. Грановскому из Петербурга в Москву 4 марта 1855 года: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом и бичом, и катком и терпугом по русскому государству в течении 30-ти лет, вырезавший лицо у мысли, погубивший тысячи характеров и умов... Это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры оконел... Если б настоящее не было бы так страшно и пасмурно, будущее так таинственно, загадочно, можно было бы с ума сойти от радости и опьянеть от счастья»<sup>46</sup>. «Это был вопль восторга, непримиримого озлобления против человека, воплощавшего собой самый грубый деспотизм, — вспоминал по этому поводу Е. М. Феоктистов. — Письмо переходило из рук в руки и в каждом из читавших его вызывало полное сочувствие»<sup>47</sup>. В среде московских славянофилов, по свидетельству В. С. Аксаковой, откровенного злорадства себе не позволяли, но явно были полны лучших ожиданий: «Общее впечатление таково в нашем кругу. Все говорят о государе Николае Павловиче не только без раздражения, но даже с участием, желая даже извинить его во многом. Но между тем все невольно чувствуют, какой-то пресс снят с каждого, както легче стало дышать... Его жалеют как человека, но даже говорят, что несмотря на все сожаления об нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес. Мир его душа! Он действовал добросовестно по своим убеждениям: за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем. Его система пала вместе с ним; в последнее время она достигла крайности»<sup>48</sup>.

Но попробуем отойти от среды ученых и литераторов несколько в сторону. Посмотрим на то, как реагировали на смерть Николая I современники, так сказать «второго ряда», почти или совсем не запечатлевшие себя в памяти последую-

ших поколений самодеятельной общественности в качестве выдающихся имен, — малоизвестные чиновники или офицеры. В исторической литературе на подобные суждения «среднего» представителя образованного слоя не было принято обращать внимание, хотя немалое число публикаций в исторических журналах второй половины XIX—начала XX века сохранило их голоса. Послушаем же их.

Вот несколько строк из дневниковой записи бывшего чиновника Министерства иностранных дел В. А. Муханова: «19 февраля 1855 года пришло в Москву известие о кончине императора Николая Павловича. Удар страшный и очень чувствительный, особенно в настоящее время. Одаренный непоколебимой волею, твердым характером, при долголетней опытности, покойный Государь соединял условия важные и необходимые среди грозных обстоятельств, в которых находится Россия... Если бы, при столь многих прекрасных свойствах, которыми был одарен покойный император, он получил воспитание соответственно его великому назначению, без сомнения, он был бы одним из великих венценосцев»<sup>49</sup>.

Вот вспоминает чиновник ведомства путей сообщения барон А. И. Дельвиг: «Не слыхав ничего о болезни, я был сильно поражен этой вестью... Слухи о слабости характера воцарившегося Императора приводили в отчаяние многих в том числе А. И. Нарышкина, который в прошедшее царствование беспрерывно поносил Николая I, но, узнав об его кончине, говорил мне неоднократно, что каков бы ни был покойник, все же при настоящих обстоятельствах было с ним лучше. Почти 30 лет прожили мы под величайшим гнетом, но, несмотря на это, почти все желали продолжения этого царствования из опасения, что при новом наши военные действия пойдут еще хуже. Впрочем надо сознаться, что мы, воспитанные под гнетом, свыклись с ним и вполне поняли его значение, только против несколько времени при новом царствовании»<sup>50</sup>.

Вспоминает инженер-генерал К. К. Жерве: «На меня смерть государя произвела неимоверно сильное впечатление, хотя его опасное положение было нам всем известно, и мы некоторым образом, были уже подготовлены к этой потере... со мной в первый раз в жизни сделался сильный истерический припадок... Николай Павлович был великий государь. Что ни

говори, он трудился неутомимо, заботился и старался возвысить Россию. Он в самом полном и обширном смысле слова был рыцарем чести, и как ни сурова казалась иногда его наружность, сердце его было золотое.»<sup>51</sup>

Настроения по поводу кончины Николая I вспоминает бывший флигель-адъютант В. И. Ден: «Молодое поколение большей частью приветствовало происшедшую перемену — если не радостно, то по крайней мере надеждами на более либеральное правление нового правителя, на больший простор мысли, на воцарение легальности и ограждение личных и имущественных прав... При этом нельзя не сказать, что эти самые господа увлекались и были убеждены, что для всех желаемых ими реформ достаточно одного или нескольких указов, забывая, что без надлежащим образом подготовленных исполнителей указы останутся мертвой буквой... Первое время после кончины Николая Павловича многие петербургские жители, в том числе и я, совсем приуныли; несмотря на неудачи и удары, нанесенные национальному чувству, в последние дни царствования Николая Павловича, доверие к его величественно-энергической личности было еще так сильно, что когда его не стало, все себе задавали неразрешимый вопрос: что теперь будет?»<sup>52</sup>

Уже знакомый читателю генерал А. Э. Циммерман в 1867 году писал: «Конечно, я не сочувствовал деспотизму Николая Павловича: личности при нем трепетали. Но из двух зол надо выбирать меньшее. Лучше мороз, чем ростопель и слякоть. Распущенность, растление, развинченность, которые теперь видны, и произвол часто больший, чем в Николаевское время, заставляют и об нем вспомнить». Память Циммермана сохранила и такой случай, когда известие о смене царствования вообще было воспринято с глубоким пессимизмом. Его знакомый — А. А. Скалон, — узнав от фельдъегеря, ехавшего из Зимнего дворца, о смерти Николая I, «побежал к дежурному генералу А. А. Катенину. Тот был болен и лежал в постели. Скалон сообщил ему роковую весть. Катенин вскочил с постели, схватил себя за голову и стал ходить по комнате говоря: «Беда, беда России». Слезы текли по его лицу. Скалон знал, что Катенин был действительно предан Николаю Павловичу, и стал его утешать, хваля нового Государя. «Ах, Антон Антонович, отвечал Катенин,

вы не знаете его, а я его коротко знаю; поверьте мне, что он в десять лет так перевернет Россию, такой каши наделает, так запутает дела, что и поправить будет трудно; если доживете, увидите сами. Николай Павлович знал его характер и опасался за него; я сам слышал как Государь выражал эти опасения». Склон передал мне это в 1857 году весной...» — уточнял Циммерман, завершая рассказ<sup>53</sup>.

Итак, чем дальше от ученого-литературного мира отстояли свидетели тех событий, тем заметнее в их откликах и суждениях на смерть Николая I оказывались христианские и монархические чувства и настроения. Примеры последних можно приводить и далее. В целом реакция общества была приблизительно двоякая. Оба ее типа удачно обозначил в своих воспоминаниях Д. А. Милютин: «Кончина Императора произвела не одинаковое на всех современников впечатление, потому что не одинаково и судили об историческом значении этой замечательной личности. Одни благоговели перед ним как Царем и как человеком; ставили высоко твердость и непоколебимость, с которыми держал он, в продолжении 30 лет, бразды правления, и восхищались его правдивым, рыцарским характером. Другие же видели в нем олицетворение сурового деспотизма, считали его жестокосердым, бесчеловечным. Когда распространилась весть о кончине Императора, когда народ стекался на панихиды и повсюду выражалась скорбь об утрате великого Государя, с личностью которого привыкли связывать понятие о величии самой России, — в то же время в известной среде людей интеллигентных и передовых радовались перемене царствования в том убеждении, что все наши тогдашние бедствия были результатом существовавшего дотоле режима, и надежде на лучшее будущее. Не говорю уже о тех немногочисленных еще в то время пылких головах, которые, увлекаясь своей ожесточенной ненавистью к тогдашним нашим порядкам, не видели другого средства к спасению России, кроме революции, которые даже на тогдашние наши бедствия смотрели со злорадством, отзываясь о них цинически: «чем хуже, тем лучше». В известном кружке весть о кончине Императора Николая вызвала ликование; с бокалами в руках поздравляли друг друга с радостным событием<sup>54</sup>. Люди «интеллигентные и передовые» составляли тогда абсолютное меньшинство среди тех, кто со-

хранял в душе мир с памятью покойного самодержца. Но в руках этого, выражаясь языком А. И. Герцена, «образованного меньшинства» были профессорские кафедры и периодические издания, им внимали аудитории слушателей и читателей, они оставят идейных учеников и последователей, научные и литературные достижения обеспечат им заслуженную известность, они оставят, наконец, яркие и выразительные мемуары. И последующие поколения интеллигенции будут смотреть на николаевскую эпоху их глазами. Уже в 1860-е годы найдется по-иному пристрастный, но наблюдательный мемуарист, который укажет на эту среду как на основной источник отрицательных оценок Николая I и всей его политики: «Теперь многие думают, что в Николаевское царствование был такой террор, что никто не смел и думать говорить дурно о правительстве. Мнение это пущено литературным народом, на котором тогда лежал гнет цензуры и теми либералами-бюрократами, которые в то время были затерты...»<sup>55</sup> Конец же «мрачного семилетия» был тем временем, когда эти круги впервые заявили о себе как силе, формирующей общественное мнение.

С развитием событий войны острое ощущение политического кризиса, стремление осмыслить причины происходящего породили в обществе сильнейшую потребность высказаться, горячее желание свои мысли и чувства сделать достоянием всех. В небывалых до тех пор масштабах началось распространение рукописной публицистики. «Подземная» литература, как ее называли современники, наводнила читающую среду, записки обличительные и программные, серьезные и поверхностные, талантливые и малооцененные, зрелые и легковесные переходили из рук в руки, переписывались, читались в столицах, в провинции, в разных слоях общества. Секретный надзор породил, так сказать, секретную печать. «Все молчавшее, все раболепствовавшее в то время, как мы одни смели протестовать против официального одурения. — писал А. С. Хомяков К. С. Аксакову после смерти Николая I, — все встрепенулось, и кричат, и поют про свободу мысли»<sup>56</sup>.

Автор одного из наиболее ярких произведений рукописной литературы — «Думы русского (во второй половине 1855 года)» — курляндский губернатор П. А. Валуев предъявлял счет

высшей власти за «небрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания», в результате чего, утверждал он, сделалось общее «противоположение правительства народу»<sup>57</sup>.

Дать простор духовным силам самодеятельной общественности требовал в своих «Историко-политических письмах и записках в продолжении Крымской войны» М. П. Погодин, с прежних времен протеже и почитатель С. С. Уварова. В XV письме, датированном сентябрем 1854 года, он подверг резкому осуждению правительственный курс 1848 года: «Люди самые благонамеренные, самые спокойные поколебались в доверии к благонамеренности правительства... Ни о каком предмете богословском, философском, политическом нельзя было писать. Никакого злоупотребления нельзя стало выставлять на сцену, никакой мысли, которую можно было приложить к настоящему времени...» Погодин горячо убеждал высшую власть доверять мыслящей части общества, выражал твердую уверенность в грядущем наступлении благотворных перемен от того, что «посредством гласности возродится и утвердится общественное мнение»<sup>58</sup>. «Письма» быстро принесли автору славу политического публициста. «Погодин получил... поручение написать для Норова о состоянии просвещения, учебных заведений и т. д. ... — записала в ноябре 1854 года в своем дневнике В. С. Аксакова. На результаты в Министерстве народного просвещения она не надеялась, но радовалась, что записка «будет написана и пойдет по рукам, как и его политические письма, которые приобрели ему народность (т. е. популярность. — М. Ш.) и всеобщее уважение»<sup>59</sup>.

Еще не произошло никаких перемен в цензуре, как начались запросы о разрешении открывать новые периодические издания. «Мы... настолько ожили, — вспоминал А. И. Кошелев о славянофильском кружке в это время, — что осенью 1855 года приступили к положительным переговорам об издании журнала, что всегда составляло нашу любимую, самую пламенную мечту»<sup>60</sup>. После первого отказа славянофилы и М. Н. Катков обратились за поддержкой к попечителю московского учебного округа генерал-майору В. И. Назимову. Тот написал письмо министру народного просвещения А. С. Норову, ходатайствуя о разрешении издавать журналы «Русская беседа» и «Русский

вестник». При этом он указывал на тяжесть цензуры как на источник оппозиционных настроений среди ученого-литературной общественности: «... невозможность, в какую были поставлены наши писатели и вообще образованные люди, печатано высказывать свои мысли, была, можно сказать, одной из главных причин того неудовольствия и того ропота, которые с некоторого времени обнаруживались в нашем обществе»<sup>61</sup>. Среди желавших сотрудничать в «Русской беседе» были и авторы «Московского сборника», которым было вообще запрещено что бы то ни было печатать и редактировать. Главное управление цензуры вновь рассмотрело запрещенные статьи сборника. Недавно назначенный товарищем министра народного просвещения князь П. А. Вяземский, высказываясь за снятие запрещений, при этом писал: «... притеснения могут именно возродить ту опасность, от которой думают отделаться прозорливостью цензурной строгости. Они (писатели. — М. Ш.) могут составить систематическую оппозицию, которая и без журнальных статей и мимо стоокой цензуры получит в обществе значение, вес и влияние... Следует опасаться действий и последствий насильственного молчания»<sup>62</sup>. Так в правительстве стало распространяться понимание того, что цензурная политика в том виде, в каком она осуществлялась на данный момент, фактически провалилась. На официальном уровне заговорили о желательности того, чтобы литература выступала в качественно новой роли: «... с идеями должно бороться не иначе, как также идеями, противопоставляя мечтам истинные и здравые понятия, превращая самую литературу в орудие, разбивающее и уничтожающее в прах гибельные мечты нынешнего вольномысления или, лучше сказать сумасбродства»<sup>63</sup>.

Положение ведомства народного просвещения в целом в 1850-е годы у отдельных членов правительства сочувствие вызывало. «Ни один человек, глубоко и основательно мыслящий, не согласится теперь принять на себя звание министра народного просвещения, — говорил начальник военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев профессору А. В. Никитенко еще до войны. — Для этого надо иметь колossalную силу, какой у нас никто не имеет»<sup>64</sup>. Министр А. С. Норов, понимая положение печати и видя общественное недовольство, осторожно попытался добиться упразднения Комитета высшей цензуры. Его советник и

поначалу друг А. В. Никитенко приготовил докладную записку о вредных последствиях негласного надзора. В ней предполагалось ликвидировать Комитет 2 апреля, слив его с Главным управлением цензуры. Ходатайства ветерана Отечественной войны 1812 года, потерявшего ногу в Бородинском сражении, Николай Павлович принимал, по-видимому, благосклонно. Наступил столетний юбилей Московского университета. «Самодержец, умягченный бедою, явился благосклонным к университету... — писал С. М. Соловьев, — Норову удалось выхлопотать позволение представлять императору лучшие произведения русских ученых и литераторов; моя «История России» была представлена, вследствие чего я удостоился получить монаршее благоволение осенью 1854 года. Смягчение Николая и влияние Норова высказались и на самом юбилее в ласковом рескрипте, в очень щедрых по тому времени наградах....»<sup>65</sup> Празднства принципиально не изменили отношения ученого-литературных кругов к императору. «Если бы мы не знали заранее, что такого рода грамота и тому подобные слова — пустая бумага, мы бы порадовались за такое уважение к науке, — писала В. С. Аксакова; — но у нас это не имеет никакого значения, и не будет странно, если завтра же не обратят университет в корпус»<sup>66</sup>. Соловьев считал, что атмосфера в университете, распространившаяся в результате цензурного террора и иного неоправданного административного давления, разлагающе действовала на учащуюся молодежь<sup>67</sup>. В декабре 1854 года Норов подал императору доклад о цензуре, но Николай I только сделал ministra членом Комитета 2 апреля. Позднее, уже при Александре II Норов вновь попытался поставить вопрос об упразднении Комитета, но безуспешно: новый самодержец полагал, что теперь негласный надзор «уже не может быть так вреден»<sup>68</sup>.

В придворных кругах критические настроения, порожденные войной, сопровождались известным сочувствием к униженному просвещению и к его видным представителям. «Дай Бог, чтобы новый император каждому отдал должное, — жела-ла А. Ф. Тютчева, — особенно же мыслящей и образованной части общества, которая была так придавлена и так мало пользовалась доверием в последнее царствование.»<sup>69</sup>

Александр II столь же доверял Комитету 2 апреля, как и его отец. По представлению его председателя М. А. Корфа 22 апре-

ля 1855 года барону и его коллегам было разрешено объявлять распоряжения от своего имени. Но в сложившихся условиях это уже не имело никакого значения. Вся образованная Россия читала рукописную литературу и содействовала ее распространению, а Комитет в 1855 году сделал представление о каких-то двух промахах цензуры. Когда в ноябре того же года император отменил ограничение в университетах числа студентов, осторожнейший Корф решил, что время поднять вопрос об упразднении Комитета высшей цензуры, наконец, наступило. 3 декабря он обратился к царю с докладом, где предлагал негласный надзор прекратить.

Доклад представлял собой вполне апологетическую версию причин учреждения и значения деятельности Высшего цензурного комитета. Главным виновником введения негласного надзора за цензурой и печатью Корф выставлял тогдашнего министра народного просвещения. «В последние годы управления гр[афа] Уварова болезненное его состояние м[ожет] б[ыть] и некоторое утомление или пресыщение значительно ослабили и его деятельность, и движение вверенной ему части. Явственнее это сказалось на периодической нашей литературе». Пользуясь нерадивостью цензоров, А. И. Герцен, В. Г. Белинский и некоторые другие писатели «под странной и малопонятной фразеологией, испещренной множеством иностранных слов (*принципы, доктрина, гуманность, прогресс* и т. п.)... попытались пустить у нас в ход развивавшиеся тогда на Западе идеи социализма и коммунизма». Следовало усилить бдительность и вернуть цензуру и печать в надлежащие пределы. Корф не забыл упомянуть «постоянное неудовольствие и противодействие гр[афа] Уварова потом и его преемника и многолетнего сотрудника кн[язя] Шихматова, которые во всех действиях Комитета и в самом даже существовании его видели живую критику на прежнее бездействие их Министерства...» Барон уверял, что теперь цензоры и писатели достаточно застрашены, что цензурные правила приведены «в надлежащую определенность», подчеркивал, что во главе Министерства народного просвещения стоит лицо, «чуждое прежних его упущений и пользующееся Монаршим доверием». Комитет больше не нужен, так как выполнил свою задачу, — таков общий смысл рассуждений Корфа. Лишь в самом конце он

проговорился об истинных результатах, которых в конце концов добилось правительство посредством негласного надзора за цензурой и печатью: «Оsmелюсь сказать еще более: Комитет, в настоящее время, не только перестал быть *полезным*, но и сделался *вредным...* опасение... авторов доводит иногда до цели противоположной: распространяется рукописная литература, гораздо более опасная, ибо она читается с жадностью и против нее бессильны все полицейские меры»<sup>70</sup>.

Бутурлинский комитет был закрыт. Высшей цензурной инстанцией вновь сделалось Главное управление цензуры. Началось обновление личного состава местных цензурных комитетов. 9 ноября 1857 года министру народного просвещения было дано отсутствовавшее у него с 1832 года право разрешать издание новых газет и журналов своей властью.

Самодержавное правительство постепенно приступило к поиску новых путей контроля над печатью.

Столь неприятный Корфу С. С. Уваров, находясь в отставке, осознавал, что при его непосредственном участии как министра народного просвещения университетами, гимназиями, пансионами, лицеями создан некий новый социальный кадр, который в дальнейшем поведет за собой умы, которого влияние на «ход общего мнения» в России будет неуклонно возрастать. Проблемы ученого-литературной среды были ему психологически понятны, ее возросший вес и влияние он ощущал и, по-видимому, в какой-то мере желал теперь ее благосклонности в оценке своей государственной деятельности в целом. Возможно, ради этого он, в частности, бывал в Москве, следил за общественными интересами, посещал учебные аудитории Московского университета, публичные лекции популярнейшего тогда профессора Т. Н. Грановского. В своем подмосковном имении Поречье он любил принимать ученых и преподавателей. Сюда приезжали те, кто был близок ему раньше, и те, кто — нет. Уваров просил их читать лекции, обсуждал с ними разные научные темы. Тех, кто в былые времена пользовался его покровительством, а теперь тяготился недоверием правительства, Уваров ободрял, единомышленникам выражал неизменность своих прежних позиций: «Кажется, что и тогдашние недоброжелатели начинают сознавать смысл моих действий и высокую цель, к коей я стремился, — писал он в 1852 году про-

фессору Дерптского университета М. П. Розбергу. — Остается мне большое утешение, что нахожу в сыне некоторый отголосок этих видов. Он в моих глазах представитель того образования, коим я хотел украсить новое поколение»<sup>71</sup>. Сыну министра Николая I графу Алексею Сергеевичу Уварову предстояло войти в историю науки как основателю и председателю Московского археологического общества, инициатору проведения и организатору первых Всероссийских археологических съездов, как одному из основателей Российского Исторического музея в Москве, внести в качестве археолога большой вклад в изучение отечественных древностей, византиноведение. Предназначенные для сына воспоминания позволяют приблизительно представить, что мог говорить о себе Сергей Семенович на ученых собраниях в Поречье.

От подведения окончательных итогов своего управления ведомством народного просвещения перед публикой он воздерживался, подчеркивая масштабы и сложность своей задачи: «Семнадцать лет настойчивых и беспрестанных трудов, пожалуй, недостаточно для чаяния окончательных результатов». Конечной, но в то же время как бы неявной целью своей политики он представлял воспитание качественно нового поколения граждан, с деятельностью которых, направленной на встречу благим усилиям высшей власти, связано будущее благосостояние России. Главные основания политики в области народного просвещения настоящего и будущего времени, писал Уваров в 1852 году, заключены в следующем: «Принцип, которому я постоянно следовал, — добиваться развития политического через развитие нравственное и умственное и убеждение, что освобождение гражданское может произойти лишь из освобождения духовного, которое объединит во взаимной солидарности силу страны и силу правительства, этот принцип, который действует лишь медленно, почти в тишине, совсем без ведома массы и еще лозунг, с которым смыкаются мои самые чистосердечные убеждения (то есть «Православие, Самодержавие, Народность». — М. Ш.)»<sup>72</sup>.

Грановского Уваров после отставки часто принимал в Поречье и выражал ему симпатии. «Если мое управление Министерством, — писал он ему в 1850 году, — не имело бы других результатов, то возведение Вас на кафедру и некоторых других

современников Ваших, считал бы я себе за немаловажную услугу»<sup>73</sup>. Профессор прислал бывшему министру в подарок экземпляр своей докторской диссертации «Аббат Сугерий».

Свидетельства современников позволяют предположить, что желание Уварова импонировать образованной публике простиралось так далеко, что он даже намекал на трудности своего положения во главе Министерства народного просвещения. «Он сам говорил Грановскому, — писал Б. Н. Чичерин, — что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другую все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам по крайней мере остался цел. При реакции, наступившей в 49-м году, бросать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку»<sup>74</sup>. П. В. Анненков писал, что как-то раз известный литератор И. И. Панаев «видел графа Уварова, будучи введен к нему молодым графом, его сыном. Панаев рассказывал, что отставной министр, уже больной, слушал его повествование о всех проделках цензуры и новой администрации и только заметил: «Наше время особенно тем страшно, что из страха к нему, вероятно, никто не ведет записок о нем». Панаев был большой враль, но ничего не выдумывал, — отмечал Анненков, — он только врал по канве, уже данной ему»<sup>75</sup>. Несомненно здесь то, что среди ученых и литераторов в период «мрачного семилетия» была некоторая расположленность признавать Уварова в известной степени «своим», то есть жертвой того же зла, что и они<sup>76</sup>. Но в последних своих воспоминаниях Уваров обошел молчанием все, что могло хоть как-то бросить тень на облекшего его министерской властью монарха. Самодержавие он не желал колебать даже из гроба: рост общественного недовольства был уже замечен, и не было известно, как далеко он зайдет. Часто цитируемая филиппика С. М. Соловьева, изобразившего Уварова совершенным лицемером<sup>77</sup>, — слишком большое преувеличение. Уваров не был «либералом» так же, как и не был «безбожником»: М. П. Погодин рассказывал, как смертельно больной Уваров опасался, чтобы смерть не застигла его в дороге и он не умер, не исполнив последний долг христианина, а незадолго до смерти, пригласив священника, исповедовался и причащался<sup>78</sup>.

Если Уваров имел надежду на признание его заслуг в деле развития народного образования среди ученого-литературной

общественности, то она отчасти оправдалась. При яростном порицании политики императора Николая I в целом образованная публика отдавала должное «высокому и просвещенному уму» бывшего министра. Б. Н. Чичерин считал Уварова единственным «из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров с самого начала века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место»<sup>79</sup>. И. В. Киреевский в своем публицистическом письме новому товарищу министра народного просвещения П. А. Вяземскому 6 декабря 1855 года, где негодовал по поводу его слов о связи успехов просвещения с именем покойного императора, счел возможным упомянуть в положительном смысле об Уварове<sup>80</sup>. «Справедливость требует сказать, — писал тогда на страницах «Голосов из России», издаваемых в Лондоне А. И Герценом, известный литератор Н. А. Мельгунов, — что один из министров последнего царствования, тот, который так долго и так блестательно стоял во главе народного просвещения, принес ему несомненную пользу и, может быть, сделал для него все, что мог. Память об управлении графа Уварова останется в России надолго»<sup>81</sup>.

Упразднение Высшего цензурного комитета не остановило распространения рукописной литературы. Многие ее произведения попали на страницы «Голосов из России» и стали известны в Европе. Интерес к ней снижался по мере того, как получала развитие во второй половине 1850-х годов либерализация цензуры, и печать становилась одной из форм выражения общественного мнения. Но при этом в динамичной атмосфере общественного подъема как-то совсем незамеченным публикой остался закон 9 декабря 1856 года. Этот акт ликвидации того, чего в свое время добился М. М. Сперанский и поддерживал С. С. Уваров, при вступлении в новую эпоху оказался по существу неопознанным. На него не обратили внимание, поскольку не в состоянии были верно оценить его отдаленные последствия. Лучше других осведомленный академик А. В. Никитенко приписал упорство министра А. С. Норова в желании сохранить систему деления чиновников на разряды по скорости производства в зависимости от уровня образования интригам своего недоброжелателя — вице-директора Департамента народного просвещения А. Е. Кисловского и, как уже говорилось, общей малоспособности главы ведомства народного про-

свещения<sup>82</sup>. Спустя пять лет в своем дневнике Александр Васильевич напишет: «Тройницкий сообщил мне любопытный статистический факт, извлеченный им из официального источника: что из 80 000 чиновников империи ежегодно открывается вакантных мест 3 000. В продолжение двух или трех лет с 1857 года из всех университетов, лицеев и школы правоведения выпускалось ежегодно 400 человек, кроме медиков. Вывод из этого: как невелико у нас число образованных людей для занятия мест в государственной службе. Я был поражен»<sup>83</sup>. И Никитенко не вспомнит, что это он в 1856 году убеждал Норова согласиться на отмену системы разрядов!...

Из этого следует, помимо прочего, что русское общественное мнение в 1850-е годы было очень и очень незрелым, каким бы потом ни казалось необычайным возбуждение умов после Крымской войны. Пессимизм человека, столь далекого от симпатий к высшей бюрократии, каким был Т. Н. Грановский, представляется отнюдь не лишенным оснований. «Московское общество страшно восстает против правительства, — писал он незадолго до смерти, — обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже правительства по пониманию вещей»<sup>84</sup>.

Все лучшее, что было тогда в России в смысле способностей, дарований, моральных и деловых качеств и, в особенности, глубины государственного мышления почти без остатка втягивал в себя правительственный аппарат.

*Примечания*

- <sup>1</sup> Тэйлор А. Дж. *П. Борьба за господство в Европе. 1848–1918.* М., 1958. С. 254.
- <sup>2</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 144 об.
- <sup>3</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 1. Ед. хр. 2. Л. 7 об.
- <sup>4</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Ед. хр. 39. Л. 259 об.–260, 260 об.–262. См. полный текст в разделе «Приложения».
- <sup>5</sup> Там же. Ед. хр. 1. Л. 210–210 об. Ед. хр. 2. Л. 9–9 об.
- <sup>6</sup> Там же. Ед. хр. 2. Л. 6.
- <sup>7</sup> Там же. Ед. хр. 2. Л. 66 об.
- <sup>8</sup> Анненков П. В. *Литературные воспоминания.* М., 1983. С. 521–522.
- <sup>9</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 1. Ед. хр. 2. Л. 65. Картон 2. Ед. хр. 1. Л. 242 об.
- <sup>10</sup> Хомяков А. С. Полн. собр. соч. В 8-и тт. Т. 8. М., 1900. С. 179–180, 306.
- <sup>11</sup> Барсуков Н. П. *Жизнь и труды М. П. Погодина.* Кн. IX. СПб., 1895. С. 303–304.
- <sup>12</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. *Дневник М. А. Корфа.* Ч. XI. Л. 149 об.
- <sup>13</sup> Там же. Ч. XIII. Л. 123 об.–124. Запись 1 июня 1850 года; Ч. XIV. Л. 88 об. Запись 26 октября 1851 года.
- <sup>14</sup> Айрапетов О. Р. *Забытая карьера «русского Мольтке».* Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Спб., 1998. С. 39–40. Он же. Н. Н. Обручев и дело «Военного сборника» (1858 г.) // П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): статьи, публикации, воспоминания о нем. М., 1998. С. 442–443.
- <sup>15</sup> Соловьев С. М. *Мои записки для детей моих, а если можно, и для других* // Соч. в 18-и книгах. Кн. XVII. М., 1995. С. 630.
- <sup>16</sup> Феоктистов Е. М. *Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы.* Л., 1929. С. 89.
- <sup>17</sup> Тютчева А. Ф. *При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855.* М., 1990. С. 155.
- <sup>18</sup> Соловьев С. М. *Мои записки...* С. 641–642.
- <sup>19</sup> Беседа в день Благовещения Пресвятой Богородицы, пред благодарственным молебствием о заключении мира // Сочинения Филарета Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. Т. 5. 1849–1867. М., 1885. С. 365–366, 367.
- <sup>20</sup> Кухарук А. В. *Действующая армия в военных преобразованиях правительства Николая I.* Диссертация на соискание уч. ст. к. и. н. М., 1999. С. 57–79, 79–82, 182.
- <sup>21</sup> Милютин Д. А. *Воспоминания. 1843–1856.* М., 2000. С. 428.
- <sup>22</sup> Один из видных участников севастопольской обороны генерал В. И. Васильчиков главной причиной крымских неудач считал то, что русские на полуострове не сконцентрировали превосходящие силы, и обвинял в этом И. Ф. Паскевича, главнокомандующего так называемой Действующей армии, прикрывавшей западные границы России. В высшие вопросы стратегии и политики, обсуждавшиеся с Паскевичем, император Николай I лиц ранга Васильчикова не посвящал. Последний судил о положении вещей, так сказать, в оперативном масштабе. (Васильчиков В.И. Записки начальника штаба севастопольского гарнизона кн. В. И. Васильчикова. (Писаны в Москве в 1875–1877 гг.) // Русский архив. 1891. Кн. 2. № 6. С. 254–255.)
- <sup>23</sup> Дебидур А. *Дипломатическая история Европы. 1814–1878.* Т. 2. Ростов-на-Дону, 1995. С. 120, 122–123.
- <sup>24</sup> Урланис Б. Ц. *Войны и народонаселение Европы. Людские потери во-*

- оруженных сил европейских стран в войнах XVII–XX вв. (Историко-статистическое исследование.) М., 1960. С. 99, 291, 352, 354.
- <sup>25</sup> Тэйлор А. Дж. П. Ук. соч. С. 116.
- <sup>26</sup> Там же. С. 103.
- <sup>27</sup> Там же. С. 46, 120.
- <sup>28</sup> Людские потери Великобритании в Крымской войне составили общим числом до 23 % от численности воевавшей армии. (Урланис Б. Ц. Ук. соч. С. 99, 290–291, 352, 354.)
- <sup>29</sup> Тэйлор А. Дж. П. Ук. соч. С. 126.
- <sup>30</sup> Дебидур А. Ук. соч. С. 136.
- <sup>31</sup> Соловьев С. М. Мои записки... С. 645.
- <sup>32</sup> Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001. С. 21–22.
- <sup>33</sup> Защита Севастополя обошлась русской армии в 128 000 человек. (Керсновский А. А. История русской армии. В 4-х тт. Т. 2. М., 1993. С. 145.)
- <sup>34</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 2. Ед. хр. 1. Л. 280 об.–281.
- <sup>35</sup> Там же. 396 об.
- <sup>36</sup> Взгляд на состояние русских войск в минувшую войну // Военный сборник. 1858. Т. 1. № 1. С. 1, 2, 6.
- <sup>37</sup> Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855. М., 1990. С. 153, 160, 167–168.
- <sup>38</sup> Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001. С. 24.
- <sup>39</sup> Ольга Николаевна. Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны. 1825–1846 // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 237.
- <sup>40</sup> Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Т. 1. СПб., 1908. С. 67.
- <sup>41</sup> Васильчиков В. И. Записки начальника штаба севастопольского гарнизона кн. В. И. Васильчикова. С. 174.
- <sup>42</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 2. Ед. хр. 1. Л. 255.
- <sup>43</sup> Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855. М., 1990. С. 178.
- <sup>44</sup> Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование. Т. 1. М., 1996. С. 156–157.
- <sup>45</sup> Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855. С. 189.
- <sup>46</sup> Кавелин К. Д. Письма Т. Н. Грановскому (1848, 1853 и 1855 гг.) // Литературное наследство. Т. 67. М.–Л., 1959. С. 607.
- <sup>47</sup> Феоктистов Е. М. Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы. С. 89.
- <sup>48</sup> Аксакова В. С. Дневник В. С. Аксаковой. СПб., 1913. С. 66.
- <sup>49</sup> Муханов В. А. Из дневных записок // Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 88–89.
- <sup>50</sup> Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1913. С. 382.
- <sup>51</sup> Жареев К. К. Воспоминания // Исторический вестник. 1898. № 9. С. 818.
- <sup>52</sup> Ден В. И. Записки. СПб., 1890. С. 105, 108.
- <sup>53</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 2. Ед. хр. 1. Л. 242 об.–243, 256.
- <sup>54</sup> ОР РГБ. Ф. 169. Картон 8. Ед. хр. 30. Л. 27 об.–29.
- <sup>55</sup> ОР РГБ. Ф. 325. Картон 1. Ед. хр. 1. Л. 211 об.
- <sup>56</sup> Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 351.
- <sup>57</sup> Валуев П. А. Дума Русского (во второй половине 1855 года) // Русская старина. 1891. № 5. С. 357.
- <sup>58</sup> Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны. 1853–1856. М., 1874. С. 254–255.
- <sup>59</sup> Аксакова В. С. Дневник В. С. Аксаковой. С. 10.

- <sup>60</sup> Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. 1. Записки А. И. Кошелева. М., 1991. С. 95.
- <sup>61</sup> [Щебалинский П. К.] Исторические сведения о цензуре в России. Спб., 1862. С. 82.
- <sup>62</sup> Там же. С. 85–86.
- <sup>63</sup> Ридигер Ф. Внутреннее состояние России в 1855 году // Русская старина. 1901. № 3. С. 294–295.
- <sup>64</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 370.
- <sup>65</sup> Соловьев С. М. Мои записки... С. 642–643.
- <sup>66</sup> Аксакова В. С. Дневник В. С. Аксаковой. С. 36.
- <sup>67</sup> «... Уважение к лучшим, просвещеннейшим людям не могло исчезнуть, а эти люди, вследствие обращения правительства к ним спиною, естественно, стали в оппозицию, начали роптать, — и вот во всех кругах, в которых еще оставался интерес к общественным вопросам, только и слышались с утра до вечера жалобы, порицания, насмешки над мерами, действиями правительства; а молодое поколение, привыкшее к этим кружкам, привыкло к такому прекрасному занятию... Между молодыми людьми укоренилось мнение, что университет пропитан либеральным духом, что надо либеральничать, чтобы понравиться профессорам... ум их был так настроен, что они в самой обыкновенной фразе профессора старались видеть какой-нибудь намек. «Какое множество у вас слушателей! — сказал я однажды Каткову, выходившему с лекции. — Приятно видеть такое сочувствие к философским лекциям». «Что тут приятного? — отвечал мне с сердцем Катков. — Вся эта толпа ничего не понимает из моих лекций, а ждет, не ругну ли я Бога». (Соловьев С. М. Мои записки... С. 621–622.)
- <sup>68</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 376, 379, 394, 405, 409–410.
- <sup>69</sup> Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1855. С. 193.
- <sup>70</sup> ГА РФ. Ф. 728. Д. 2479. Л. 3–4, 4 об.–5 об., 6 об.–8.
- <sup>71</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 97. Л. 28.
- <sup>72</sup> Там же. Ед. хр. 122. Л. 27 об.–28.
- <sup>73</sup> Там же. Ед. хр. 97. Л. 26.
- <sup>74</sup> Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. 2. Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 25.
- <sup>75</sup> Аянников П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 524.
- <sup>76</sup> Пример несколько иного отношения см.: Бодянский О. М. Выдержки из дневника // Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 109–138. Записи от 23 декабря 1852 года и от 4 сентября 1855-го.
- <sup>77</sup> «... Он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю, он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веря во Христа даже по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав во всю свою жизнь ни одной русской книги...» (Соловьев С. М. Мои записки... С. 571–572).
- <sup>78</sup> Погодин М. П. Для биографии графа С. С. Уварова // Русский архив. 1871. № 12. Стб. 2108.
- <sup>79</sup> Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. 2. Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 25.
- <sup>80</sup> Письмо И. В. Киреевского — характерный пример настроений, порож-

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

денных «эпохой цензурного террора»: «...в начале его царствования даже сделано было многое для просвещения, особенно по влиянию Сперанского и потом, покуда Уваров управлял министерством... Но с удалением Уварова отношения правительства изменились или, может быть, яснее обозначились... покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком в его глазах было

однозначительно... Наши книги и журналы проходили в публику, как вражеские корабли теперь проходят к берегам Финляндии, то есть между схер и утесов и всегда в виду крепости...» (*Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 333, 334.*)

<sup>81</sup> Голоса из России. Лондон, 1856. Вып. 1. С. 133.

<sup>82</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 370.

<sup>83</sup> Никитенко А. В. Дневник. Т. 2. С. 243.

<sup>84</sup> Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 457–458.

## *Заключение*

С САМОГО НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ русское самодержавное правительство, заботясь о развитии системы народного образования, преследовало тройную цель: во-первых, максимально снизить в России значение частного образования, во-вторых, как можно полнее вовлечь дворянство в казенные учебные заведения и, в-третьих, за счет притока образованных людей обновить чиновничество, поднять качество государственной службы. При этом, желая видеть образованного человека чиновником и обретать в качестве такового, по возможности, дворянина по происхождению, придворно-правительственная среда совершенно не воспринимала его как частное лицо, публично выступающее, в частности, в печати по вопросам, волнующим общественное мнение. Последняя роль не без основания рассматривалась ею как посягательство на собственное политически-ведущее значение. Цензура закрывала печать для проявлений самодеятельной общественной мысли, отсекала проявления общественного мнения.

В начале 1830-х годов среди литературной общественности определенно проявлялось желание сотрудничать с высшей властью. Произошла известная переоценка политических стереотипов, сложившихся под влиянием философии Просвещения. Из среды так называемого «пушкинского круга» писателей или «литературной аристократии», как их называл оппонент-современник, было высказано предложение правительству качественно дополнить методы административного давления, установить с достойными представителями

«класса письменного» доверительные отношения, создать частный литературный журнал, содействующий сокрытым от публики правительственный целям. На положение, подобное тому, в котором находились Н. А. Полевой или Ф. В. Булгарин, «пушкинский круг» смотрел с откровенным презрением. По-видимому, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский мечтали о чем-то похожем на ту роль, которую на вершине своей политической карьеры полстолетия спустя играл М. Н. Катков. Расставшись с профессорской кафедрой и не надевая больше никакого мундира, он за четверть века своей газетно-журнальной издательской и публицистической деятельности добился того, что к началу 1880-х годов без него осуществлять внутреннюю политику самодержавия сделалось практически невозможным. Но закулисный доверительный диалог члена правительства с литератором-журналистом, доступ последнего в «коридоры власти» – в 1830-е годы это было совершенно исключено. Весьма малочисленная читательская аудитория увеличивалась очень и очень медленно. Возможные претензии русского печатного слова на политическую роль вряд ли кому-либо в правительенных кругах могли показаться обоснованными. Императором Николаем I и его окружением внешние ограничительные, запретительные меры понимались как единственно надежный способ контроля над печатным словом.

Николай I, питая антипатию к обскурантским тенденциям министерства А. Н. Голицына, к наследию предыдущего царствования в области народного просвещения в целом отнесся бережно. В этом, на мой взгляд, была его несомненная заслуга. Его последовательный консерватизм, отвращение к какому бы то ни было доктринерству, скептическое отношение к любым радикальным решениям сыграли здесь положительную роль. Он в целом дал развиться тем позитивным тенденциям, которые к началу его правления уже сложились в правительственной деятельности за четверть века существования Министерства народного просвещения. Вместе с тем на политике Николая I не мог не оказаться его собственный довольно односторонний познавательный опыт детства и юности. Приобщение к гуманитарным наукам оказалось неудачным не по его вине. Полноценной и результативной бы-

ла его военно-инженерная подготовка. Учреждение Главного инженерного училища в 1819 году и последующее над ним шефство содействовали появлению у него известного понимания фундаментальных научных основ своей специальности. Ко времени воцарения он имел представление о путях приобретения знаний, приложимых к практике — то были, главным образом, точные и естественные науки — и о некоей массе «бесполезных отвлеченностей», куда попадали в основном вопросы, решаемые общественными науками. Таким образом общая установка Николая Павловича в отношении данной отрасли управления была и оставалась до конца, на мой взгляд, утилитарно-прикладной. Самодержец был, по необходимости, носителем представлений о роли и значении народного образования в государстве, достаточно укоренившихся в придворно-правительственной среде ко времени его воцарения, но он не мог вынашивать собственные идеи относительно дальнейшего развития отечественной общеобразовательной системы, кроме того, что мог подсказать простой здравый смысл. И, можно сказать с уверенностью, дела по ведомству народного просвещения чаще отодвигались на периферию, нежели в эпицентр его государственной деятельности.

Одним из главных достижений николаевской политики была система разделения всех чиновников по срокам производства на разряды в зависимости от уровня образования. Подготовленная, по-видимому, при определяющем влиянии М. М. Сперанского и введенная в 1834 году вместо мертворожденного закона 1809 года об экзаменах на чин, она создавала твердую тенденцию к постепенному накоплению лиц, не только служебно-опытных, но и развитых интеллектуально, на крупных должностях в правительственном аппарате. Но отношение в высших сферах к такой системе если и было единодушным, то вряд ли продолжительное время.

Среди лиц, возглавлявших ведомство народного просвещения и цензуры в николаевскую эпоху, центральное место, вне сомнения, принадлежит С. С. Уварову. С полным основанием его можно считать выдающимся государственным деятелем. Видный представитель русской политической и интеллектуальной элитыalexандровского времени, он стал министром,

обладая концепцией просвещения, в основе которой лежало утверждение исключительной ценности самобытных основ исторически сложившейся России и русской культуры. Возглавляя Петербургскую Академию наук и управляя системой народного образования, он стремился направить познавательную волю учащейся молодежи к постижению материального и духовного облика своего Отечества, глубине и основательности которого должно было содействовать восприятие и использование всех лучших достижений европейской науки.

Новому кадру граждан, формируемому университетами, пансионами, лицеями, гимназиями Уваров старался обеспечить серьезную общественную перспективу. Ради этого он последовательно защищал все уже имевшиеся привилегии выпускников учебных заведений на гражданской службе и в меру своей должностной самостоятельности старался придать тяжеловесной и косной цензуре больше гибкости. Но если первое могло иметь известную опору в правительственной традиции, то второе в общем правительском оркестре сильно диссонировало.

Читающая публика медленно, но неуклонно росла. Общественное движение 1840-х годов, используя оставленные Уваровым цензурные «отдушины», проявилось в печати. С другой стороны, во второй половине 1840-х годов как будто стали заметны некоторые результаты системы 1834 года: стали замечать, что произведенный казенными учебными заведениями *новый кадр*, вливаясь в чиновничество, вносит в бюрократическую рутину необычный деловой настрой. Политические тенденции в отношении народного просвещения, заложенные еще в александровскую эпоху, наконец стали приносить плоды в виде широкого контингента поданных новой формации. Но император Николай I оказался совершенно к этому не готовым. Кроме трудолюбия, воли, здравого смысла, административного опыта требовалась еще и определенная доля личной приобщенности к тому образованию, которое было способно формировать личное мировоззрение, сообщать определенную душевную, интеллектуальную утонченность. Не имея об этом достаточного представления, Николай I не был в состоянии правильно оценить усилия Уварова, направленные на то, чтобы не

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

отталкивать то новое поколение, не допустить нарастания у него политически опасного для самодержавной России чувства невостребованности.

Ближайшее окружение императора и вся придворно-правительственная среда в целом, когда-то в той или иной мере познавшая искус вольтерьянства и иных соблазнов эпохи Просвещения, взирала на современного молодого образованного человека, пожалуй, без особого оптимизма. «Без сомнения, философия, расширив пределы ума человеческого, могла пролить некоторый свет на многие вопросы, но едва ли разрешила она какой-либо из них. Мало ясных положений, а споров много, — рассуждал один чиновник из Министерства иностранных дел. — Вред же, принесенный Французскими умствованиями XVIII столетия и Германским учением нашего времени, весьма значителен и особенно чувствителен по безверию, разочарованию, невнятности и гордости юношей, вдавшихся в подобные занятия»<sup>1</sup>. Поведение образованного человека на государственной службе чаще воспринималось с каким-то неприязненным скепсисом, а новые тенденции в литературе и журналистике возбуждали в верхах острую тревогу и политические опасения. Голоса, порицавшие политику Уварова, раздавались все громче и громче. Николай I им внял под впечатлением европейских революций 1848–1849 годов.

После ревизии цензуры, проведенной Комитетом А. С. Меншикова, министр народного просвещения был лишен самостоятельности в области контроля над печатью. Деятельность Высшего цензурного комитета 2 апреля 1848 года довела состояние контроля над печатью фактически до полного хаоса и создала атмосферу «цензурного террора». Такой политикой самодеятельная общественность была полностью лишена печати как средства самовыражения. Первые годы она сносила гнет лишь с глухим ропотом. Но с началом Крымской войны созревшая на протяжении 1830–1840-х годов потребность в печатном слове дала о себе знать. Острое ощущение политического кризиса, наступления конца николаевской системы породило в обществе сильнейшую потребность высказаться, и началось еще небывалое в России по своим масштабам распространение рукописной публицистики.

Высшие сферы начали осознавать, что попытка поставить печать под контроль прямым давлением привела к противоположным результатам. Высший цензурный комитет был упразднен, но распространение рукописной литературы это не остановило. Ее произведения стали печататься в заграничных изданиях А. И. Герцена. Интерес к ней снижался постепенно. Содействовало этому обновление местных цензурных комитетов и общая либерализация цензуры, формирование в правящих верхах «представления о печати как о форме выражения общественного мнения»<sup>2</sup>. Поиски правительством нового метода контроля над печатью, который помог бы выстроить необходимую связь с общественностью, продолжались в течение всей второй половины 1850-х годов, отмеченных бурным ростом издательской деятельности. Память о «цензурном терроре» продолжала отравлять отношения администрации и прессы. Так, например, полностью провалилась попытка правительства через специальный Комитет по делам книгопечатания в 1858–1859 годах установить доверительный контакт со средой литераторов и журналистов. Последним в лице графа А. В. Адлерберга и его коллег померещился прежний Бутурлинский комитет<sup>3</sup>. И только в начале 1860-х годов цензурная политика встанет, наконец, на новые рельсы: руководить ею придут новые люди – подлинные деятели эпохи реформ А. В. Головнин и П. А. Валуев. Они будут действовать не иначе, как сочетая прямой нажим с более или менее тесным сотрудничеством с лояльной к правительству курсу частью общественности.

В последние годы николаевского царствования общественность была травмирована цензурным террором и переполнена переживаниями, связанными с Крымской войной. Она не заметила ни Комитета Д. Н. Блудова, ни даже закона 9 декабря 1856 года. Противопоставленный ведомству народного просвещения Комитет работал вяло. На пересмотр основ отечественной системы образования его председатель, очевидно, не надеялся да и вряд ли серьезно к этому стремился. Опыт длительного служебного положения в высших придворно-бюрократических сферах подсказывал ему, что в специальных вопросах спор с Министерством не сулит ему выигрышных перспектив: отечественная общеобразователь-

ная система была уже достаточно зрелой, многократно возрос профессионализм и корпоративная сплоченность ее личного состава. Блудов дал ход уже поставленному Комитетом о пересмотре Устава о службе гражданской вопросу о преимуществах образованных чиновников в продолжение службы. В качестве председателя Департамента законов он сумел вывести его на широкое обсуждение в Государственном совете. Развернувшиеся на его заседаниях споры показали, что дело о судьбе системы разрядов 1834 года могло иметь три исхода. Можно было решиться на форсирование процесса обновления государственного аппарата новыми людьми. В осторожной форме это предлагали министр внутренних дел С. С. Ланской, отчасти управляющий Морским министерством барон Ф. П. Врангель и министр юстиции В. Н. Панин. Можно было просто не препятствовать наметившейся тенденции, на чем настаивали министр народного просвещения А. С. Норов и председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета принц Петр Ольденбургский. Или же, как хотели многие, признать плод полувековых правительственные усилий не столь уж драгоценным и только наметившийся процесс расстроить, растворив новый кадр в массе чиновников полуобразованных или малообразованных. Император Александр II согласился на последний вариант, и к ошибке его отца, сделанной 2 апреля 1848 года, добавилась новая.

Спустя сорок с лишним лет в правительстве будет поднят вопрос о возвращении к прежнему принципу. Специальная Комиссия Е. А. Перетца и И. И. Шамшина 1894–1901 годов придет к заключению, что необходимо вновь ввести различные сроки производства в зависимости от уровня образования. Однако представление Комиссии по не вполне ясным причинам в Государственном совете не будет рассмотрено<sup>4</sup>.

Думается, что если бы был избран первый или второй путь, то, возможно, в 1860–1870 годы, когда развернулись реформы, лидеры «либеральной бюрократии» меньше бы жаловались на отсутствие людей для «нового порядка вещей», косность бюрократической машины была бы меньше, отношения между местной администрацией и земствами складывались бы не столь неблагоприятно, антагонизм между бюрократией и интелли-

генцией выглядел бы не таким непримиримым. Одним словом, пореформенное развитие России могло быть менее болезненным.

Цензурный террор и переживания, связанные с Крымской войной, породили в обществе целый шквал нигилистической критики по адресу Николая I и всей его политической системы. С пристрастным отношением ко всему николаевскому наследию русская образованная общественность войдет в полосу борьбы за направление и характер предстоявших реформ, за то, каким будет облик обновлявшейся России. Но отойдет в прошлое эпоха Великих реформ, наступит другое время, и в суждениях реформаторов зазвучат иные интонации, другие оценки результатов тридцатилетнего царствования Николая I. Некогда блестящий профессор и самый молодой среди ректоров российских университетов, участвовавший в подготовке отмены крепостного права в Редакционных комиссиях и в подготовке университетского устава 1863 года, некогда один из лучших в России мастеров банковского дела и дальновидный министр финансов Николай Христианович Бунге в начале 1890-х годов в своих «Загробных записках», вспоминая последние годы николаевского царствования, напишет: «... печальные стороны нашей жизни скрывали крупные заслуги **Императора Николая**, стремившегося поддержать дух порядка, дисциплины...»<sup>5</sup> Преобразователь русской армии Д. А. Милютин, после двадцати лет управления Военным министерством находясь в отставке и работая в 1887–1888 годах над мемуарами, будет вспоминать события Крымской войны и общественную атмосферу той поры. Он обнаружит заметную неудовлетворенность скоропалительными суждениями того времени и заговорит о необходимости более объективной оценки николаевского наследия в целом: «Беспристрастная оценка личности и значения Императора Николая, конечно, принадлежит истории. О такой крупной, можно сказать, колossalной личности можно судить, как о всяком большом предмете, только отступая несколько поодаль... Говоря совершенно откровенно, и я, как большая часть современного молодого поколения, не сочувствовал тогдашнему режиму, в основании которого лежали административный произ-

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

вол, полицейский гнет, строгий формализм. В большей части государственных мер, принимавшихся в царствовании Императора Николая, преобладала полицейская точка зрения, то есть забота об охранении порядка и дисциплины. Отсюда проистекали и подавление личности, и крайнее стеснение свободы во всех проявлениях жизни, в науке, искусстве, слове, печати... Однако ж, при всем этом, было бы несправедливо отрицать громадные успехи, сделанные в это 30-летнее царствование во всех отраслях государственного устройства России; во всем же, что было сделано в этот период, Государю принадлежало личное, непосредственное руководство. Кто имел случай сколько-нибудь прикасаться к ведению дел в его царствование, тот знает, как велика была личная деятельность Императора, с какою добросовестностью относился он к делам, каким чувством долга, какой горячей любовью к России и желанием ей блага был он проникнут»<sup>6</sup>. Пройдет еще двадцать лет, и Дмитрий Алексеевич о николаевском времени вспомнит опять. Под впечатлениями Русско-японской войны он придет в 1909 году, помимо прочего, к мысли о необходимости возвысить значение в русской армии корпусов в качестве постоянных воинских соединений мирного времени<sup>7</sup>. Тех самых корпусов, которые в 1860-е годы были упразднены по его инициативе<sup>8</sup>.

Сделанная сквозь призму «мрачного семилетия» оценка николаевского наследия общественным мнением 1850-х годов наложила отпечаток не только на политическое сознание последующих поколений интеллигенции, но и на историографическую традицию, отпечаток, не изгладившийся до сих пор.

## Примечания

<sup>1</sup> Муханов В. А. Из дневных записок // Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 94.

<sup>2</sup> Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX века. Л., 1989. С. 198.

<sup>3</sup> Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х – начала 1860-х гг. М., 1974. С. 64–67. См. также: Ленке М. К. Русское «Bureau de la presse» // Он же. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904. С. 309–368.

<sup>4</sup> Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России XIX в. М., 1978. С. 50–53.

<sup>5</sup> Бунге Н. Х. Загробные заметки // Река времен. (Книга истории и культуры.) Кн. 1. М., 1995. С. 207.

<sup>6</sup> ОР РГБ. Ф. 169. Картон 8. Ед. хр. 30. Л. 29–30 об.

<sup>7</sup> См.: Миллютин Д. А. Старческие размышления о современном положении военного дела в России // Известия Императорской Николаевской Военной Академии. 1912. № 30. С. 850–851, 852–853.

<sup>8</sup> См.: Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870-х годов в России. М., 1952. С. 59, 85.

П. А. Зайончковский оценивал уничтожение корпусов как высших тактических единиц, сохраняемых в мирное время, отрицательно. С военной точки зрения, считал он, «вопрос о существовании корпусов отнюдь не противоречил идее создания военных округов». По его мнению, корпуса были упразднены не по военным, а по политическим

соображениям, чтобы не допустить на местах какого-либо сопротивления введению военно-окружной системы. Хотя из 211 опрошенных высших чинов за введение военных округов были 117 человек, а против высказались только 10. Оставаясь «принципиальным противником существования армейских корпусов», Миллютин сопротивлялся их восстановлению и в 1870-е годы. Корпуса сформировали только в 1876 году, непосредственно в преддверии войны, из мобилизованных войск, и они, по существу, «не смогли занять определенного места в системе организации войск действующей армии». И, таким образом, восстановление корпусов в прежнем своем положительном значении так и не состоялось. (Там же. С. 88, 94, 97, 336, 349.)

По мнению А. А. Керсновского, упраздняя корпуса, «язву нашей военной системы — «отрядоманию» — Миллютин делал нормальным порядком вещей», «Миллютин смотрел на ведение боя бюрократически — он совершенно пренебрегал духовной спайкой начальников и подчиненных, взаимным их доверием, рождающимся в живом военном организме за долгие годы совместной службы в мирное время», «положительные результаты миллютинских реформ были видны немедленно... Отрицательные же результаты выявлялись лишь постепенно, десятилетие спустя, и с полной отчетливостью оказались уже по уходе Миллютина». (Керсновский А. А. История русской армии. Т. 2. М., 1993. С. 180, 193, 264.)

## *Приложения*



## Четыре служебных документа министра С. С. Уварова

ПУБЛИКУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ из рукописного собрания семейства Уваровых (ф. 17), хранящегося в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея, представляют, на мой взгляд, значительный интерес для изучения государственной деятельности знаменитого министра народного просвещения, особенностей его политического мышления и служебного поведения. Да и не только для этого.

Всеподданнейшая записка 27 декабря 1836 года, записка «О системе чинов в России» от 7 ноября 1848 года и «Обозрение Управления Министерством народного просвещения» 1849 года цитировались в главах 2-й и 4-й настоящего исследования, где говорилось об обстоятельствах появления этих документов и их предназначении. Записка «О средствах сделать Народное Воспитание специальным, не отступая от общих видов оного» была написана, очевидно, в 1833 году. В том же переплете (Ед. хр. 38.) сохранился более ранний вариант этой записи под заглавием «О средствах сделать общее воспитание специальным» в виде писарской копии, содержащей исправления рукой Уварова. За ним следует в качестве второй части также более ранний текст всеподданнейшего доклада 19 ноября 1833 года\* и тоже с исправлениями. (Л. 106 об.-112.) Поэтому можно предположить, что Уваров намерен был представить за-

\* См. главу 2 настоящего исследования.

писку императору, если не одновременно с докладом «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения», то, во всяком случае, с небольшой разницей во времени. Хотя, конечно, для абсолютной уверенности в том, что Николай I записку читал, этого недостаточно. Публикуется она по окончательному варианту — также писарской копии (Ед. хр. 38. Л. 113–124).

Записки «О системе чинов в России» от 7 ноября 1848 года (Ед. хр. 39. Л. 255–265) и «Обозрение Управления Министерством народного просвещения» 1849 года (Ед. хр. 38. Л. 19–28 об.) представляют собой тоже писарские копии. Записка 27 декабря 1836 года (Ед. хр. 98. Л. 59–60 об.) сохранилась в виде текста, написанного рукой самого Уварова с исправлениями. Последние носят чисто стилистический характер, поэтому не оговариваются.

Подчеркнутое Уваровым выделено в тексте курсивом.

В публикации сохранены стиль и орфография подлинников.

О средстvах сделать Народное

Воспитание специальным, не отступая от общих видов оного.

Префектати - именем

существование... Чинистерство  
Народного Просвещения, пред-  
ставляемое генералом Аксаков-  
ским и отцом Ф. А. Баклан-  
овым. Необходимо, что про-  
спекты, сделанные однолич-  
ною генералкою началь Государ-  
ственного, входить в число  
тих поправок, как Пра-  
вительство обязано доставить  
поддержку; но также другой  
стороне, что сие самое пре-  
спективы если не удовлетворят  
всех практических свойств, во времена  
чтобы существование и не всегда  
это обозначение, должно  
никогда не допускать генерал  
Государственному составу,  
как ищетъ въ истории М.  
чинистерства Народного Просвещения

Записка С.С.Уварова «О средствах сделать Народное Воспитание  
специальным, не отступая от общих видов оного».

Первая страница писарской копии.

124

очерк оценки общих видов и  
заключения соображений, из  
коих мне не знать со временем  
нельзя составление планов по за-  
имствованию Министерства Народ-  
ного Просвещения, буде они не  
удовлетворят Высочайшего  
Вашего Императорского  
Величества одобрению.

Сергей Уваров

Окончание записки С.С.Уварова «О средствах сделать  
Народное Воспитание специальным...» с его подписью.

I

*О средствах сделать  
Народное Воспитание специальным, не отступая  
от общих видов оного*

Тридцатилетнее существование Министерства Народного Просвещения представляет странное смешение понятий и опытов всякого рода. Неоспоримо, что просвещение, сделавшись одним из главных начал Государственных, входит в число тех потребностей, кои Правительство обязано доставлять подданным; но зная с другой стороны, что сие самое просвещение если не удержится в границах своих, в границах умственных и не всегда ясно обозначенных, должно на конец готовить гибель Государственному составу, мы ищем в истории Министерства Народного Просвещения плана единственного, твердого, плана соединяющего выгоды просвещения Европейского с преимуществами народности, ищем его и — не находим. И если в свое время были покушения, может быть довольно удачные к достижению сей цели, то и следы оных исчезли. От призраков Германской филантропии до туманов Мистики, Министерство Народного Просвещения пробежало все степени, не остановившись ни на одной, и всегда разрушая последнее свое творение. Общие политические обстоятельства изменялись между тем во всех видах, и влече ние оных становилось более и более неблагоприятным и затруднительным для всех Правительств в Европе. Таким образом Министерство Народного Просвещения произвело у нас что-то имеющее наружность просвещения, но лишенное жизни, основания, и не пустившее ни одного корня на почве Русской земли. Из сего следует, что главные учебные заведения, как вновь устроенные, так и прежде бывшие, не только не развивались и не усовершенствовались, но упадали и упадают постепенно. Университеты существуют только по имени; Московский, некогда глава наших учебных заведений недавно доходил до упадка. С[анкт-]Петербургский, в настоящем виде едва ли не уступает хорошо устроенной Гимназии. Харьковский и Казанский не дозревши, дрях-

леют. Дерптский обязан своим преимуществом тому, что он более соответствует потребностям края, в коем он учрежден. Это Немецкий Университет посреди Немецких Губерний; но сие самое обстоятельство ограничивает пользу, которую может ожидать от него Государство вообще.

Сие положение Университетов весьма легко объясняется положением средних и низших училищ; без приведения сих последних в надлежащее устройство, мы никогда не будем иметь Университетов; но устройство Гимназий, особенно устройство Народных Училищ, превышает трудностию исправление Университетов; оно требует не только опытной и счастливой руки, оно требует плана и цели, о коей мы доселе мало заботились утверждая, что Гимназии должны приуготовлять к Университетам, а низшие Училища к Гимназиям; но сие определение весьма односторонне; конечно средние и низшие Училища должны *приготавлять*, но кого? из каких классов общества? и к чему? Истинная цель сих заведений есть двоякая: для иных оне служат *переходом* к высшим, но для других и несравненно бульших числом, учение, преподанное в Гимназии и даже в Народном Училище есть *окончательное*. — Не трудно чертить теории и предполагать такой ход вещей, который не оправдывается опытом; народное воспитание не может нигде, особенно в России, быть подчинено одной неподвижной форме. Оно должно соображаться с Гражданским порядком, а не мечтать, что оно повлечет оный за собою. Не все классы, составляющие народ вообще, имеют равные умственные потребности: иные обязаны идти вдаль; другие принуждены останавливаться посреди пути; несравненно большее число достигает полной своей цели, достигнув первых начал образования. Все классы Гражданского общества стремятся к целому, но стремятся разными путями; что одному классу необходимо, то бесполезно и, вредно другому. Словом, народное воспитание должно быть *специальное*, особенно у нас, где черты, отделяющие одно сословие от другого, еще столь резки. Искать однообразия тут, где сила вещей учредила совершеннейшую разнообразность, составлять общее для Государства, не представляющего ничего общего, есть опыт тщетный и даже опасный. И тщетность и опасность оного ясно изложены в истории Министерства Народного Просвещения.

Главные обязанности оного, исполнение коих сопряжено впрочем с затруднениями необыкновенными, состоят без сомнения в искусном расположении сих разнородных начал, в определении *своего каждому*, в беспрерывном наблюдении за исполнением предпринятых мер, в выборе людей, коих так мало оказалось способными орудиями по сей части, в точном узнании всех *местных* обстоятельств, от коих зависит и знание нужды и возможности исполнения; в приобретении по-всеместного доверия к намерениям Правительства; в распространении общей мысли, что Правительство *желает просвещения для всех по мере надобности каждого* для вящего утверждения народного духа в верности к Религии предков и преданности к Трону и Царю.

Прилагая вышеизложенные соображения к самому делу, можно определить несколько главных начал:

*О Народных Училищах.* Касательно Народных Училищ, можно без вреда усилить во всех промышленных русских Губерниях, преподавание чтения и письма между низшим классом с начальными правилами Арифметики и несколько Географических сведений. К сему классу принадлежат крестьяне, мещане, вольноотпущеные, купечество 3й гильдии. Само собою разумеется, что преподавание Закона Божия должно совокупляться с вышесказанными предметами. — Таковыми училищами открывалось и заключалось бы воспитание низшего класса. В промышленных и богатых Губерниях наших по течению Волги и Камы, каждый простолюдин убежден необходимости учиться чтению и письму. Доставление сего орудия, имеет может быть, свои опасности — но кто мог бы остановить естественный ход умов, и с какой пользою сопряжен столь отважный опыт? — Орудие, в коем будет отказано Правительством, рано или поздно сделается добычею тех, которые чувствуют необходимость оным владеть. Лучше предупредить таковое предприятие, дабы сие орудие осталось орудием мира и порядка. Тут и вся задача нынешнего времени в отношении к просвещению. Довольно и того, если мы успеем удержать каждый класс в пределах ему свойственного образования.

Но умножение Народных Училищ не может быть без разбора распространено по всей Империи; в иных местах оно

необходимо; в других, едва ли полезно. Здесь следует принять в руководство положение каждой Губернии порознь, дух жителей, степень их благосостояния и образованности, занятия их торговые и промышленность; в Губерниях, составляющих центральный пояс России, таковое содействие было бы полезно и благоразумно. В иных, например в северных и южных, прежде временно; в других как то в пограничных с Польшею даже вредно, если учение не примет новых начал; ибо например в Белоруссии, народ говорит по-русски, владельцы по-польски; народ не имеет русских школ, или весьма мало, не учится русскому языку и к стыду нашему, начинает забывать оный; тут нужно принять быстрые и решительные меры и преобразовать немедленно все учение. Здесь утрата каждого дня не возвратна.

*О Гимназиях.* К сему разряду принадлежат все заведения, составляющие середину между низших и высших. В них должны образоваться

а.) Дети низшего и среднего дворянства, особенно в Губерниях.

б.) Дети чиновников служащих и неслужащих.

с.) Дети высшего купечества.

И здесь надобно заметить, что для большего числа сии заведения не должны и не могут быть *приуготовительными* к высшему образованию; но по истине: *окончательными*. Таким образом определяется *вторая степень специальности*; специальности, сообразной с Гражданским бытом тех классов, для коих преимущественно предназначаются сии заведения; а дабы дать оным всевозможную пользу, нужно присоединить к каждой Гимназии в Губернском городе *пансион*, где бы за умеренную плату имели общее воспитание те, коих родители будут в состоянии платить оную плату. В образовании сих пансионов следует соображаться также с местными обстоятельствами и желанием большинства родителей. Какой, живущий в Губернии дворянин не предпочтет воспитывать своих сыновей так сказать под своими глазами, не посыпая их в С[анкт-]Петербург или Москву? и может ли быть сомнительным, что дворянство, постигшее благие намерения Правительства, усердно содействовать будет ему в таковом предприятии? Тот мало знает Россию, кто бы не уверился в

возможности образовать постепенно таковые учебные заведения почти во всех Губернских городах, начиная с тех, которые живее чувствуют недостаток в средствах воспитания, имея более средств к отвращению оного. Сей предмет поставить можно в число важнейших.

Сим способом а.) утвердится специальность в плане народного образования; б.) уничтожится со временем всеобщее пагубное стремление к центру всего т[о] е[сть] к Столицам, служащее первым поводом к расстройству частного благосостояния и даже к отчуждению от любви к Отечеству, всегда сопряженных с незнанием оного.

*Об Университетах.* Университеты, как высшие рассадники Наук, должны довершить систему нашего образования; но подчинять их одной, повсюду единообразной форме не сходит с положением России и всегда будет препятствием в их успехах. Неужели можно сравнить умственные потребности жителей Столиц с жителями Заволжскими и Закамскими? Льзя ли для Южных Губерний определить ту меру образования, которая полезна для Остзейских? Москва и Казань, Дерпт и Харьков, С[анкт-]Петербург и Польские Губернии, не представляют ли бесконечный ряд противоположностей и может ли один оселок, одно мерило равно удовлетворять их требованиям? Может ли один Учебный Устав обнять Государство столь разнообразное, что едва ли не содержит в себе все степени образования, все оттенки Гражданской жизни, все начала морального мира, как оно содержит все климаты и все произведения физического?

От сего невнимания к местным обстоятельствам, к духу народному, к свойству и к силе вещей происходит то, что наши Университеты повсюду чужды, повсюду ослабевают; они составлены будучи по единой для всех форме, по образцу иностранных по ровной выкройке, еще не принесли желаемой пользы и увядали везде как растения иноземные, не пустившие корней и не обещающие плодов.

В образовании Университетов представляются две специальности: 1.) местная, происходящая от того края, в коем они учреждены; 2.) общая между ними, т[о] е[сть] специальность цели, ограниченной тем, чтобы давать всем высшим классам средства к совершенному своему образованию. Говоря здесь о высших классах, мы не мечтаем о каком-нибудь феодальном от-

клонении прочих. Под словом *высшего класса* разумеем всех, коих природа наделила высшими умственными способностями, и коим Гражданское состояние не препятствует достигать полного своего развития. Это определение всегда и везде совершается само собою.

Преобразование Университетов должно быть полное в отношении к преподаванию и к духу, коим они наполнены. Красивые здания, просторное помещение конечно имеют свою пользу; но когда внутренность моральная и умственная колеблется на своих основаниях; когда преподающие должны довольствоваться скучным жалованием в 2/т[ысячи] р[ублей]; когда начальство не находит средства, удалив недостойных, заменить их достойными тогда Университеты должны упадать более и более, и благие намерения Правительства оставаться навсегда без исполнения и без последствий.

Если определение в одно время однообразных Штатов для Университетов: Московского, С[анкт]-Петербургского, Харьковского и Казанского было бы сопряжено с издержками могущими казаться чрезмерными, то можно бы дело сие начать следующим образом:

1) Приступить немедленно к совершенному и необходимому по обстоятельствам преобразованию Университетов Петербургского и Московского, испросив оным Штаты\* по размеру Дерптского, буде можно с 1 января 1834 г[ода].

2) Прочим Университетам, т[о] е[сть] Харьковскому и Казанскому: (преобразование коих имеет быть отложено до некоторого времени): определить штаты, имеющие вступить в расписание Государственных расходов при первом удобном случае.

Таким образом Министерство Народного Просвещения будет иметь достаточно времени исправить сперва главней-

\* Штат С[анкт]-Петербургского Университета заключается в 171/т[ысяче] р[ублей], предполагаемый в 320 650 р[ублей], следовательно недостает 149 650 р[ублей]. Штат Московского Университета составляет ныне 221 699 р[ублей]; в новом определяется всего: 517 950 р[ублей], прибавочно: 296 251 р[убль]. По тому и другому Университету *итог* прибавочных сумм заключается в 445 901 р[убль]. Может быть откроется возможность и сей итог уменьшить. (Примечание С. С. Уварова.)

шие учебные заведения, а потом заняться и прочими; по крайней мере камень основания положен будет и бездействие прекратится.

Самое же преобразование Столичных Университетов стоит гораздо менее в написании Уставов, нежели в разборе людей. Архивы сего Министерства завалены грудою написанных параграфов, но к чему они служат, или лучше сказать, что из них исполняется?

Оsmеливаюсь повергнуть к стопам Вашего Императорского Величества сей краткий обзор, составленный при первом взгляде на поприще, которое Вам благоугодно было Всемилостивейше открыть предо мною. Чем более я проникнут благоговением к оказываемому мне Монаршему доверию, тем более чувствую важность затруднений и препятствий меня ожидающих. Записка сия не может почитаться планом; разве только очерком общих видов и главных соображений, из коих мог бы быть со временем составлен *план* по части Министерства Народного Просвещения, буде оные удостоятся Высочайшего Вашего Императорского Величества одобрения.

Сергий Уваров

II<sup>1</sup>

Ваше Императорское Величество изволили повелеть чтоб окончившие в высших учебных заведениях курс учения и получившие степень соответствующую чину 9го класса, получали бы впредь дозволение вступать в Гражданскую службу независимо от действия закона о прослужении трех лет в губерниях.

По словесному объяснению председателю Комитета Министров, должно было заключить что Ваше Величество изволили в последствие определить что вышеписанное новое Узаконение не будет вовсе простираться на воспитанников Царско-сельского лицея с Пансионом и на Училище Правоведения.

По строгому смыслу моей обязанности быть во всех случаях ходатаем за Университеты, следовало бы мне конечно представить тут же Комитету что объяснение председателя

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

не согласуется вполне смею сказать с правилом собственно-  
ручно поставленным Вашим Величеством; что если все огра-  
ничения и обязанности нового узаконения должны исключи-  
тельно падать из Высших Учебных Заведений на одни  
Университеты, то можно опасаться что прилив в оные моло-  
дых людей особенно высших Сословий, с таким трудом уст-  
роенный, впредь мог бы прекратиться; что эти молодые лю-  
ди весьма естественно обратились все к Лицею и к пансиону  
Лицея и к Училищу Правоведения кои пользуясь сим исключи-  
тельный, обширным правом, займут несомненно и в об-  
щем мнении высшее место; наконец, что по моему уразуме-  
нию, мысль Вашего Величества состояла в том чтобы те кои  
в высших учебных заведениях вообще и без всякого исключе-  
ния получат право на 9<sup>ый</sup> класс, пользовались бы дозволени-  
ем вступать по прежнему в службу. Таким образом, уравнива-  
ет сие начало для всех Учебных Заведений; тем более что  
Лицей и Училище Правоведение дают воспитанникам не  
один только чин 9<sup>го</sup> класса но и низшие; из чего явствует что  
следуя буквально объяснению Председателя, воспитанник  
Лицея получивший чин 14<sup>го</sup> класса, пользовался бы правом в  
коем будет отказано Университетскому Студенту приобрет-  
шему чин 10<sup>го</sup> класса.

Может быть, следовало бы мне объяснить сие в присутст-  
вие Комитета, но смею всеподданнейше доложить что весьма  
сильные убеждения удержали меня от возбуждения подобного  
вопроса и побудили принять смелость довести о моем недоуме-  
нии до сведения Вашего Величества.

Оsmеливаюсь уповать, что сие прямое, с делом согласное  
изложение вопроса в коем заключается некоторым образом  
будущность русских Университетов, удостоится и благос-  
клонного, отеческого воззрения Вашего Императорского  
Величества.

Увацов  
27 декабря 1836 [года].

Ваше Учреждение орехов Венчурго  
упомянутое посыпало чистой окончательно  
и винную уксусную Заводоначальник курка  
урик и погружавши сюда вину  
смешало чисту 9<sup>о</sup> класса, помыкало  
по складу, доведеное синтезом до Учреж-  
дительного суперку кислинкио оно винное  
Учреждение о продаже суперку идет по  
Тульянке.

По ежедневному обозрению Председателя  
Комитета Маринина, доставлено  
Заводоначальнико Ваше Венчурго  
упомянутое посыпало суперку и  
вина винная винная проба Учреждение не  
будет быть продано суперку на Винном  
пункте Чарльзасского Лагу и Панионов  
и на Тульянке Гравитационной.

По ежедневному синтезу иної обозримости  
Председатель суперку Председатель  
Учреждения, оговорено по чисто коммер-  
ческим представлениям тщета по Комитету иної  
обозримости Председатель не согласуетъ

Автограф всеподданнейшей записки от 27 декабря 1836 г.  
Первая страница.

Освободившись утром из  
тюрьмы, я получил согласие ино-  
земцев Бангкока об иметь в запасе  
такое оружие образцов будущих  
русских Университетов, удостоенных  
благословения, отеческого возврата  
<sup>Чин.</sup>  
Вашего благословения

С  
Уваров

Подпись С.С.Уварова под текстом всеподданнейшей записки  
27 декабря 1836 г.

### III

7 ноября 1848 [года].  
О системе чинов в России.

*Система чинов*, исходящая из *табели о рангах Петра I*, обращалась в укоризну и насмешку не только иностранцами, писавшими о России, но и многими из Русских, не постигавших смысла сего учреждения. — Между тем никакая иная мера, никакое иное Государственное постановление не свидетельствует столь явно о глубоком разуме Великого Преобразователя России, которому обязаны потомственные венценосцы новою силою, небывалою в руках других Государей, и составляющих твердую опору их власти.

И поистине, отбросив все то, что с первого взгляда может в учреждении чинов казаться странным и несоответствующим нынешним понятиям, мы убедимся в высоком значении этого законоположения, давшего Самодержавию орудие столь могущественное, что доколе оно останется в руках владельцев едва ли что-либо может поколебать Самодержавную власть в ее основаниях.

Не останавливаясь на мертвой букве, на готических формах, сопровождающих *Положение о чинах*<sup>2</sup>, для всякого беспристрастного наблюдателя поразительны дух и последствия этой великой Государственной меры в прямом, хотя и сокровенном ее значении.

В Гражданской жизни всех Европейских народов отличие определяется или достигается или *родом*, или *богатством*, или *дарованиями*. Там, под всеми формами Правительств, только эти три пути ведут к высшим слоям общества, или, лучше сказать, они-то и составляют сей высший слой. Но как приобретаются отличия в России, и что вкоренено так глубоко в общем сознании неисчислимого большинства?

Известно, что у нас независимо от рода, от богатства и даже от дарований, *Гражданское значение* всех и каждого зависит от степени, которая определяется по усмотрению высшей власти, и что, без этой степени, никто не пользуется вполне выгодами, представляемыми или знатностью рода, или огромным состоянием, или даже дарами ума и талантами. При таком

положении, потомок Пожарского и потомок Минина должны наравне искать благоволения Правительства, заслуживать офицерский чин. Граф Шереметев, вступая во владение обширным поместьем, обязан прежде воздать Правительству, по мере сил, дань личной службы. Карамзин оставил бы скромным писателем, если б взор Монарший не поставил его в общественном мнении не равную степень с вельможами.

Что же укрепило в течении 120ти лет в общем мнении учреждение Петра I<sup>го</sup>, и отчего Россия, не взирая на возгласы некоторых легкомысленных и недальновидных, так пристрастилась к этому порядку, что изменение его считала бы не приобретением, а ущербом?

Россия не пристрастилась, как иные думают ни к титулам, с немецкого довольно неудачно переведенным, ни к званиям, лъстящим самолюбию, но потерявшим большую часть их приманки: причина желания чинов лежит глубже. Россия любит в Табели о рангах торжественное выражение начала, Славянским народам драгоценного, — *равенства перед законом*; дорожит знаменем мысли, что каждый в свою очередь может проложить себе путь к высшим достоинствам службы. Сын знатного вельможи или богатейшего откупщика, вступая на по-прище Государственной службы, не имеет в законах оной никакого другого преимущества, кроме преимущества постоянного *усердия*, и оно может быть у него благородно оспариваемо сыном бедного и неизвестного заслугами отца.

Итак, с одной стороны, Россия смотрит на *табель о рангах* не как на игрушку мелкого ребяческого щеславия, а как на залог одного из важнейших своих начал в быту народном; с другой, Правительство держит в своих руках орудие, как будто общим согласием ему предоставляемое, орудие, по силе которого к Политическому смыслу Самодержавия прибавляется еще и нравственное достоинство.

Законоположение о чинах может измениться двумя способами: совершенным *уничтожением* оного или ограничением. Замечательно, что один из записных недоброжелателей существующего порядка вещей в России, Николай Тургенев<sup>3</sup>, в сочинении своем о России говорит, что едва ли возможно будет побудить Правительство отказаться вполне от этого учреждения, и что на первый случай можно довольствоваться *ограниче-*

нием, состоящим в том, чтобы чины были предоставлены одним служебным местам. Ясно, что несоразмерность сих последних с первыми должна мало помалу положить конец самому учреждению и ввести новый порядок Гражданского быта в России. Рассмотрим последствия такого изменения.

Первое действие не только совершенного учреждения, но и одного ограничения закона о чинах, произведет в общем мнении несомнительное потрясение, отчасти похожее на смятение, и даст повод к толкам и предположениям о дальнейших мнимых видах Правительства. — Этот сильный удар поразит множество предубеждений, скажем, предрассудков; но вместе с тем он возбудит множество тайных надежд и мечтаний. В России ум слишком деятелен, слишком сметлив, и не может оставаться долго под бременем слепого оцепенения; в скором времени умы воспрянут к новым соображениям, проникнув в изгибы всех могущих быть следствий, и найдут себе пути более или менее благонамеренные к цели, вдали открываемой.

В России трудно делать решительный вывод касательно общего мнения; потому что оно лишено возможности открыто высказываться и обнаруживаться. При всем том кто пристально и вблизи наблюдает за его ходом, тому последствия нового положения о службе представляются в чертах самых определенных.

Ближайшим следствием подобного переворота прежде всего был бы переворот в понятиях о службе, которые и без того мало помалу подвергаются изменениям. Мысль общая за полвека, что каждый Русский подданный *должен служить Престолу*, мысль, которая благоговейно руководит целыми поколениями, с уничтожением Табели о рангах несомненно ослабеет. Может быть, на первый случай останется привычка посвящать несколько лет юношеской жизни Государственной службе; но когда счастливый случай не откроет желаемого поприща; когда при малом числе мест встретится безнадежность получить выгодное для честолюбия назначение; когда число неслужащих или переставших служить будет ежедневно возрастать, тогда едва ли молодой человек решится долго оставаться в таком сомнительном служебном положении. Без сомнения, кто имеет наследственное достояние тот выйдет в отставку; потому что для него служба потеряет всю нравственную силу, нравственное могущественное привлечение. В то же время быстро образуется новый разряд людей с особен-

ными понятиями, с особенными предрассудками и мечтами, менее привязанных к Правительству, а более занятых своими выгодами. Решительно можно наперед сказать, что общие между ими начала произведут и новый дух общий, частию *поместной*, частию денежной Аристократии, если только можно этим именем назвать преимущество, какое дают поместья и деньги независимо от знатности породы или личных заслуг.

Таким образом Государственная служба вся перейдет в руки так называемых *чиновников*, составляющих у нас уже многочисленное сословие людей без прошедшего и будущего, имеющих свое особое направление и совершенно похожих на класс *пролетариев*, единственных в России представителей неизлечимой язвы нынешнего Европейского образования. В скором времени этот класс, при уклонении от служения Престолу высшего и незрелости низшего, возникнет с непреоборимой силою, и тем означается переход политической деятельности в руки *среднего класса*, что в прочих Европейских Государствах называется: *Tier-Etat*, или *Bourgeoisie*.\*

Кроме сего важного обстоятельства, нельзя не остановиться на мысли: чем Правительство заменит приманку чинов, и, если бы успело найти какую-нибудь иную меру, что оно выигрывает от нового порядка вещей и понятий?

Очевидно, что по разрушении мысли столь щедро и искусно к России приложенной Великим ее Преобразователем, остается в виду одно лишь заменительное средство: *умножение денежных окладов*. Но и этого мало. Человеку врождена еще нравственная потребность, которую также нужно удовлетворять: потребность возвышения. С одной стороны, какую неисчерпаемую руду следовало бы вновь открыть, чтобы удовольствовать требования, неудержимо возрастать должныствующие? С другой стороны, не рождаются ли новые покушения к приобретению, вместо чинов, славы, власти, чего на Западе с такою алчностью добиваются? Разумеется, ни каких сокровищ не будет достаточно для замены чинов новыми окладами. — Не подлежит также сомнению, что, дав им однажды такое направление Государственной службе, Правительство не в состоянии будет остановить по-

\* Третье сословие или буржуазия (*фр.*).

У Николы  
1848.

17. 255

О системе чинов в России.

Система чинов, исходящая  
из таблицы ординарной Петра I<sup>2</sup>,  
обращающаяся к укоризне и насмеш-  
ке землемерко-имостроителями,  
иссажистами в России, по иници-  
ативе изъ Русланть, не постигав-  
шимъ сущиѣ сего учрежденія. —  
Нишу ниша никакая иная  
имѣра, никакое иное Государст-  
венное постановление не спод-  
вигнутое стечьемъ злого духу  
боязни разумъ Великаго Кре-  
диторства империи России, жажды оба-  
дить землемерствомъ вогнен-  
ностью своего смысла, захваченного  
въ рукахъ другихъ Государей, и  
составляющаго твердую опору  
цель вицемъ.

И по сущности, отобранныхъ

Записка С.С.Уварова «О системе чинов в России».  
Первая страница писарской копии.

столичной газете наряду со  
коренными вопросами, отъ  
которых зависит будущность  
России, и дополнение и благо-  
действие. Нетрудно бою бы,  
распространить обличия этой  
загадки, подкрепить выводы  
правильными доказательствами,  
взятыми изъ существа нашего  
Государственного права и отече-  
ственной истории; но и крат-  
каго указания едва ли недоста-  
точно, чтобъ обратить на  
этотъ столько же важный, сколь  
ко интересный вопросъ внимание  
народа благополучащаго, обусловлен-  
наго чувствомъ своихъ обязанно-  
стей къ Государю и Отечеству.

Записка С.С.Уварова «О системе чинов в России».  
Последняя страница писарской копии.

ток произвольного самовознаграждения. Что же касается до последствий властолюбия, разрушительных и ужасных в наших глазах, об этом нельзя и думать без страха за будущее России. Единственная преграда всему этому находится доселе в *идее о службе*, по уничтожении этой идеи, корыстолюбивые и властолюбивые наклонности, обыкновенно довольные одним настоящим, не знающие ни прошедшего, ни будущего, будут в полном смысле двигателями нового порядка служения и единственным мерилом новой служебной Иерархии.

В рассуждении пользы, какой может Правительство ожидать от такого перелома, из всего вышесказанного, с достоверностью следует заключить, что посягательство на глубокомысленное учреждение Петра I не представляет ничего другого, кроме жертвы и добровольного уничтожения сильнейшего орудия высшей власти; с этим уничтожением ясно сопряжен некоторый ущерб и самой власти. Нетерпеливость, с какою юное поколение ожидает этой меры, указывает достаточно, сколь она способна к возрождению всякой неосновательности и опасной мечты. Теперь каждый юноша воображает, что это сближение с настоящими Европейскими понятиями откроет ему новое, обширное поприще, и что, освободившись от тягостного, более менее медленного ига чинопроизводства, он шагнет на высшие места и займет важнейшие должности в Государстве. Конечно, это во всяком случае останется мечтою; но мечты этого рода предвещают опасное волнение в умах. А какое время более настоящего доказывает необходимость удерживать всякое тревожное движение и оставаться на незыблемых началах своего родного быта, тысячелетием скрепленного и верою освященного?

Вопрос, коего лишь главнейшие черты изложены в этой краткой записке, есть вопрос первой важности, стоящий ныне на ряду с коренными вопросами, от которых зависит будущность России, ее долголетие и благоденствие. Нетрудно было бы, распространив объем этой записки, подкрепить выводы прямыми доказательствами, взятыми из существа нашего Государственного Права и Отечественной Истории; но и краткого указания едва ли не достаточно, чтобы обратить на этот столько же важный, сколько и сложный вопрос внимание каждого благомыслящего, одушевленного чувством своих обязанностей к Государю и Отечеству.

IV

*Обозрение управлению  
Министерством народного просвещения.  
1849 [год]*

**К**огда Его Императорскому Величеству в марте 1833 года угодно было поручить моему управлению Министерство Народного Просвещения, положение общественного воспитания было следующее:

Воспитание детей высших классов находилось без исключения в руках иностранных воспитателей; средние классы пользовались частными пансионами; в губерниях от Польши возвращенных воспитание детей принадлежало все Католическому духовенству; в Остзейском крае дети помещиков искали воспитания в чужих краях, не посещая даже Дерптского университета. — Публичные заведения были в небрежении; университеты наполнялись одними семинаристами и мещанами. — Гимназии, лишенные доверия публики существовали по имени и были большею частию пусты; не было ни постепенности, ни связи в общественном воспитании. — Это важное орудие не лежало в руках Правительства.

Главнейшие указания Его Императорского Величества при приступе к делу заключались в следующих видах:

1.) Все разбросанные части общественного воспитания привести к одному знаменателю, составя из оных полную систему публичных учебных учреждений.

2.) Поставить эти заведения на такую степень устройства, чтобы, заслуживши общее доверие родителей, побудить сих последних, особенно в высших классах без гласного изъявления Высочайшей воли, к решимости отдавать сыновей в публичные заведения; и тем мало помалу уничтожить *частное* воспитание и удалить иноземных воспитателей.

3.) Ввести в преподавание публичных заведений дух Русский, под тройственным влиянием Православия, Самодержавия и Народности, возбуждая в молодых людях уважение к Отечественной Истории, к Отечественному языку, к Отечественным учреждениям. — В губерниях от Польши возвращен-

*Обозрение  
Управления Министерства народного просвещения*  
*и присоединенное  
1849*

Титульный лист «Обозрения Управления Министерством народного просвещения» 1849 года

Поруч Ею Императрице  
Марии Величеству  
6<sup>го</sup> марта 1833 года угодно  
было поручить моему упра-  
влению Министерство На-  
родного Просвещения, которое  
имеет общецелесообразное воспита-  
ние детей следующее:

Воспитание детей вос-  
питавших массы находящиеся без  
имущества в руках ино-  
странцев воспитательниц;  
средние массы находившие  
наставление миссионарии; въ  
губерниях отъ Польши възбр  
нувшие воспитание детей.

«Обозрение Управления  
Министерством народного просвещения».  
Первая страница писарской копии.

ных, куда не проникал Русский язык, водворить изучение оного, равно как и в Остзейском крае.

4.) Недостаточное число учащих и преподавателей дополнить посредством образования нового поколения молодых людей, к сему званию способных, приуготовляя их к исполнению в полном смысле видов Правительства.

Ныне, по истечении 16<sup>ти</sup> лет, при трудах, руководимых Его Величеством и которые производились беспрерывно под Собственным наблюдением Государя Императора достигнуты следующие результаты.

1.) Образование молодого поколения все без исключения перешло в руки Правительства; все, что готовится к гражданской или ученой службе поступает в средние и высшие учебные заведения, так что в настоящем году в числе 3822 Студентов Университетских 2784 принадлежат к дворянскому сословию. — Частное воспитание исчезло; доказательством сего служит, что частные Пансионы постепенно закрылись без всякого прямого распоряжения Министерства<sup>4</sup>, иноземные воспитатели не находя более ожидаемой у нас деятельности перестали являться<sup>5</sup>. В губерниях от Польши возвращенных учреждена полная система Школ, вмещающих молодое поколение того края, влияние ксендзов на них значительно уменьшилось. Русский язык, до толе им мало известный и ненавистный, совершенно водворен и этот вопрос можно считать решительно конченным. — Равно и в Остзейских губерниях, не взирая на предрассудки и противодействия, язык Русский пустил глубокие корни. В Дерпте особенно, все учащиеся более или менее с ним ознакомились, правильно и основательно. — При сем следует заметить, что и в обычаях и в жизни Студентов Дерптских, до толе необузданных, проявилась совершенная перемена; где недавно владычествовали неустройства всякого рода, особенно страсть к поединкам, так царствует ныне тишина и полный порядок.

2.) Преподавание повсюду приоровано к Отечественному началу. — Изучение Русского языка и Русской Истории, уважение к Русскому началу противопоставляется влиянию иностранного духа. — К сему не мало содействовали предпринятые по Высочайшему повелению огромные издания Археографической Комиссии и полного Русского Словаря, — этот важный

труд Академии наук. — Можно без преувеличения сказать, что новое поколение лучше знает *Русское и по-Русски* чем поколение наше.

3.) Совокупные действия Главного Педагогического Института с Университетами представляют обильный запас молодых учителей, во всех отношениях лучше прежних. — Главный Педагогический Институт снабжает учителями более или менее способными, не только многочисленные заведения Министерства, но еще по мере возможности и женские и военные учебные заведения.

Сверх сего, нельзя не упомянуть хоть мимоходом о многих отдельных трудах, с соизволения Его Величества предпринятых и с успехом оконченных, как то: преобразование общего медицинского преподавания; учреждение клиник университетских на новых началах; учреждение Главной Пулковской Обсерватории; ученые экспедиции Астрономов и Естествоиспытателей, распространение учения восточных языков преимущественно в Казани; издание множества полезных учебных книг; учреждение ветеринарных училищ и т[ак] д[алее].

К сим отдельным трудам можно присоединить образование Варшавского Учебного Округа посредством поступления Училищ Царства Польского в ведомство Министерства Народного Просвещения. — Если временные обстоятельства доселе не совсем благоприятствовали развитию принятых мер, то можно уповать, что постановленные начала при лучших обстоятельствах, произведут и более плодов. — Трудности в исполнении высокой мысли Его Величества очевидны и не подлежат дальнейшему объяснению.

Вот в кратчайших очерках плоды 17тилетней деятельности Министерства Народного Просвещения, стремящегося под руководством Его Величества исполнить план, коего все главные основания принадлежат Петру Великому, Екатерине II, Императору Александру, особенно же благополучно Царствующему Государю Императору, довершающему великие предначертания предков к славе и благоденству России.

Печальные и ужасные события, в недавнем времени поколебавшие в Европе все основы общественного порядка, могут бессомненно внушить мысль о необходимости удерживать в ближайших границах умы юного поколения с некоторым изме-

нением в объеме преподавания, в числе учащихся и особенно в разборе состояний, допускаемых до высших степеней образования. — Эти важные вопросы в течение многих лет занимали Министерство Народного Просвещения и были неоднократным предметом наставлений, даваемых Его Величеством Министерству Просвещения и мер оным принимаемых. В числе сих мер следует указать на постановление, воспрещающее молодым людям свободных состояний поступать в Училища без предварительного освобождения со стороны Общества, коему они принадлежат; усилении строгости в выборе учебных книг и в экзаменах университетских; запрещение, чтобы Студент оставался более двух лет в одном курсе; вновь последовавшее распределение Гимназического преподавания на два параллельные курсы, из коих один окончательный а другой приуготовительный. Все эти меры в совокупности, ведущие к цели постепенного ограничения, свидетельствуют, что Министерство, в исполнение Высочайших указаний, никогда не теряло из виду ни удержания развития юного поколения в надлежащих пределах, ни брожения умов вне Империи, всегда наблюдая, чтобы дух учебных заведений был по возможности огражден от заразы мнимого Европейского просвещения, не совместного ни с нашими учреждениями, ни с благоденствием Отечества. — Справедливость требует объяснить что подобные меры предосторожности были принимаемы Министерством гораздо прежде пагубного 1848 года. — Осмеливаюсь наконец прибавить, что в течение оного и в настоящий 1849 год учебные заведения Министерства выдержали довольно счастливо тяжкое испытание времени и обстоятельств, и что если несколько незрелых юношей посреди многочисленной молодежи, как потерянный процент на хранимый огромный капитал<sup>\*6</sup>, сделались отдельною жертвою заразы нравственной, то в числе одержимых оною не оказалось доселе ни одного университетского преподавателя и ни одного чиновника Министерства Народного Просвещения.

\* Число учащихся в публичных учебных заведениях составляет в Империи 118 784, в Царстве [Польском] 85 002, в Еврейских училищах 58 083; итого 261 833 человека. (Примечание С. С. Уварова.)

## Примечания

<sup>1</sup> В Комитете министров обсуждался закон об обязательном 3-летнем сроке службы в провинции по окончании казенного учебного заведения. (ПСЗ. Собр. II. Т. 12. № 9894.) Уваров обратился к императору с запиской, когда в Комитете проявились разногласия о том, какие категории лиц, окончивших казенные училища, не будут подпадать под действие закона.

<sup>2</sup> ПСЗ. Собр. I. Т. 6. № 3890.

<sup>3</sup> Заочно приговоренный в 1826 году к пожизненной каторге за причастность к декабристским организациям, Н. И. Тургенев сделался политэмигрантом. Его трехтомный труд «Россия и Русские» был опубликован за границей на французском языке в 1847 году.

<sup>4</sup> Полностью частное образование не исчезло. См. главу IV.

<sup>5</sup> В связи с революционными событиями во Франции 18 марта 1848 года по предложению С. С. Уварова доступ в Россию преподавателям-иностранным вообще был прекращен.

<sup>6</sup> В примечании Уварова общее количество учащихся при подсчете немного не совпадает с приводимой им итоговой цифрой. Вероятно, он брал те и другую цифры из разных табелей, по времени несколько отстоявших друг от друга. Незначительное изменение численности учащихся в течение года могло не привлечь его внимание.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### I. Архивные фонды

РГИА — *Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге:*

Ф. 733 — Департамента народного просвещения.

Ф. 772 — Главного управления цензуры.

Ф. 1149 — Департамента законов Государственного совета.

Ф. 1611 — Высшего цензурного комитета 2 апреля 1848 года.

ГА РФ — *Государственный архив Российской Федерации:*

Ф. 109 — III Отделения с. е. и. в. канцелярии.

Ф. 672 — Императора Николая I.

Ф. 728 — Зимнего дворца.

ОР РГБ — *Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки:*

Ф. 325 — А. Э. Циммермана.

ОР РНБ — *Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки:*

Ф. 380 — М. А. Корфа.

Ф. 531 — А. С. Норова.

Ф. 736 — В. В. Стасова.

ОПИ ГИМ — *Отдел письменных источников Государственного Исторического музея:*

Ф. 17 — Уваровых.

### II. Официально-документальные материалы

Отчет министра народного просвещения за... (1848–1856) год. СПб., 1849–1856.

Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год.

СПб., 1862.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Изд. 2-е.

Т. 1–3. СПб., 1875–1876.

Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1–3.

1802–1864. СПб., 1865–1867.

Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843.

СПб., 1864.

Уваров С. С. Проект цензурного устава, внесенный в Государственный совет графом Уваровым в 1849 году и не одобренный Советом. Б. м., б. д.

Доклады министра народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I. Публикация М. М. Шевченко // Река времен. (Книга истории и культуры.) Кн. 1. М., 1995. С. 67–78.

**III. Воспоминания, дневники, письма, биографические очерки, публицистика**

- Аксакова В. С. Дневник В. С. Аксаковой. СПб., 1913.
- Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983.
- И. С. Аксаков в его письмах. Т. 1–2. М., 1888.
- Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. В 22-х кн. Кн. 4–14. Спб., 1891–1900.
- Белов И. Д. Университеты и корпорации. (Отрывок из воспоминаний.) // Исторический вестник. 1880. Т. 1. № 4. С. 779–804; 1885. Т. 20. № 5. С. 485–486.
- Бенкендорф А. Х. Записки // Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Т. 2. СПб., 1903. С. 648–780.
- Блудова А. Д. Воспоминания. М., 1988; Русский архив. 1874. Кн. 1. № 9. С. 713–761.
- Бодянский О. М. Выдержки из дневника // Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 109–138.
- Бороздин К. А. К характеристике императора Николая I // Исторический вестник. 1885. Т. 21. № 8. С. 340–347.
- Брэ О. де Император Николай I и его сподвижники (Воспоминания графа Оттона де Брэ. 1849–1852.) // Русская старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 115–139.
- Бунге Н. Х. Загробные заметки // Река времен. (Книга истории и культуры.) Кн. 1. М., 1995. С. 197–254.
- Буткевич. Драгоценные воспоминания моей жизни о представлении, которого я имел счастье удостоиться у всемилостивейшего моего Государя Императора в 28 день апреля 1848 года в С.Петербурге. Пер. с польск. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1870. Т. 1. С. 242–253. (Пагинация 4-я.)
- Валуев П. А. Дневник 1847–1860 гг. // Русская старина. 1891. № 4. С. 167–182; № 5. С. 339–348; № 6. С. 603–616; № 7. С. 71–82; № 8. С. 365–278; № 9. С. 547–562; № 10. С. 139–154; № 11. С. 393–429;
- Валуев П. А. Дума Русского (во второй половине 1855 года) // Русская старина. 1891. № 5. С. 349–359.
- Васильчиков В. И. Записки начальника штаба севастопольского гарнизона кн. В. И. Васильчикова. (Писаны в Москве в 1875–1877 гг.) // Русский архив. 1891. Кн. 2. № 6. С. 167–356.
- Веселовский К. С. Отголоски старой памяти // Русская старина. 1902. Т. 109. № 1. С. 115–139.
- Взгляд на состояние русских войск в минувшую войну // Военный сборник. 1858. Т. 1. № 1. С. 1–15.
- Вяземский П. А. Письмо к В. А. Жуковскому от 2 мая 1848 года // Памятники. Культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1979. Л., 1980. С. 59–60.
- Головачев Г. Ф. Отрывки из воспоминания // Русский вестник. 1880. Т. 149. № 10. С. 698–725.
- Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 1–2. М., 1897.
- Грудев Г. В. Из рассказов // Русский архив. 1898. Кн. 3. № 11. С. 426–439.
- Давыдов И. И. Записка председательствующего в занятиях второго отделения Академии в истекающем 1855 году // Известия Академии наук по отделению русского языка и словесности. СПб., 1856. С. 1–22.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Давыдов Н. К рассказам из жизни императора Николая I. 1844–1845 гг. // Русская старина. Т. 53. № 11. С. 491–494.
- Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1913.
- Ден В. И. Записки. СПб., 1890.
- Дивов П. Г. Из дневника // Русская старина 1897. Т. 89. № 3. С. 457–494; 1900. Т. 101. № 4. С. 125–137; Т. 104. № 11. С. 483–491; 1902. Т. 112. № 11. С. 387–401.
- Жерев К. К. Воспоминания // Исторический вестник. 1898. Т. 72. № 5. С. 419–449.; № 6. С. 732–776; Т. 73. № 7. С. 30–73; № 8. С. 430–457; № 9. С. 789–824; Т. 74. № 10. С. 40–79; № 11. С. 450–501; № 12. С. 891–908;
- Завещание Николая I сыну // Красный архив. 1923. Т. 3. М.-Пг., 1923. С. 291–293.
- Из жизни императора Николая Павловича // Русская старина. 1905. Т. 122. № 4. С. 164–174.
- Иличенко Д. Император Николай I в первой Харьковской гимназии // Русская старина. Т. 35. № 9. С. 627–634.
- Кавелин К. Д. Письма Т. Н. Грановскому (1848, 1853 и 1855 гг.) // Литературное наследство. Т. 67. М.–Л., 1959. С. 591–614.
- Корф М. А. Из записок // Русская старина. 1899. Т. 98. № 5. С. 371–398; № 8. С. 511–542; Т. 99. № 7. С. 3–30; № 8. С. 271–295; № 9. С. 480–515; Т. 100. № 10. С. 25–58; № 11. С. 267–299; № 12. С. 481–521; 1900. Т. 101. № 1. С. 25–56; № 2. С. 317–354; № 3. С. 545–588. Т. 102. № 4. С. 27–50; № 5. С. 261–295; № 6. С. 505–527; Т. 103. № 7. С. 33–55; 1904. Т. 117. № 1. С. 59–98; № 2. С. 275–302; Т. 118. № 6. С. 545–568.
- Крыжановский П. А. Штрихи из прошлого. Воспоминания из последнего десятилетия царствования Николая I // Исторический вестник. 1915. Т. 141. № 8. С. 453–471.
- Лебедев К. Н. Из записок сенатора К. Н. Лебедева // Русский архив. 1888. Кн. 3. № 3. С. 455–467; 1893. Кн. 1. № 3. С. 364–297; № 4. С. 317–339.
- Леонид [(Краснопевков)] Из воспоминаний Преосвященного Леонида о Московском митрополите Филарете // Русский архив. 1901. Кн. 2. № 8. С. 514–530.
- Мартынов П. К. Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки. Т. 1. СПб., 1893.
- Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001.
- Милютин Д. А. Воспоминания. 1816–1843. М., 1997.
- Милютин Д. А. Воспоминания. 1843–1856. М., 2000.
- Милютин Д. А. Старческие размышления о современном положении военного дела в России // Известия Императорской Николаевской Военной Академии. 1912. № 30. С. 833–858.
- Муханов В. А. Из дневных записок // Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5. С. 75–94.
- Никитенко А. В. Дневник в 3-х тт. Т. 1–2. М., 1955.
- Никифоров Д. И. Воспоминания времен императора Николая I. М., 1903.
- Ожеде-Ранкур Н. Ф. В двух университетах. Воспоминания 1837–1843 гг. // Русская старина. 1896. Т. 96. № 6. С. 571–582.
- Ольга Николаевна. Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны. 1825–1846 // Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 174–329.

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- Плаксин В. Т. Император Николай Павлович. (Рассказ из воспоминаний.) // Русская старина. 1880. Т. 29. № 11. С. 757–764.
- Платон [Городецкий] Митрополит Платон Киевский об императоре Николае Павловиче. Сообщил И. У. Палимпестов. // Русский архив. 1093. Кн. I. № 4. С. 435–439.
- Плетнев П. А. Памяти графа Сергея Семеновича Уварова. СПб., 1855.
- Победоносцев К. П. Граф В. Н. Панин. Министр юстиции // К. П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996. С. 28–79.
- Погодин М. П. Для биографии графа С. С. Уварова // Русский архив. 1871. № 12. Стб. 2078–2112.
- Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны. 1853–1856. М., 1874.
- Пржецлавский О. А. Воспоминания // Русская старина. 1875. № 9. С. 131–180.
- Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. 1. Записки А. И. Кошелева. Ч. 2. Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991.
- Ридигер Ф. Внутреннее состояние России в 1855 году // Русская старина. 1901. № 3. С. 294–295.
- Самарин Ю. Ф. Сочинения в 12-и тт. Т. 12. М., 1911.
- Сокальский П. П. Из воспоминаний о Харьковском университете конца 40-х гг. // Киевская старина. 1906. № 5/6. С. 63–71.
- Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соч. в 18-и книгах. Кн. XVIII. М., 1995. С. 529–660.
- Терпигорев Н. Н. Рассказы из прошлого // Исторический вестник. 1890. Т. 41. № 8. С. 334–342.
- Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания.–Дневник. Т. 1–2. М., 1928; Воспоминания. Дневник. 1853–1855. М., 1990.
- Феоктистов Е. М. Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы. Л., 1929.
- Филарет, Митрополит Московский и Коломенский. Беседа в день Благовещения Пресвятой Богородицы, пред благодарственным молебствием о заключении мира // Сочинения Филарета Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. Т. V. 1849–1867. М., 1885. С. 364–368.
- Фишер К. И. Записки сенатора К. И. Фишера // Исторический вестник. 1908. Т. 111. № 2. С. 438–460.
- Фредерикс М. П. Из воспоминаний // Исторический вестник. 1898. Т. 71. № 1. С. 52–87.
- Хомяков А. С. Политические письма 1848 года // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 109–132.
- Хомяков А. С. Полн. Собр. соч. в 8-и тт. Т. 8. М., 1900.
- Шиман В. М. Император Николай Павлович. (Из записок и воспоминаний современника.) // Русский архив. 1902. Кн. I. № 3. С. 459–475.
- Щербатов Г. Характер и значение графа Сергея Семеновича Уварова // С.-Петербургские ведомости. 4–5 декабря 1869 г. № 334, 335.
- Эвальд А. В. Рассказы об императоре Николае I // Исторический вестник. 1896. Т. 65. № 7. С. 51–71; № 8. С. 322–353.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### IV. Литература

- Айзеншток И. Французские писатели в оценках царской цензуры // Литературное наследство. № 33–34. М., 1939. С. 769–858.
- Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке». Николай Николаевич Обручев (1830–1904). СПб., 1998.
- Айрапетов О. Р. Н. Н. Обручев и дело «Военного сборника» (1858 г.)// П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): статьи, публикации, воспоминания о нем. М., 1998. С. 442–449.
- Алешинцев И. История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб., 1912.
- Андреев А. Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М., 2000.
- Березина В. Г. К журнальной борьбе начала 1830-х годов: (Цензурная история 2-го номера «Московского телеграфа» за 1831 г.) // Русская литература. 1988. № 4. С. 164–175.
- Бокова В. М. Переворот 11 марта 1801 г. и русское общество // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1987. № 4. С. 42–52.
- Булгакова Л. А. Сословная политика в области образования во второй четверти XIX века // Вопросы политической истории СССР. М.–Л., 1977. С. 105–124.
- Вацуро В. Э., Гильельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986.
- Венгеров С. А. Очерки истории русской литературы. СПб., 1907.
- Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского университета Св. Владимира. Т. 1. Киев, 1884.
- Во главе первенствующего ученого сословия России. Очерки жизни и деятельности президентов Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 1725–1917. М., 2000.
- Гильельсон М. И. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 года// Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л., 1978. С. 195–218.
- Голубева О. Д. М. А. Корф. СПб., 1995.
- Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870.
- Дурдыева Л. М. С. С. Уваров и теория официальной народности. Дисс. на соискание уч. ст. к. и. н. М., 1996.
- Егоров Ю. Н. Реакционная политика царизма в вопросах университетского образования в 30–50-е гг. XIX в. // Научные доклады высшей школы: исторические науки. 1960. № 3. С. 60–75.
- Елагин Н. В. Очерк жизни князя П. А. Ширинского-Шихматова. Спб., 1855.
- Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. (Первая половина XIX века.) М., 1981.
- Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX веков. М., 2001.
- Зайончковский А. М. Восточная война 1853–1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. Т. 1–2. СПб., 1908–1913.
- Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России XIX века. М., 1978.

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- Захарова Л. Г. Александр II // Российские самодержцы (1801–1917). М., 1993. С. 159–214.
- Зорин А. Идеология «Православия – Самодержавия – Народности»: Опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С. С. Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. № 26 (1997). С. 71–104.
- Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII–первой трети XIX вв. М., 2001.
- Ивановский А. Д. Иван Михайлович Снегирев. Биографический очерк. СПб., 1871.
- Иконников В. Русские университеты в связи с ходом общественного образования // Вестник Европы. 1876. Т. 6. № 11. С. 73–132.
- Камоско Л. В. Изменения состава учащихся средней и высшей школы России (30–80-е годы XIX в.) // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 203–207.
- Каптерев П. Ф. История русской педагогики. Пг., 1915.
- Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. В 3-х частях. Ч. 2. Изд. 2-е. М., 1918.
- Князьков С. А., Сербов Н. И. Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II. М., 1910.
- Кухарук А. В. Действующая армия в военных преобразованиях правительства Николая I. Дисс. на соискание уч. ст. к. и. н. М., 1999.
- Левандовский А. А. Время Грановского. У истоков формирования русской интелигенции. М., 1990.
- Лемке М. К. Очерки истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904.
- Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1825–1855. СПб., 1909.
- Медынский Е. Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1938.
- Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934.
- Нифонтов А. С. 1848 год в России. М.–Л., 1931.
- Нифонтов А. С. Россия в 1848 году. М., 1949.
- Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX века. Л., 1952.
- Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, XVIII – первая половина XIX вв. М., 1973.
- Очерки по истории русской журналистики и критики. В 2-х тт. Т. 1. Л., 1950.
- Очерки русской культуры XIX века. Т. 2–3. М., 2000–2001.
- Переселенков С. А. Законодательство и цензурная практика в России в 1-ю четверть 19-го века // Описание дел Архива Министерства народного просвещения. Т. 2. Пг., 1921. С. XI–XXXII.
- Петров Ф. А. Российские университеты 40-х годов XIX века и деятели Великих реформ // П. А. Зайончковский (1904–1983 гг.): статьи, публикации, воспоминания о нем. М., 1998. С. 205–219.
- Петров Ф. А. Российские университеты первой половины XIX века. Формирование системы университетского образования. В 4-х книгах. Книга 1-я. Зарождение системы университетского образования в России. Книга 2-я. Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX века. Ч. 1–3. Книга 3-я. Университетская профессура и под-

## БИБЛИОГРАФИЯ

- готовка устава 1835 года. Книга 4-я. Российские университеты и люди 1840-х годов. (Профессура и студенчество.) Ч. 1. Профессура. М., 1998–2001.
- Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России в первой половине XIX века. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. д. и. н. М., 1999.
- Полиевктов М. А. Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918.
- Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М.–Л., 1957.
- Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. СПб., 1873; Изд. 2-е. СПб., 1890; Изд. 3-е. 1906.
- Пятковский А. П. Из истории нашего литературного и общественного развития. В 2-х тт. Т. 2. СПб., 1876.
- Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
- Рождественский С. В. Сословный вопрос в русских университетах первой четверти XIX века. СПб., 1907.
- Рождественский С. В. Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII – XIX веках. СПб., 1910.
- Рождественский С. В. М. М. Сперанский и комитет о степени обучения крепостных людей // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья, почитатели. СПб., 1911. С. 254–279.
- Рождественский С. В. Последняя страница истории политики народного просвещения императора Николая I (Комитет графа Блудова, 1849–1856) // Русский исторический журнал. 1917. № 3–4. С. 37–59.
- Рождественский С. В. Из истории идеи народного просвещения в Александровскую эпоху // Сборник статей по русской истории, посвященный академику С. Ф. Платонову. Пб., 1922. С. 389–396.
- Рождественский С. В. Вопрос о народном образовании и социальная проблема в эпоху Александра I // Русское прошлое. 1923. № 5. С. 35–49.
- Рудницкая Е. Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 года. М., 1999.
- Ружицкая И. В. М. А. Корф в государственной и культурной жизни России // Отечественная история. 1998. № 2. С. 49–65.
- Сборник материалов для истории народного просвещения в России, извлеченных из Архива Министерства народного просвещения. Т. 1. СПб., 1893.
- Семёновский В. И. Материалы по истории цензуры в России // Голос минувшего. 1913. № 3. С. 217–229; № 4. С. 207–228.
- Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863 гг.). СПб., 1892.
- Ставрин В. Я. Консерваторы сороковых годов // Исторический вестник. 1882. Т. VII. № 1. С. 5–28.
- Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 1–2. СПб., 1889.
- Сысоева Е. К. Из истории реализации училищного устава 1828 г. (несколько штрихов к портрету С. С. Уварова — министра народного просвещения) // Вестник архивиста. 2000. № 1. С. 42–48.

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- Татищев С. С. Император Николай I и иностранные дворы. СПб., 1889.
- Феоктистов Е. М. М. Л. Магницкий. Материалы по истории просвещения в России // Русский вестник. 1864. Т. 51. № 6. С. 463–498.
- Философский век. Альманах. № 6. Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. СПб., 1998.
- Флит Н. В. Народное образование в России в начале XIX столетия / На материалах С.-Петербургского учебного округа. Автореферат на соискание уч. ст. к. и. н. Л., 1988.
- Хартанович М. Ф. Ученое сословие в России. Императорская Академия наук второй четверти XIX века. СПб., 1999.
- Цензура в России: история и современность. Вып. 1. СПб., 2001.
- Шапкина А. П. Петербургская школа в первой половине XIX века. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. к. и. н. Л., 1984.
- Шевченко М. М. Правительство, цензура и печать в России в 1848 году // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1992. № 1. С. 16–26.
- Шевченко М. М. Правительство, народное образование и государственная служба накануне Великих реформ // Россия и Реформы. Вып. 2. М., 1993. С. 14–33.
- Шевченко М. М. Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. М., 1997. С. 95–136.
- Шевченко М. М. Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2002. № 4. С. 89–104.
- Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Т. 1–2. Спб., 1903.
- Шмид Е. История средних учебных заведений в России. Пер. с нем. СПб., 1878.
- [Щебальский П. К.] Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862.
- Щербатов [А. П.] Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Т. 5. СПб., 1896; Приложения к т. 5-у. СПб., 1896.
- Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985.
- Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России. 1797–1917. очерк истории цензуры. СПб.–Иерусалим, 1999.
- Энгельгардт Н. А. Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904.

## V. Справочные издания

- Гарьянова О. А. Документальные материалы Московского цензурного комитета в Государственном историческом архиве Московской области. (Обзор материалов фонда за 1798–1865 гг.) // Труды историко-архивного института. М., 1948. Т. 4. С. 179–197.
- Днепров Э. Д. Советская историография истории школы и педагогики дореволюционной России. 1918–1977. Библиографический указатель. М., 1978.
- Лисовский Н. М. Русская периодическая печать. 1703–1894. СПб., 1901.
- Описание дел Архива Государственного совета. Т. 4. Дела Государственного

## БИБЛИОГРАФИЯ

совета с 1850 по 1856 год. СПб., 1910.

Описание дел Архива Министерства народного просвещения. Т. 1–2. СПб., 1917, 1921.

Русская периодическая печать (1702–1894). Справочник. Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1959.

Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2001.

### VI. Литература на иностранных языках

Balmuth D. The Origins of Tsarist Epoch of Censorship Terror // American Slavic and East European Review. 1960. Vol. XIX. № 4. December. P. 497–520.

Flynn J. T. The University Reform of the tsar Alexander I. 1802–1835. Washington, 1988.

Lincoln W. B. The last years of the Nicholas system: The unpublished diaries and memoirs of Baron Korf and General Tsimmerman // Oxford Slavonic Papers. Vol. VI. 1973. P. 12–27.

Lincoln W. B. Nicholas I. Emperor and autocrat of all the Russia. 1796–1855. Bloomington and London, 1978.

Riasanousky N. V. Nicholas I and official nationality in Russia. 1825–1855. Berkley–Los Angeles, 1959.

Riasanousky N. V. A parting of ways. Government and educated public in Russia 1801–1855. Oxford, 1976.

Ruud Ch. A. Fighting Words: Imperial Censorship and Russian Press. 1804–1906. Toronto, 1982.

Whittaker C. H. The origins of modern Russian education: An intellectual biography of count Sergei Uvarov. 1786–1855. De Kalb, 1984.

## Указатель имен

- Аделунг Ф.П. 91  
Адлерберг А.В. 220  
Адлерберг В.Ф. 174, 176  
Айзеншток И. 259  
Айрапетов О.Р. 23, 121, 211, 259  
Аксаков К.С. 153, 154, 201  
Аксаков С.Т. 45  
Аксакова В.С. 156, 159, 197, 202,  
204, 212, 256  
Александр I 14, 33, 35, 37, 38, 40,  
41, 44, 63, 65, 92, 98, 99, 108,  
109, 170  
Александр II 14, 22, 167, 176, 180,  
204, 212, 221, 252, 260  
Алешинцев И. А. 14, 24, 55, 88,  
259  
Андреев А.Ю. 259  
Анненков Н.Н. 145-147, 161, 162,  
168, 173-174, 176, 185  
Анненков П.В. 124, 143, 146,  
147, 159, 211, 213, 256, 208  
Арсеньев К.И. 93, 110  
  
Баадер Ф. фон 70  
Балугьянский М.А. 91  
Безбородко А.А. 36  
Белинский В.Г. 7, 124, 126, 127,  
150, 205  
Бенкендорф А.Х. 43, 45, 47, 67,  
79, 81, 94, 109, 132, 256  
Берг Ф.Ф. 193  
Березина В.Г. 259  
Бестужев А.А. 45, 114  
Бибиков Д.Г. 156  
Блан Луи 183  
  
Блудов Д.Н. 10, 12, 14, 15, 18, 19,  
46, 63, 161, 162, 164, 165, 168,  
169, 171-173, 176, 220, 221  
Блудова А.Д. 26, 159, 256  
Богданович И.Ф. 150  
Богучарский В. 15, 24  
Бокова В.Н. 55, 259  
Бороздин К.А. 120, 256  
Болотников И.И. 151  
Боровков А.Д. 94  
Брэ О. де 25, 46, 55, 60, 72, 256  
Брылевская Л.И. 56  
Будберг А.Ф. 117  
Булгакова Л.А. 15, 87, 256, 259  
Булгарин Ф.В. 152, 216  
Бунге Н.Х. 222, 224, 256  
Буоль К.-Ф. 191  
Буташевич-Петрашевский М.В.  
122  
Бутурлин Д.П. 128, 133, 136, 145,  
147, 148  
  
Валуев П.А. 22, 201, 212, 220, 256  
Васильчиков В.И. 196, 211, 212,  
256  
Васильчикова И.В. 76, 180  
Вацуро В.Э. 55, 87, 259  
Венгеров С.А. 9, 23, 125, 143, 259  
Веневитинов Д.В. 47  
Вернадский В.И. 75, 88, 111, 121  
Веселовский К.С. 26, 86, 114, 256  
Вигель Ф.Ф. 84, 172, 174  
Вильгельм Прусский 115  
Владимирский-Буданов М.Ф.  
119, 259

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Воронцов М.С. 118  
Востоков А.Х. 110  
Врангель Ф.П. 173, 221  
Вяземский П.А. 26, 46, 53, 63, 110,  
115, 133, 203, 209, 216, 256  
Гагарин П.П. 168, 174  
Гагемайстер Ю. 154  
Гакстгаузен А. фон 67, 70, 71, 87  
Гарьинова О.А. 262  
Герасимова Ю.И. 25, 224  
Герман К.Ф. 93  
Герцен А.И. 150, 166, 201, 205,  
209, 220  
Гете И.-В. 58, 59  
Гиллельсон М.И. 25, 55, 89, 259  
Глинка С.Н. 39, 40, 43-45, 53, 55  
Гоголь Н.В. 7  
Голицын А.Н. 41, 42, 64, 93, 216  
Голицын А.Ф. 146, 147, 174, 176  
Головачев Г.Ф. 26, 73, 74, 88, 120,  
175, 256  
Головина Д.И. 57  
Головнин А.В. 22, 220  
Грановский Т.Н. 26, 81, 197, 206-  
210, 212, 214, 256, 210  
Грефе Ф.Б. 60  
Греч Н.И. 39, 114  
Григорьев В. 259  
Грудев Г.В. 26, 120, 256  
Гумбольдт А. фон 72, 88  
Гуровский А. 103  
  
Давыдов И.И. 26, 139, 256, 257  
Даль В.И. 111  
Дашков Д.В. 43, 63, 67  
Дебидур А. 190, 191, 212  
Дегай П.И. 128, 145-147  
Делавинь Ж.-Ф.-К. 47  
Дельвиг А.А. 47  
Дельвиг А.И. 26, 198, 212, 257  
Дементьев А.Г. 263  
Ден В.И. 26, 199  
  
Димитрий, царевич 154  
Дмитриев М.А. 152  
Днепров Э.Д. 262  
Дубельт Л.В. 48, 123, 128  
Дурдыева Л.М. 25, 259  
  
Егоров Ю.Н. 179, 180, 259  
Елагин Н. 259  
Екатерина II 57, 252  
Елена Павловна, великая  
княгиня 141, 184  
Ерошкин Н.П. 259  
  
Жерве К. К. 26, 96, 120, 198, 212,  
257  
Жирков Г. В. 259  
Жуковский В.А. 26, 48, 63, 93,  
110, 161, 256  
  
Зайончковский А.М. 121, 212, 259  
Зайончковский П.А. 87, 159, 211,  
224, 259, 260  
Закревский А.А. 166  
Западов А.В. 263  
Захарова Л.Г. 180, 260  
  
Игнатьев П.Н. 168, 174, 176  
Иконников В. 260  
Иннокентий (Борисов), епископ  
77, 111  
  
Кавелин К.Д. 197, 212, 257  
Каменский 164  
Камоско Л.В. 88, 260  
Канкрин Е.Ф. 49  
Каптерев П.Ф. 13, 260  
Караджич В. 111  
Карамзин Н.М. 35, 39, 44, 55, 65,  
67, 87, 98, 120, 242  
Катенин А.А. 199  
Катков М.Н. 202, 213, 216  
Керновский А.А. 212, 224

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- Кизеветтер А.А. 65, 87  
Киреевский И.В. 24, 47, 185, 209,  
213, 214  
Киселев П.Д. 21, 118, 147  
Кисловский А.Е. 209  
Князьков С.А. 180, 260  
Ковалевский Е.П. 155  
Константин Николаевич,  
великий князь 92, 133, 177, 184  
Корнилов А.А. 15, 87, 260  
Корф М.А. 17-22, 51, 56, 84, 91, 119,  
122-123, 125, 127-129, 133-135,  
140, 142, 145-148, 151-152, 155-  
162, 165, 172, 176, 180, 182, 185,  
204-206, 211, 255, 257, 259, 261  
Костомаров Н.И. 77, 88  
Кошелев А.И. 26, 161, 202, 213,  
258  
Краевский А.А. 126, 133  
Крузенштерн И.Ф. 95, 112  
Крылов И.А. 110  
Кукольник В.Г. 91  
Кукольник Н.В. 79  
Куницын А.П. 64  
Кутузов М.И. 37, 55  
Кухарук А.В. 211, 260  
Кюхельбекер В.К. 45  
Кюстин А. де 116  
  
Лагарп Ф.-С. 41  
Ланской С.С. 172, 173, 221  
Левандовский А.А. 260  
Левашов В.В. 76  
Лемке М.К. 15, 16, 24, 25, 224, 260  
Леонид (Краснопевков), епископ  
119, 257  
Ливен К.А. 50, 68  
Лисовский Н.М. 262  
Литке Ф.П. 174, 176  
Лоренц Ф. 154  
Луи Филипп 182  
Лужецкая Н.Л. 25  
  
Магницкий М.Л. 41, 42, 64, 93, 262  
Мария Федоровна, императрица  
93  
Медынский Е.Н. 15, 24, 260  
Мелихов В.И. 174, 176  
Мельгунов Н.А. 209  
Меншиков А.С. 118, 128, 143, 219  
Мещерский В.П. 192, 195, 212, 257  
Милютин Д.А. 120, 183, 186, 190,  
200, 212, 222, 223, 224, 257  
Милютин Николай 186  
Минин К. 242  
Мироненко С.В. 55  
Михаил Павлович, великий  
князь 114, 184  
Михаил, великий князь 91  
Муравьев (Карский) Н.Н. 193  
Муханов В.А. 26, 198, 212, 224, 257  
  
Надеждин Н.И. 79  
Назимов В.И. 202  
Наполеон 40, 99  
Нарышкина А.И. 198  
Некрасов Н.А. 126, 127  
Нессельроде К.В. 117  
Никитенко А.В. 24, 44, 80, 82, 83,  
85, 87, 89, 123, 126, 133-134, 136,  
141, 143-144, 149, 159, 160, 163,  
167, 172, 179, 180, 185, 203-204,  
209-210, 213, 255-257  
Николай I 7-14, 18, 24-26, 42-44,  
46, 49, 50, 54, 56, 64-67, 72, 76,  
78, 81-84, 86, 88, 89-97, 101-104,  
106-113, 115-122, 128, 133, 140,  
142, 143, 145, 147, 149, 152,  
157, 161, 165, 167, 170, 174,  
177, 179, 185, 194-201, 204, 207,  
209, 211, 213, 216-219, 222-223,  
228, 255-257  
Нифонтов А.С. 16, 25, 260  
Новицкий О.М. 155  
Новосильцев Н.Н. 38, 98

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Норов А.С. 18, 105, 146, 163, 168-172, 179, 180, 202-204, 209, 210, 221, 255
- Одоевский В.Ф. 45
- Оже-де-Ранкур Н.Ф. 26, 119, 257
- Озерецковский Н.Я. 38
- Окунь С.Б. 15, 260
- Ольга Николаевна, великая княжна 115, 121, 195, 212, 257
- Оржековский И.В. 24
- Орлов А.Ф. 17-18, 63, 79, 122-123, 128-129, 133, 136, 140, 142, 182
- Остен-Сакен Д.Е. 175
- Островский А.Н. 151
- Очкин А.Н. 83, 133
- Пальмерстон Г.Дж.Т. 191
- Панаев И.И. 126, 127, 208
- Панин В.Н. 165-167, 177, 221, 258
- Паррот И.-Я.-Ф. 108
- Паскевич И.Ф. (Эриванский) 102, 104-105, 114-116, 118, 120, 211, 262
- Переверзев Ф.Л. 160-161, 164
- Переселенков С.А. 260
- Перетц Е.А. 221
- Перовский Л.А. 151
- Петр I 109, 194, 241, 242, 247, 252
- Петр, принц Ольденбургский 172, 174, 221
- Петров Д.В. 121
- Петров Ф.А. 22, 25, 87, 88, 98, 120, 260, 261
- Плаксин В.Т. 119, 258
- Плетнев П.А. 60, 87, 155, 258
- Пнин И.Н. 39
- Победоносцев К.П. 166, 177, 179, 180, 258
- Погодин М.П. 25, 72, 81, 89, 110, 115, 184-185, 202, 208, 211, 212, 256, 258
- Пожарский Дмитрий 242
- Полевой К.А. 53
- Полевой Н.А. 45, 46, 53, 55, 56, 79, 216, 260
- Полиевктов М.А. 15, 118, 261
- Поццо ди Борго К.-А. 58
- Предтеченский А.В. 261
- Пржецлавский А.П. 26, 258
- Протасов Н.А. 76, 161
- Пушкин А.С. 25, 44, 47-48, 50-51, 55, 56, 67, 71, 88, 94, 114, 119, 161, 216, 259
- Пыпин А.Н. 261
- Пятковский А.П. 15, 55, 261
- Разумовский Андрей К. 59
- Разумовский Алексей К. 36, 40, 59
- Резниченко Н.Т. 23
- Репнин Н.Г. 41
- Рождественский С.В. 10, 14, 24, 25, 55, 120, 164, 179, 261
- Розберг М.П. 207
- Ростовцев Я.И. 161, 168, 185, 203
- Рудницкая Е.Л. 261
- Ружицкая И.В. 261
- Рунич Д.П. 41, 64, 93
- Руссо Ж.-Ж. 46
- Руд Ч. 16, 25, 263
- Рылеев К.Ф. 45
- Салтыков (Щедрин) М.Е. 129, 133
- Семевский В.И. 143, 261
- Семевский М.И. 21
- Сербов Н.И. 180, 260
- Скабичевский А.М. 15, 24, 55, 89, 261
- Скалон А.А. 199
- Сокольский П.П. 26, 120, 258
- Соловьев С.М. 26, 66, 87, 120, 151, 186, 187, 192, 204, 208, 211-213, 258

## КОНЕЦ ОДНОГО ВЕЛИЧИЯ

- Сперанский М.М. 24, 34, 41, 51, 106, 152, 174, 209, 217, 214, 261  
Срезневский И.И. 110  
Сталь Ж. де 58  
Стасов В.В. 255  
Стендер Ф. фон 105  
Стоюнин В.Я. 261  
Строганов А.Г. 128  
Строганов С.Г. 80-81  
Строев П.М. 110  
Сухозанет И.О. 118  
Сухомлинов М.И. 15, 24, 55, 261  
  
Татищев С.С. 119, 212, 262  
Тенгборский Л.В. 174  
Терпигорев Н.Н. 83, 163  
Толстой Д.А. 14  
Толстой Ф.М. 157  
Тройницкий А.Г. 210  
Тургенев Н.И. 63, 242, 254  
Туркул И.Л. 105  
Тэйлор А.Дж.П. 191, 211, 212  
Тютчева А.Ф. 26, 186, 194, 197, 204, 211, 212, 213, 258  
  
Уваров С.С. 12, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 41, 43, 54-89, 93, 96, 100, 101, 103-106, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 123, 126-128, 130, 132-133, 135-140, 142, 158, 161, 163, 172, 182, 202, 205-209, 213, 214, 217-219, 227-228, 254, 255, 258-262  
Уиттакер С. (Виттекер Ц.Х.) 16, 25, 263  
Устрилов Н.Г. 76, 77, 80, 96, 97, 105, 154  
  
Федоров В.А. 23  
Феоктистов Е.М. 26, 186, 197, 211, 212, 258, 262  
Филарет (Дроздов), архимандрит, позже митрополит 37, 55, 91, 110, 111, 119, 187, 211, 212, 258  
Фишер К.И. 26, 128, 258  
Флит Н.В. 262  
Флоровский Г.В. 70, 88  
Фок М.Я. фон 43  
Фредерикс М.П. 26, 258  
Фус Н.И. 38  
  
Ханыков В.Я. 146, 147  
Хартанович М.Ф. 161, 262  
Хомяков А.С. 26, 184, 201, 211, 212, 258  
  
Циммерман А.Э. 23, 182-183, 192, 193, 196, 199-200, 255  
  
Чарторыйский А. 98, 99  
Челищев Н.А. 174  
Чепелкин М.А. 23  
Черепахов М.С. 263  
Чернуха В.Г. 224  
Чичерин Б.Н. 26, 84, 89, 208, 209, 213, 258  
  
Шамшин И.И. 221  
Шапкина А.П. 262  
Шатобриан Ф.-Р. 70  
Шафарик П. 111  
Шевченко М.М. 255, 262  
Шевырев С.П. 81  
Шереметев В.А. 146, 147, 242  
Шестаков А. 34  
Шильдер Н.К. 15, 120, 143, 256, 262  
Шиман В.М. 120, 258  
Шипов С.П. 160, 164  
Ширинский-Шихматов П.А. 42-43, 141, 162-165, 167-168, 172, 205, 259

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Шишков А.С. 42-43, 49, 67, 93, 110 | Эльяшевич Д.А. 159, 262                                      |
| Шлегель А. 58, 70                  | Энгельгардт Н.А. 15, 124, 143, 262                           |
| Шлегель Ф. 58, 70                  |  |
| Шмид Е. 14, 24, 87, 262            | Юркевич Я. 156   |
| Штейн Г. 58                        |  |
| Шторх А.К. 91                      | Якоби Б.С. 112-113   |
| Щебальский П.К. 15, 133, 213, 262  | Balmuth D. 263   |
| Щербатов А.П. 120, 262             | Flynn J.T. 262, 263  |
| Щербатов Г. А. 135, 258            | Lincoln W. Bruce 263   |
| Эбердин Дж.Г. 191                  | Marmier X. 87  |
| Эвальд А.В. 26, 120, 258           | Riasanovsky N.V. 263   |
| Эймонтова Р.Г. 262                 | Ruud Ch.A. — см. Рүуд Ч.<br>Whittaker C.H. — см. Уиттакер С. |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| <i>Введение</i>  | 7   |
| <i>Глава I</i>   |     |
| Правительство, народное образование, цензура и печать в первой трети столетия    | 33  |
| <i>Глава II</i>  |     |
| С.С.Уваров и его политика  | 57  |
| <i>Глава III</i>   |     |
| Император Николай I и ведомство народного просвещения                            | 90  |
| <i>Глава IV</i>  |     |
| От Меньшиковского комитета до отставки С.С.Уварова                               | 122 |
| <i>Глава V</i>   |     |
| Комитет высшей цензуры в действии  | 145 |
| <i>Глава VI</i>  |     |
| Блудовский комитет: Вопрос о роли и значении народного образования в государстве | 160 |
| <i>Глава VII</i>   |     |
| Правительственный курс и общественное мнение                                     | 181 |
| <i>Заключение</i>  | 215 |
| <br><i>Приложения</i>  |     |
| Четыре служебных документа министра С.С.Уварова                                  | 227 |
| Библиография   | 255 |
| Именной указатель  | 264 |

«НОВЫЙ МУЗЕЙ»  
[историческая серия]

Выпуск II

*Шевченко Максим Михайлович*

**Конец одного Величия**

Власть, образование и печатное слово в Императорской России  
на пороге Освободительных реформ

ISBN 5-94607-022-3

«ТРИ КВАДРАТА», Москва 2003

*Дизайн: Сергей Митурич, преринт: Савва Митурич,  
верстка: Татьяна Боголюбова, корректура: Галина Элькина  
производство: Елена Данич*

---

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРИ КВАДРАТА»**  
Москва 125315, Усиевича д. 9, тел. (095) 151-6781, факс 151-0272  
e-mail: triqua@postman.ru

Подписано в печать 20.01.2003. Формат 60x90/16. Печать офсетная.

Бумага офсетная №1. Печ. л. 17. Тираж 700 экз.

Отпечатано в типографии ООО «ГЕО-ТЭК»,

г. Красноармейск Моск. области

тел.: 584-1623, 254-9727, 254-9958

Историческое исследование процессов, явлений, породивших так называемое «мрачное семилетие» (1848–1855) с его ближайшими результатами и отдаленными последствиями, – одной из ключевых проблем в судьбах отечественной политической культуры – представляет собой эта книга. Политические портреты императора Николая I, выдающегося государственного деятеля дореволюционной России графа Сергея Уварова – автора знаменитой формулы «Православие, Самодержавие, Народность», иных видных представителей правящей элиты того времени предстают перед читателем на ее страницах...